

Николай Полотнянко

ВСЁ ГДЕ-ТО РЕШЕНО



ББК 84(2Рос=Рус)6
П525

Полотнянко, Н.А.

П525 **ВСЁ ГДЕ-ТО РЕШЕНО :** Рассказы и повесть. /
Н.А. Полотнянко. – Ульяновск: Издатель Качалин
Александр Васильевич, 2015, – 416 с.

Редактор *Л.И. Полотнянко*
Дизайн обложки *А.В. Качалин*
Компьютерная вёрстка *Л.И.Полотнянко*
Корректор *М.Н. Аверина*

На обложке натюрморт И.В. Лежнина.

Новая книга известного поэта и прозаика Николая Полотнянко составлена из избранных рассказов на житейские темы и повести о трагической судьбе провинциального художника. Почти все они раньше были опубликованы в журнальной периодике, и получили одобрительную оценку критики и читателей.

Эта книгой завершается публикация десяти томника поэтических и прозаических произведений писателя, которая была осуществлена при финансовой поддержке Петра Петровича Ищенко. Практически вся работа по подготовке рукописей к изданию выполнена женой автора – Людмилой Ивановной. Часть тиража десяти томника передана в дар библиотекам Ульяновска.

© Полотнянко Н.А. 2015

Николай Полотнянко

ВСЁ ГДЕ-ТО РЕШЕНО

Рассказы и повесть

Ульяновск
2015

* * *

*Я весел был, когда в начале
Судьбы надеждами пылал.
Мне много счастья обещали,
Но я к раздаче опоздал.*

*За мной страны и души разруха,
Кладбища мыслей и сердец.
И я давно уже не ухарь,
Не тот удалый молодец.*

*Печальна участь человека —
Смотреть и видеть мир насквозь.
Всё меньше в нём добра и смеха,
Всё больше горя, зла и слёз.*

*Всё меньше русского народа,
Не по породе — по уму.
Хотя есть вроде бы свобода,
Не отличить от света тьму.*

*Я весел был, когда в начале
Судьбы надеждами пылал.
Мне много счастья обещали,
Но я к раздаче опоздал.*

Нос

- 1 -

В городских околотках, которые разрослись вокруг построенных второпях в войну заводов и постепенно сомкнулись между собой, образуя наш город, бабы узнают свежие новости в магазинах и на базарчиках, а мужики — возле пивных ларьков. А новости эти самые обычные: у женского населения — почём на базаре картошка, прибавили ли цены на продукты, а у мужиков — кто в вытрезвильовку попал, кому карманы очистили, в каком магазине бормотуху дают.

Не для сегодняшних читателей, а так, для истории, скажу, что пивной ларёк представляет собой фанерный или алюминиевый ящик с дыркой. Внутри ящика сидит разбитная бабёнка или краснорожий парень, которые разливают мутное пойло, именуемое пивом, в подаваемую им тару — от полулитровой кружки, найденной тут же, в кустах, до вёдер и канистр.

Не знаю, как в других околотках, а в нашем пивнушка начинает работать с самого раннего утра. Зимой, бывало, нигде ни огонька, только автобусы начинают ходить, а она, родимая, уже светится, какие-то тени шебуршат, снег скрипит. Мороз под сорок, а мужикам всё нипочём, пьют за милую душу, потом дрожат мелкой частой дрожью, охлаждаются до самого нутра, но всё равно пьют.

И раньше пивнушка не простаивала, а сейчас, когда безработица началась, вокруг неё всегда густо народу. На какие-такие шиши пьют?.. Это кто как вывернется. Кто у жены деньги последние сопрёт, кто просто дрожит и ждёт, что ему оставят в банке недопивок, кто пустую посуду сдаёт — по-разному...

В других местах, слышно, жгут эти самые пивнушки, дерутся. Нет, у нас тихо, в основном...

И вот в одно распрекрасное утро пришёл ко мне сосед с первого этажа, Сергей, мужик лет тридцати пяти, монтажник.

— Алексеич, выручай!

— Чем тебя выручить, Серёга? — говорю, хотя по опухшей роже вижу, что мужику требуется.

— Дай на банку пива. Вчера перебрал.

Деньги у меня были, и не жалко было дать, но бумажка больно крупная. Показал её Сергею.

Тот почесал в затылке. Потом говорит:

— Знаешь, что. Пойдём к ларьку, я банку куплю, а сдачу заберёшь.

Летом было дело. Надел я спортивный костюм, и мы пошли.

В бетонном колодце двора было прохладно и грязно. От мусоропровода несло овощной гнилью, в воздухе на ветру носились клочки бумаги. Здоровенные откормленные псы таскали за собой заспанных хозяев.

Через арку мы вышли на улицу, и попали в деревню. С десяток домов, уцелевших от сноса, утопали в зелени садов, пахло молодой росной травой и горьковатым дымком растопленной по случаю субботы бани. Кудлатый пёс, по-хозяйски разлёгшийся посреди дороги, поднял голову и проводил нас ленивым незлым взглядом.

Возле алюминиевой пивнушки толпились десятка полтора мужиков. Кто уже пил пиво, кто стоял в очереди. Серёга достал банку, взял у меня деньги и пошёл напрямую к амбразуре. Через мгновение он вернулся.

— Сдачи нет.

— Ну, возьми так. Пока пьёшь, продавец наберёт денег, — расшедрился я.

— Хорошо, я сейчас.

Через пять минут мы уже сидели на скамейке, и Серёга судорожно глотал пенистое пиво, кричал, снова глотал и, отпив половину трёхлитровой банки, удовлетворённо сказал:

— Вот теперь, вроде, полегчало!

Мы сидели не одни. Вокруг нас было ещё несколько человек из нашего дома, так, полужнакомые люди, с которыми я встречался в подъезде, на улице, изредка здоровался. Они тоже опохмелились, ожили, закурили и заговорили.

— Да, Борис, влип ты вчера! — сказал один из них, из соседнего подъезда, сварщик, своему соседу по площадке. — Мы с Валухой вчера только спать наладились, как у тебя такой хай начался, что мой Джек чуть ли не на дыбы от злости встал. Глянул в окно — «скорая», потом «ментовка». Ты извини, я выходить не стал: сам был на поддаче... Чё там у тебя стряслось? Вы же со свояком вроде гуляли?..

Борис отпил пиво, поставил банку на землю и сморщился.

— Да ты не скрывай, — сказал Серёга. — Тут все свои.

— Что, менты повязали? — поинтересовался кто-то ещё.

Борис свернул самокрутку, прикурил, сплюнул, почесал в затылке и спокойно сказал:

— Я вчера свояку нос откусил.

Недолгое изумлённое молчание взорвалось хохотом, хотя смешного вроде бы ничего и не было. Наиболее смешливые ещё похохатывали, а сварщик уже деловито расспрашивал, как всё случилось.

— Да как? — вяло отвечал Борис. — Этот интеллигент давно меня достаёт.

— Почему интеллигент? — поинтересовался я.

— Говори, говори! — сказал Сергей. — Алексеич — свой человек.

Борис оценивающе посмотрел на меня и продолжил:

— Трезвый Женька — мужик хоть куда! А как вольёт пузырь, и начинают в нём вулканчики играть. И жить я не умею, и обстановка у него лучше, и машина есть, а у меня всего мопед. Я, конечно, молчу, а он дальше... Моя Света — контролёром, а его Лариса торговый техникум окончила. Я — водила, а он прораб. Ты, мол, жить не умеешь.

— И вчера тоже? — спросил сварщик.

— И вчера. Выпили по одной. Светка самогонки налила. У него крыша и поехала. Схватил меня за горло, начал душить. Ну, я его за уши и цапнул за носяру зубами.

Мужики снова заржали.

— Что, так целиком и отхватил? — спросил Сергей.

— Самый кончик. Напрочь! Хорошо хоть выплюнул.

— Да, — задумчиво сказал вечно трущийся у пивнушки бывший спортсмен Толян. — Это тебе сто восьмая светит. Тяжкие телесные повреждения...

— Ну, а «скорая», что? — спросил сварщик. — Там ведь две штуки подъезжали...

— Хорошо, хоть телефон есть, — сказал Борис. — Приехали в момент. Кровь остановили. Нос искали, ну, этот, пипку самую. Нашли под телевизором. Врач говорит, хорошо хоть не затоптали. Вроде пришили.

Сергей уже допил банку и выжидательно смотрел на меня, показывая указательный палец.

— Ладно, — согласился я. — Возьми ещё банку, а то у Бориса, наверное, и денег сейчас нет.

Сергей принёс пиво и целую колоду мокрых и мятых денег.

— Во всём этом, — сказал спортсмен Толян, прицеливаясь к полной банке, — есть одна загвоздка. Вот, как утрясти это дело?

— Милиция прямо дома протокол состряпала, а что дальше, не знаю.

— Может, на тормозах всё сойдёт? — предположил Сергей.

— Ну, ты пей, Борис, пиво, — сказал я. — Случай, конечно, вышел дикий и одновременно смешной.

Я поднялся со скамейки. Серёга встрепенулся:

— Алексеич! Я долг отдам. Как штык! И Борису помочь надо.

Я пожал плечами и пошёл домой, уныло и грустно думая о том, что, может, и прав был академик, недавно заявивший, что человек всего лишь на четверть человек, а на остальные три четверти — зверь. Правда, выразился он не так прямо: мямлил о примате биологического над духовным. И вот пример — откусил нос свояку. Так кем он был, этот Борис, в момент откусения, откусывания или как там?

Я пришёл домой, сел за рабочий стол и спрятал рукопись начатого рассказа в ящик. Зачем писать? Зачем ломать голову, увечить сердце?.. Вот он, позади меня стеллаж, где стоят книги

выдающихся мыслителей за почти всю письменную историю цивилизации, от Библии и Гомера до последних отчаянно крикливых словописцев. А стал ли человек лучше? Вот вопрос для любого писателя.

Закрыв глаза и увидел Бориса. Не пасть, а аккуратно сложенные губы, чистые ровные зубы существа, привыкшего к варёной пище. Да, человек...

- 2 -

Сергей пришёл ко мне дней через десять, отдал долг и, появившись, сказал:

— Слышь, Алексеич! Тебя Борис просит выйти во двор, поговорить хочет.

— О чём? Ещё кому-нибудь ухо откусил?

— Да нет. Посоветоваться хочет. У него с Женькой разборка идёт. Вот и хочет посоветоваться.

Признаться, меня разбирало любопытство, чем закончится эта история с носом, и я не заставил себя упрашивать.

Во дворе было жарко, и мы отошли в тень кустов возле частных домов.

Борис чувствовал себя явно не в своей тарелке. Эти десять дней ему не прошли даром. Он осунулся, и в глазах появилась тоскливая обречённость помыкавшегося по судам и милициям человека.

Сергей сразу объяснил суть:

— Дело против Бориса можно прикрыть, но всё зависит от Женьки. А он ни в какую! Сидит на бюллетне. Отказное заявление ни пишет.

— А сёстры как? — спросил я. — Неужели не договорятся.

Борис вздохнул и поморщился:

— Моя уже несколько раз ходила. На колени перед этой сволочью становилась. А он одно: кто мне возвратит утраченную честь и здоровье?

— Ну и сколько же он хочет?

— Понимаешь, Алексеич, — сказал Сергей. — Он, конечно, возьмёт, но ему повыламываться надо, поизмываться. Пойдём к этому обалдую. Он тебя знает, книжки твои читал, а?

Я понимал, что моё присутствие на переговорах мало чем поможет Борису. Но во всей этой ситуации с носом начало прорезываться пусть не гоголевское, но довольно интересное продолжение. Оказывается, нос имел цену, и соблазн поучаствовать или хотя бы поприсутствовать при этом торге толкнул меня согласиться на этот визит.

Женька жил на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Проходя мимо открытого настежь окна, Борис заглянул за занавеску и с заискивающей ноткой в голосе спросил:

— Женья... Можно?

В ответ послышалось нечленораздельное бурчание.

Дверь оказалась открытой. Мы вошли, разулись и за Сергеем двинулись по полутёмному коридору. Хозяин сидел спиной к нам в кресле, смотрел телевизор и не шелохнулся, когда мы поздоровались. В этот момент мне показалось, что вдруг он повернётся, а вместо носа у него на лице...

Но ничего страшного не случилось. Борис осторожно, на цыпочках, прошёл к столу и поставил бутылку водки. На этот звук Женька среагировал быстрым поворотом головы и увидел всю нашу делегацию:

— А! И писателя привели! Это хорошо, даже очень хорошо. Проходите, садитесь. А вас я не приглашал садиться.

Это — двинувшимся было к дивану Сергеем и Борису.

— Я вас, может, сейчас выпру, а с Алексеичем мы посидим, как культурные люди.

Попривыкнув к полутьме комнаты, я обнаружил, что нос у Женьки живёхонек, пришит к тому самому месту, где ему и надлежит быть, только сшивок был чуть заметен, да сам кончик носа отдавал неживой белизной, будто обмороженный.

— Я ведь с вами давно хотел познакомиться... — сказал Женька. — Я литературу люблю, особенно классиков... Толстого, Евушенко, Окуджаву, Жванецкого... Поговорили бы, да тут вот какой сюрприз от родственничка вышел. Сижу в темноте, людям на глаза боюсь показаться...

— Конечно, это не рядовой случай, — дипломатично сказал я. — Но чего в жизни не бывает?

Женька ничего не ответил, только посмотрел на меня каким-то особенным долгим взглядом, значения которого я, каюсь, тогда не понял.

— Вы ж свояки! — вклинился в разговор Сергей. — Договоритесь по-хорошему, по-родственному. Зачем сюда милицию путать. Что им, дел не хватает? Вон у соседа твоего курей своровали ночью. Слыхал?

Хозяин не обратил на эти слова внимания. Он поднялся с кресла, подошёл к зеркалу и стал изучать своё лицо.

— Если бы он мне палец откусил, я бы ему и слова не сказал. А то - нос! — он зажмурил глаз. — Вот без одного глаза и то лучше. Это же не нос уже. Нет у меня носа! Так, наشلёпка! ...Я его не чувствую! Как резинка. И запахов не чувствую. Понял, скотина, что ты наделал?

— Жень, брат! Извини, — почти плачущим голосом взмолился Борис. — Я ведь готов возместить лечение. Может, на курорт съездишь, к профессорам? Я возьму.

— Никто ничего не возместит, — горько сказал Женька. — Стыд мне возместит? Вчера сунулся сходить в сарай, первый встречный сразу залепил: ну, как, мол, резиновый работает?.. Вот и сижу в потёмках, и буду сидеть. А, может, петельку сооружу да на шею накинута. Вот тогда тебе, Борька, припаяют на всю катушку.

В голосе Женьки опять зазвенели слёзы. Я смотрел на мечущегося по комнате молодого тщедушного мужика и не понимал, ломает ли он ваньку или говорит на полном серьёзе, хотя тогда уже должен был догадаться, что он начинает сходить с круга.

— Вот сейчас телевизор смотрю и удивляюсь, какие дурацкие носы у людей бывают. Раньше внимания не обращал, а сейчас мимо себя ни одного не пропущу. У баб вообще глупые носы. Единственный нос нормальный у Собчака. Ну, может, ещё у Козырёва. Я вот слепил нос Собчака из пластилина...

Откуда-то из-под стола Женька достал картонную коробку и вывалил на скатерть с десяток пластилиновых носов.

— Может, это, того, — кашлянул Серёга. — По стопарику...

— Это можно, — со зловещей ухмылкой сказал Женька. — А где это он? Вот из этого и будем пить. Из моего носа. Ну-ка, Борька, наливай за здоровье свояка!

— Может, не надо, Евгений, — попытался вмешаться я.

— Надо! Пей всю бутылку из моего носа, а я заявление буду писать. Ты, Серёга, наливай! Начали!

Водки в нос входило мало, граммов двадцать, и к половине бутылки Борис стал красным, как рак, но Женька не спешил, написал всего ползаявления, и несчастному свояку ничего не оставалось делать, как пить дальше.

Это было муторное зрелище, которое я с трудом вынес до конца. Но это были, как говорится, ягодки. Опыневший Борис сидел на диване, Женька подошёл к нему и показал заявление.

— Ну, бутылкой не отделаешься! — сказал он, помахивая бумажкой. — Теперь так. Принесёшь видак — и мы квиты!

— Видак! — вскинулся Борис. — Это же сколько денег!

— Три дня сроку!

Домой мы возвращались в унылом молчании, вызывая недоумение у прохожих: один из троицы был пьян в стельку, а двое были трезвей воды.

- 3 -

Через несколько дней я уехал в отпуск и за месяц почти забыл о происшествии с носом. Но вскоре после возвращения домой я встретил Сергея, и он мне рассказал, что Борис купил свояку видеоманитофон, дело закрыли, а с Женькой случилось ещё одно казусное приключение.

Надо сказать, что почти половина нашего околотка, по причине отсутствия в домах ванн, ходит в баню. Это старое осклизлое от сырости снаружи и изнутри здание было одним из самых посещаемых мест. Вот и пошёл Женька, уже вполне освоившийся со своим положением, в эту самую баню. Купил билет, разделся, окатил себя для разгона перед парной

первой шайкой воды, как вдруг почувствовал огорчительные неприятности в животе от съеденных перед баней помидоров и прочей зелени.

В бане было примитивное удобство, предусмотренное как раз для таких экстренных случаев, а короче, унитаза, на который Женька взобрался, как был, в голом виде. И тут случилось ужасное: унитаз развалился, Женька рухнул на острые обломки и поранил всю свою казённую часть. Вопль пострадавшего потряс баню. Голые и намыленные мужики взломали дверь, извлекли пострадавшего из туалета. Но хохот, сказал Сергей, стоял просто дикий. Из Женьки кровь ручьём, а голые мужики ржут. Но вызвали «скорую», увезли зашивать, что он там порезал — оторвал, а что именно, никто не знает.

— Ну, и как он сейчас? — спросил я Сергея.

— Выписался. Пришили ему всё, что надо мужику. Да вон Борис идёт. Он-то лучше всё знает.

Подошёл Борис. Мы сели на скамейку возле подъезда.

— Да, моему свояку опять не повезло. Выписали его. Он теперь страшно занятой. В рот ни капли не берёт после того случая с носом. А после унитаза в суд на баню подал. Требуется инвалидности за счёт бани, чтобы они ему среднюю зарплату всю жизнь платили. Или на худой конец компенсацию в миллион рублей.

— Что, действительно, серьёзная травма?..

Борис пожал плечами.

— У него справок, рентгеновских снимков — гора! Уже за счёт бани к профессору в Самару ездил. К экстрасенсам ходит. Его Лариска отдельно от него на другой кровати спит. Вот и весь диагноз.

— Вот ведь как жизнь распорядится, — задумчиво сказал Сергей. — Правильно говорят, знал бы, где упасть, так соломки подстелить.

— А мне на улице знакомые проходу не дают. Баня что? У них денег нет, чтоб платить. Заведующая говорит, если присудят платить Женьке, то закроют баню или продадут.

— Где же народ будет мыться? Все заводские баней пользуются. Я вот любитель попариться. — Серёга недовольно покрутил головой. — Этого Женьке народ не простит.

— Да к нему уже делегации ходят. Отступись, мол. И банщицы приходили. А он упёрся — в суд, только в суд!

Вот такие, значит, события произошли, пока я прохлаждался в деревне. Если происшествие с носом имело характер индивидуальной разборки между свояками, то падение Женьки в унитаз и последовавшие за этим события получили общественную окраску. Помывочная публика, а её была не одна тысяча в околотке, явно волновалась и с нетерпением ждала результатов процесса.

На суде я не был, но уже через день в околотке только об этом и говорили: Женьке присудили миллион за пожизненный ущерб, а баня закрылась на ремонт, причём в объявлении о закрытии было написано, что ремонт продлится не менее двух лет. Публика, ясное дело, взвыла, но против решения суда не попрёшь. В хозмаге исчезли из продажи детские ванночки и тазы, видимо, жители, готовясь к худшему, запасались подручными средствами для домашнего помыва.

Женьку, конечно, клеймили на всех углах, во всех магазинах, у всех пивных ларьков, а он нигде не показывался. Сидел дома, смотрел видик, или спал, или книжки читал, словом, на улицу не выходил.

И можете представить моё удивление, когда однажды поздно вечером Женька заявился ко мне домой.

— Извините, что зашёл, но я хочу поговорить с вами.

Мы прошли в мою комнату. Он осмотрелся, подошёл к книжным полкам.

— Много тут у вас всего. Философия, история. Стало быть, много чего знаете.

Я молчал, поглядывая на его тщедушную птичью фигуру. События, трепавшие его полгода, казалось, никак на нём не отразились.

— Я, собственно, по одному вопросу к вам, — Женька присел в кресло. — Вы, писатели, народ бойкий. Так вот, прошу, не пишите обо мне.

— Это о ком не писать? — поразился я. — О тебе?

— Ну да, обо мне... Обо всём этом, что тут со мной случилось. Я не боюсь, что вы напишите, но, знаете, стыдно будет читать какую-нибудь ерунду. У вас ведь уже определённо какой-нибудь фельетон насчёт меня наклёвывается или занозистый рассказ.

— И не думал даже об этом, — улыбнулся я. — Честно, не думал

— Да Бог с ним, не думали. Однако я посерьёзнее, чем фельетон буду! Вы конца дождитесь, конца! Потом уж и пишете на здоровье.

— Какого конца?

— Обыкновенного... Думаете, всё это просто так со мной случается? Нет! Вот ещё чуть-чуть, и ещё что-нибудь случится. А вы напишите, а конца-то не будет!

— Да ничего с тобой больше не случится, — горячо возразил я. — Всё образует, уляжется.

— Нет, нет! Будет что-то ещё. Но вы не пишете, пока последнее не случится.

— Слушай, Евгений! — разозлился я. — Да на кой чёрт ты мне нужен. Я вообще о тебе не собирался и не собираюсь писать! Давай лучше чаю выпьем.

— А я не говорю, чтобы вообще не писать... Я даже хочу, чтобы вы написали, но после, понимаете, после. А чаю я не хочу.

«Вот ещё один кандидат в Наполеоны, — подумал я. — Одурел от миллиона».

А через неделю прозвучал выстрел. Последний, предупредительный, как я понял впоследствии.

Женька по знакомству пошёл покупать ружьё к соседу. Вертел его и так, и этак, спорил о цене, рядился. И вдруг толи от сотрясения, толи от случайного нажатия курка ружьё выстрелило, да так метко, что зарядом дробы отшибло у Женьки большой палец на правой ноге. Опять больница, опять милиция, опять суд, где пострадавший требовал несуразно большую сумму за причинённый ущерб. Опять загомонил наш родной околоток, обсуждая со вкусом, выгорит ли у Женьки дело.

Горело, горело, да не выгорело. Суд отказал в иске. И месяца два я о Женьке ничего не слышал.

Уже и январь прошёл, и февраль почти отбуранил, когда Женька опять заявил о себе. Уже в последний раз. Нашли его в сарае висящим на бельевой верёвке. Оплакивали беднягу немногие: жена да мать, приехавшая из деревни.

С той поры год прошёл, а я никак не могу понять, чему был свидетелем и даже невольным соучастником. И что это такое? Серая проза унылого бытия? Издевательское баловство судьбы над человеком? Кто знает? Но и отмахнуться от того, что случилось, тоже нельзя — ведь был человек...

Штаны

С утра Васильичу подпортила настроение молоденькая продавщица частного магазинчика, где он решил приобрести котлетного фарша. Стоявшая впереди него в очереди старуха купила вермишель и спросила:

— А фарш у вас есть?

— Есть, — буркнула продавщица.

— Как он, хороший?

— Говядина со свиной. Да вот вы его спросите, он часто покупает, — и указала на Васильича.

Тому это явно не понравилось: он не прочь бы попробовать и сервелата, и курочку, но с его пенсией на деликатесы не замахнёшься. Васильич, осерчав, щёлкнул искусственными челюстями и пробурчал:

— Хороший фарш, если мяса добавить, лучку, яичко...

Вышел на улицу, посмотрел на старух, которые с раннего утра сидели на ящиках под кустами акации. Перед каждой были разложены на газетах помидоры, огурцы, лук, морковь. У Васильича был сад, но после смерти жены он его продал, одному не нужен, только платить за него зазря. Деньги потратил на могильный памятник. Заказал настоящее гранитное надгробие с широкой стелой, чтобы и на его долю места хватило. Васильич

не знал, когда попадёт на подселение к жене. Но его фамилию, имя, отчество и дату рождения на плите гранитчики выбили. Даже тире провели. Осталось вырубить окончательную дату. Деньги на свои похороны он отложил, двести долларов. Поменял рубли. Доверия к нынешним властям у него не было. С самого начала, с перестройки. А власть, похоже, плевала на мнение Васильича. Выдавала ему пособие, чтобы он карабкался по жизни, пока сил хватит. У власти были свои заботы, а у него — свои.

Васильич больше по инерции, чем с определённой целью, подошёл к газетному киоску. Постоял, вглядываясь в крикливые заголовки местной прессы, фотографии губернатора и мэра на первых полосах газет. «Как при культе личности, — подумал он. — Портреты губера в каждом номере — и так, и сям. А что толку — ни культа, ни личности, сплошная демагогия».

Жизненный план у Васильича на сегодня был простой. Он ещё вчера на базарчике, придя к закрытию, задёшево купил килограмм залежалого мяса, десяток яиц, луку и маленькое ведро картошки. Мясо он хотел смолоть на мясорубке вместе с луком и замоченными в остатках молока сухарями от батона и смешать всё с фаршем. Тогда можно будет всю неделю готовить себе ежедневно по две-три котлетки на пару с картофельным пюре. Литр молока, пачка творога на два дня — вот и весь рацион, который мог позволить себе Васильич. И не потому, что был жмотом, нет, просто пенсии хронически не хватало, и ему каждый месяц приходилось выхватывать из своих нежирных накоплений сотню, а то и две сотни рублей, чтобы заткнуть пробойну в бюджете.

Возле дома его остановила почтальонка. Почтовые ящики в их подъезде были разломаны ещё в первую неделю после переезда жильцов, поэтому ей приходилось разносить корреспонденцию по квартирам. Из её рук Васильич получил листок бумаги — уведомление на получение посылки.

— Не забывает вас дочка!

Васильич хмуро буркнул в ответ и вошёл в подъезд. Он был крепко обижен на эту разбитную бабёнку, которая года полтора назад подошла к нему и предложила поработать у неё на даче,

пообещав, что взамен ему будет всё. Васильич покраснел, смешался, потом выпалил:

— Ты что, очумела!

— Вы же сейчас свободный мужчина, — не растерялась она. — Свободный, видный. А у меня домик, воздух, лес, Волга. Да хоть всё лето живите. А к себе на пару месяцев квартирантов пустите, всё деньги.

Матерок уже подпрыгивал на языке Васильича, но он сдержался и матюгнулся, когда уже пришёл домой.

Жена умерла два года назад и никогда не замечавшие его бабы начали обращать на него внимание. Сначала выражали соболезнования, но вскоре стали вести разговоры о тягости одиночества, о том, что мужчине трудно без хозяйки, то есть пошла бабская агитация и пропаганда с целью окрутить вдовца с какой-нибудь бесстрашной особой. А такие в их многоквартирном доме имелись. И даже в преизбытке. И всякие: толстые, мясистые, худые и ребрастые, как стиральные доски, с взрослыми детьми, денежные и нищие, не говоря уже о пьянчужках и почти бомжихах. И хотя Васильич был ещё старик в силе, шестьдесят пять только стукнуло, и постоянно ощущал в себе позывы прикоснуться к чему-нибудь тёплому и женскому, но он не мог представить себе, что в его квартире поселится кто-то ещё. В квартире всё напоминало ему о жене, каждая тряпка, каждая чашка. К чему только не притронешься, всё жалило воспоминанием о ней — Аннушке ненаглядной.

В молодости Васильич не обходил стороной женское внимание к своей персоне. Он тогда был очень горд и самонадеян. Женился, можно сказать, из-за жалости, уж очень Аннушка горевала, что он её не возьмёт. Женой она оказалась прекрасной: и хозяйка, и была в ней тихая, но сильно влекущая к её телу страсть, что-то неотвязно притягивающее к себе мужа, который после загулов на стороне чувствовал стыд и раскаянье. Аннушка знала или догадывалась о его проделках, но истерик не устраивала, только иногда, когда начинало твориться неладное, спрашивала:

— А ты не влюбился?

— Нет! — честно отвечал он. Никого он не любил, только Аннушку и то в последние десять лет её жизни, но особенно сейчас, когда она, как иной раз ему казалось, не умерла, а просто вышла куда-то на время и вот-вот должна вернуться. Вот и сейчас, выйдя из лифта, он по привычке потянулся рукой к дверному звонку, но опомнился, и достал ключи.

Квартира была двухкомнатной, просторной. В спальню он не заходил уже давно, жил в гостиной, где стоял телевизор, в который Васильич пялился все вечера. Времени свободного у него было много, а увлечений никаких, даже машину не смог купить, потому что все деньги уходили на воспитание двух дочек, а дети в наше время — удовольствие недешёвое. Васильич всю жизнь проработал на швейной фабрике, среди бабья, и заработки там были небольшие, почему-то считалось, что в лёгкой промышленности нужно платить меньше, чем остальным. Он ремонтировал и налаживал швейные машинки. Работа тонкая, умственная, но плохо ценилась. Перед пенсией, в начале перестройки, Васильич заимел хороший приработок в швейном кооперативе, купил в дом новую мебель, холодильник, телевизор. Мог бы купить и машину, но посчитал, что под старость не стоит загружать себя лишними проблемами. А тут как раз старшей дочке деньги понадобились на квартиру.

Конечно, как и всякий мужик, Васильич хотел, чтобы у него тоже были мужики. Два раза Аннушка побывала в роддоме, но так и не порадовала мужа сыном. Девочки, пока были маленькими, лет до двенадцати, тешили и радовали Васильича. Любил он их, тетешкал, угождал всякой детской прихоти. Но это умильное время пролетело, дочери стали бурно взрослеть и отдаляться от отца. Хуже того, они начали нести всякую ахинею про то, что они сами знают как им поступать, а ворчание отца воспринимали с отчаянным негодованием. Аннушка защищала их, укрывала собой, а они выглядывали из-за неё и звонко таякали на родителя.

Сейчас это давно позади. Старшая дочь, окончив музучилище, уехала в другой город, там и замуж вышла и теперь у неё двое пацанов, которых Васильич видел всего два раза. Младшая дочь вышла замуж за офицера, родила дочку и жила на

Дальнем Востоке в каком-то захолустном гарнизоне. Отцу они писали редко, только на праздники присылали открытки. И Васильич дочерей вспоминал редко, они казались ему иногда просто напоминанием о его прошлой жизни, которую уже не вернуть.

Войдя в квартиру, Васильич положил фарш в холодильник и ещё раз прочитал уведомление на посылку. Взглянул на часы и, достав из серванта паспорт, пошёл на почту.

Едва началась вторая половина лета, но день был по-осеннему хмурым и ветреным. Во дворе было пусто, все попрятались по квартирам, только под старой берёзой мужики играли в картёжного «козла». На голову Васильича упало несколько капель холодного дождя, он поёжился, но возвращаться домой за зонтом не стал, тем более, что из-за тучи выглянуло солнце и листва молодых вишенек, посаженных им три года назад возле скамейки, засверкала, отражая солнечный свет влажными ветками.

«Так оно и бывает, — подумалось Васильичу. — Вроде и невеликое дело — солнце выглянуло. Но как всё обрадовалось, живее стало...»

Нехитрые открытия, подобные этому, стали посещать его в последнее время. Вечерами, прохаживаясь перед сном по пустырю за домом, он нечаянно открыл для себя, что бурьян, татарник, полынь и растут красиво, и пахнут приятно. Иногда ночью Васильич подолгу стоял на балконе и смотрел на звёзды. Особенно в последнее время. По радио передали, что Марс подошёл на кратчайшее расстояние к Земле, и он высматривал красноватую планету среди бесчисленной россыпи звёзд, но так и не нашёл. Попробовал поговорить на эту тему с соседом, преподавателем какой-то зауми в университете, но того Марс не интересовал, он в ответ позавидовал, что у Васильича нет машины и пояснил, что его заставляют застраховать развалюху «копейку», иначе на дорогу не пустят. «Живём как свиньи, — опять сделал философское обобщение Васильич, — неба не видим».

На обратном пути от почты он решил, как это всегда делал,

посидеть на скамейке в заброшенном саду бывшего заводского профилактория. В руках у него был бумажный пакет, увязанный бечёвкой. Старика разбирало любопытство, что ему прислала дочка. Не писала полгода и вдруг вздумала разориться на посылку. Васильич разорвал пакет и обнаружил, что ему подарили штаны. Новые, из тёмно-зелёной ткани, офицерские штаны от парадного мундира, правда, без красного вшивного кантика. Добротные прочные штаны. Он повертел их в руках, пощупал, вздохнул и аккуратно свернул в трубку.

Зятя Васильич видел всего только один раз. Парень ему понравился с виду, а остальное — дело дочери, об их заботах он не хотел и думать. И вот майор, не дававший знать о себе несколько лет, осчастливил его штанами с собственной задницы. Тут было над, чем подумать, и Васильичу почему-то начало казаться, что штаны — это не просто штаны, обыкновенная носильная вещь, а что-то имеющее ещё и другой смысл. Конечно, мысль была явно бредовая, и в глубине сознания старик понимал это, но его очень уж смущал тот факт, что ему подарили не рубашку, не спортивный костюм, которого у него, кстати, не было, а именно штаны из офицерского пошивочного материала.

Дома он нагрел утюг и тщательно проутюжил штаны через влажную марлю. Повесил их на спинку стула. Сел на диван и включил телевизор. Передавали рекламу. Мелькали зубная паста всяких видов, пиво, очень много пива, а его Васильич терпеть не мог из-за неприятной отрыжки, которая начинала его мучить, стоило ему выпить стакан хвалёного напитка. И вдруг на экране возникли лихо отплясывающие быстрый танец штаны, вокруг которых дёргались молодые девки и парни. Штаны плясали, выделявая всякие коленца, и вдруг в них откуда-то сверху свалился парень и пошёл плясать и выкобениваться.

Васильич тревожно посмотрел на подаренные штаны. Они мирно висели на спинке стула и не обнаруживали никакого намерения что-нибудь откаблучить. Но что это?.. Штаны вдруг соскочили на пол, постояли, раскачиваясь из стороны в сторону, и двинулись на кухню. Васильич хотел броситься вслед за ними, схватить, вернуть на место, но не смог шевельнуть ни рукой, ни

ногой. А на кухне уже шумела вода, звякала посуда. Потом что-то зафырчало на сковородке и потянуло горьким чадом. Васильич замотал головой, открыл глаза и кинулся к плите. Горела картошка с салом, которую он поставил разогревать. Быстро снял сковородку с горелки, выключил чайник. Подошёл к окну, упёрся лбом в холодное стекло.

«Что же всё - таки произошло? — лихорадочно соображал Васильич. — Ба! А где же штаны, они ведь на кухне!»

Старик осмотрел кухню, открыл шкаф с посудой, заглянул в холодильник, мусорное ведро. Штанов нигде не было. Наконец догадался — они в комнате. Осторожно ступая, подошёл к двери и выглянул. Штаны висели на спинке стула.

Васильич огорчился. «Старею, дряхлею, — вздохнул он. — Вот задремал и не заметил как». Включил телевизор и, лёжа на диване, долго смотрел фильмы с частыми прослойками рекламной тухлятины. Изредка поглядывал на штаны. Они вели себя спокойно, не делая никаких попыток выкинуть какой-нибудь фокус. Засыпая, Васильич привычным движением щёлкнул пультом телевизора, и сон навалился на него, подхватил и понёс в неведомый человеку мир.

Раньше сны ему снились редко, но в последнее время что-нибудь да снилось, почти каждую ночь. Чаще всего про то, что он куда-то собирается уехать, торопится то ли на вокзал, то ли в аэропорт, но всегда опаздывает. Этой ночью ему приснилась Аннушка, но какая-то странная и непонятная. Снилось Васильичу, что лежит он в большой комнате на узкой кровати, а жена лежит на диване. И подходит к ней какой-то мужик, снимает парадные офицерские штаны и лезет за Аннушку к стенке. А та его обнимает и целует. Что-то они там делают, Васильич хочет увидеть, что именно, но всё заслоняют тёмно-зелёные штаны. Наконец, Аннушка подходит к нему и говорит, что решила с ним развестись. А мужик уже успел напаять на себя штаны и разгуливает по комнате, и опять Васильич лица его не видит, в глаза лезут всё эти проклятые штаны.

С тем и проснулся от того, что нестерпимо заболела левая сторона груди. Несколько минут лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к частому сердцебиению. Понемногу боль

отступала, Васильич открыл глаза и взглянул на стул. Штаны пропали. Он зажмурился, снова открыл глаза: штанов не было, исчезли. Кряхтя, поднялся с дивана, оглядел комнату. Ни здесь, ни на кухне, ни в коридоре, ни в ванной комнате, ни в уборной, ни в другой закрытой комнате их не было. Штаны бесследно испарились. Васильич заметил, что дверь на балкон приоткрыта и почему-то сразу решил, что их украли. Правда, жил он на третьем этаже, но ловкому вору этажи не помеха.

«Да, дела, — подумал старик. — Ведь ничего больше не взяли. Вон и часы именные в золотом корпусе лежат, и бумажник, как вчера бросил на стол, так и лежит. А штаны кому-то понадобились».

Васильич не очень-то огорчился пропаже, у него этих штанов было восемь штук, плюс два почти ненадёванных костюма, один двубортный, другой комбинированный: светлые брюки и коричневый пиджак. А без этого подарка и воздух в квартире, словно чище стал. И настроение у Васильича было хорошее, и погода за окном веселила. «Сегодня Яблочный Спас, — подумалось ему. — Надо будет сходить к Петру Сергеевичу за яблоками». Бутылочка, родимая, в холодильнике уже томилась почти месяц. С последней пенсии приобрёл в магазине. Мужики во дворе палёную водку хлещут. Глядишь, один окочурился, другого кондрашка раздолбала, еле ползает.

Пётр Сергеевич, хотя и получил квартиру, но его старый дом, как и несколько других не снесли, перестройка спасла. В нём он и жил, не зная многих невзгод, которые испытал Васильич на себе. В доме Петра Сергеевича зимой всегда топились печь, воду он набирал в колодце, держал в сарае пару свиней. А сад!.. А огород!.. Только не ленись, и всё будет. Взойдёт, вырастет, созреет, упакуется в банки-склянки и поместится в погребе. Только не ленись. И Васильич из своих окон видел, как Пётр Сергеевич, загорелый, как кирпич, с раннего утра уже начинает хлопотать по хозяйству. То огород копает, то дрова колет, то крышу красит. А возле двора в траве шныряют куры, свиньи подбирают упавшие яблоки в заброшенном саду.

Позавтракав яйцом всмятку и попив чаю, Васильич ещё раз прошёлся по квартире. Нет, штанов решительно нигде не было.

Он вышел на балкон и там их не обнаружил. Взял корзинку, с которой ходил за грибами в лес, вытряхнул из неё сухую листву. На кухне положил в неё запотевшую бутылку водки, закуску брать не стал: у соседа её водилось в приизбытке, особенно Васильичу нравились приготовленные женой Петра Сергеевича солёные огурчики и окорок. В прошлом году он получил в подарок со свежатинок порядочный кус копчёного деликатеса и наслаждался им почти месяц, отрезая каждый день по приличному ломтику для утреннего бутерброда.

На улице было солнечно и слегка припекало. День был рабочим, но немало народу толкалось и во дворе. Кто со своими машинами возился, кто ковры вытащил сушить и всякую верхнюю одежду, кто просто слонялся из угла в угол двора, усердно протирая об асфальт подошвы. Васильич знал в своём дворе не менее двух десятков бездельников, которые нигде не работали лет десять, а то и более, но, тем не менее, как-то жили, что-то ели и к вечеру обязательно напивались. Их существование было загадкой, это были явно пустые люди, но попробуй заговорить с ними, и на тебя сразу обрушится такой поток бахвальства и самомнения, что спасу нет.

Васильич не дошёл ещё до арки, чтобы выйти через неё к дому соседа, как его внимание привлекло что-то знакомое. Что-то мелькнуло, заставило остановиться Васильича, и он, приложив к бровям ладонь, чтобы сподручнее было против солнца смотреть, насторожился, вглядываясь в крепкого, ещё не старого мужика в рубашке с короткими рукавами, который споро шагал к его подъезду. Мужик был повыше Васильича и штаны, обтягивающие его ляжки, были ему коротки, всего по щиколотки. Но неожиданность была в том, что штаны на мужике были тёмно-зелёного цвета, как раз такие, как и пропавшие из квартиры.

— Вот это да... — пролепетал Васильич и кинулся следом за мужиком.

Лифт, на котором уехал незнакомец, громыхая, остановился наверху. Хлопнула дверь, но, сколько Васильич не прислушивался, а прошло минут пять, не меньше, в квартиру никто не зашёл, не позвонил даже. «Вот загадка...» Васильич

вызвал лифт, поднялся на последний этаж. Дверь на крышу была закрыта на замок. Он спустился по лестнице, тщательно осматривая все углы лестничных площадок, особенно возле мусоропроводов. Так и дошёл до первого этажа. Но, ни мужика, ни штанов нигде не было. И на улице тоже не было. Васильич выругался сквозь зубы, покрепче взял корзину и пошёл в арку дома.

— Ба! Ну ты прямо экстрасенс! — воскликнул Пётр Сергеевич, выходя из калитки. — А я к тебе иду. Жена небольшой сабантуйчик затеяла по случаю приезда моей сестры. За тобой послала. А ты — вот он! Заходи, гость дорогой, заходи!

— Извини, я не знал, что у тебя гости, — смутился Васильич. — Сегодня ведь яблочный Спас. Думал, приду, поздравлю. Вот бутылочку с собой захватил. А так... Я ведь не оделся! Мне вчера моя меньшая брюки в подарок прислала.

Сказал и поперхнулся. Не нужно было говорить про эти штаны, которые гуляют сами по себе.

— Да ладно тебе, Васильич! — возразил хозяин. — Ты всегда у нас чисто выбрит, со вкусом одет, сияешь, как новая копейка.

Васильич покорно поднялся на крыльцо, накрытое узорным тесовым шатром.

— Ты что-то заходить перестал, — бубнил хозяин, — живёшь отшельником. Хочешь, я тебе щенка подарю?

— Какая ещё собака! — отмахнулся Васильич. — Тут сам скоро собакой станешь или особачишься от такой жизни.

— Да, жизнь пошла — не разбери - поймёшь.

Дом был старый, построенный в пятидесятые годы из саманных блоков, и давно бы рухнул, если бы Пётр Сергеевич не обложил его кирпичами, не покрыл железом крышу, не хлопотал вокруг него круглый год. Они прошли через веранду, где на полках сияли стеклянные банки, ещё пустые, для варений и солений. Дальше, через порог, начиналась кухня, а дальше — зал, где за большим столом, покрытым белой скатертью с кистями, сидели гости. Тут, кроме Васильича, все были между собой в родстве, и молодые и старые. Васильич со всеми был знаком и со всеми перездоровался: с мужчинами за руку, а

женщин приветствовал лёгким поклоном. Пусть не совсем по-гусарски получилось это у него, но элегантно и достойно.

— А это наша гостя, — произнёс хозяин и подвёл Васильича к полноватой рыжеволосой женщине лет пятидесяти, очень приятной на вид в голубом костюме, который прекрасно соответствовал цвету её голубых глаз. Рука женщины, которую она подала Васильичу, была мягкой и ухоженной. Он осторожно пожал её и представился.

— Галина Сергеевна, — голос у неё был мягкий и тёплый.

Васильич почему-то стушевался, слегка вспотел и беспомощно оглянулся на хозяина. Тот указал ему на стул рядом с Галиной Сергеевной.

— Вы двое у нас гости, остальные свои, так что сидите рядом, а то у нас выпьют по рюмке и начнут о своих семейных делах говорить.

Подняли стопки, поздравили Галину Сергеевну с приездом, выпили. Васильич аккуратно, стараясь не пролить, выпил свой стопарик, подцепил вилкой кусочек колбаски и украдкой взглянул на соседку. Та тоже выпила водки и теперь махала, часто дыша, ладошкой возле рта. Васильич наколот вилкой огурчик и подал.

— Закусите солёненьким.

— Ой, я так давно не пробовала водки! Жжёт как!

А за столом уже вспыхнул разговор о новой правительственной накладке на семейный бюджет. У Петра Сергеевича и его свояка были старенькие «Жигули», а недавно вышел указ об обязательном страховании автотранспорта.

— За мою коломбину, — сокрушался свояк, — мне нужно выложить две тысячи рублей. Это месячная зарплата моей жены! На хлеб цены подскочили, квартплата.

— И за телефон!

Все заговорили о том, что жить уже становится невозможно. Васильич это знал по себе, но никто не ругал ни правительство, ни президента. Наоборот, главу государства почему-то жалели, говорили, что ему трудно, что ему не дают порадовать за народ, мешают бюрократы.

Пётр Сергеевич постучал ножом по графинчику.

— Интересно получается, — сказал он. — Начали со страховки, а взлетели до самого верха. Сейчас должен каждый жить по принципу: только бы на него не капало. Давайте бросим пустые разговоры и выпьем ещё раз за Галину Сергеевну, за тебя, сестрёнка!

Закусив после второй рюмки, мужики стали выходить из-за стола. Подошло время перекура. Васильич, хоть и не курил, тоже вышел на улицу и сел на диванчик под яблоней. К нему подошёл весёлый и довольный хозяин и сел рядом.

— Конечно, в этом году яблоки не очень. Но есть. Я тебе рекомендую присмотреться вот к этой красавице. «Папирка». Хранить нельзя, а на стол в самый раз.

Но Васильич о яблоках и не думал. Его мысли были заняты другим, более интересным и волнующим.

— Красивая у тебя сестра и молодая.

— Это Галка-то? Конечно, помоложе нас с тобой, но пятьдесят шестой уже пошёл. Мы с ней редко виделись. Она в Твери, я здесь. Осталась четыре года назад одна, вышла на пенсию и приехала навестить.

— Это почему одна?..

— Дочь у неё с мужем уже лет десять как в Канаде живут. А Василий, муж Галины, погиб четыре года назад. На охоте. Перепились, кто-то и выстрелил сдуру. А тебе что, понравилась сестра? Не красней, не потей, честно говори!

— А что тут говорить? Хорошая женщина, приятная.

— Десять лет тебя знаю, Васильич, и ты первый раз о женщине положительно отозвался. Как это понимать?

— А как хочешь, — буркнул Васильич и с хрустом надкусил спелое яблоко.

Гулянка растянулась до вечера. Чай пили уже в саду, в сумерках. Васильич, хотя и опрокинул несколько стопариков, был почти трезвый. Он весь день пребывал в каком-то приподнятом настроении, чувствовал себя необыкновенно легко и безмятежно. Он весь как будто светился изнутри, и это заметили другие, а хозяйка сказала, с улыбкой обращаясь к золовке:

— Сегодня у нас Васильич самый счастливый гость.

Гости начали расходиться, а Васильич и Галина Сергеевна стояли возле яблони и смотрели на звёзды.

— Я в последние дни вечерами всё смотрю и никак не могу найти Марс. Он должен быть крупней звезды, цвет красноватый. Он где-то там, на юго-востоке. Сейчас он находится на самом близком расстоянии от Земли. Это бывает один раз в пятьдесят лет...

Их плечи соприкасались. Хотя Васильич сильно робел, он решился взять ладонь Галины Сергеевны в свою. Она не отняла руку, и они стояли и дышали вечерним воздухом, пропитанным запахом спелых яблок, первой палой листвы и чувством невыразимого ожидания. Наконец, Васильич произнёс:

— Вам, наверное, пора. Увидимся завтра. Мои окна и балкон в этом доме, на третьем этаже. Утром я всегда выхожу на балкон.

— До свидания, — тихо сказала Галина Сергеевна. — Сегодня я провела чудесный день.

Васильич шёл по тёмной улочке, и с каждым шагом весёлое настроение улетучивалось, а взамен на плечи налегала усталость и щемящее чувство одиночества. Он думал о том, что может быть завтра или через несколько лет, но обязательно случится что-то непонятное и, возможно, ужасное, то, чего не избежит никто из живых. Бог, конечно, есть, осуществится и будущая жизнь на этой же земле. Но кто в ней воскреснет? Богу должны нравиться добрые, честные и весёлые люди, а много ли их побывало на земле?.. Каждый из нас и лгал, и блудил, и окаянствовал. За две тысячи лет избранных вряд ли и сотня тысяч наберётся. А ведь их нужно больше, чтобы заселить всю землю. Вот и ждёт Господь, терпит до известного только ему числа. И Васильич знал, что в это будущее он никак не попадает: и жене изменял, и тридцать лет в КПСС состоял, с такой биографией не то, что в рай, в ФСБ не примут, даже стукачом.

Первое, на что натолкнулся Васильич взглядом, когда включил в квартире свет, были столь загадочные штаны. Они висели смятые на спинке стула. Он осторожно снял их, повертел в руках, понюхал. От штанов пахло потом и табаком, они явно где-то были, но курить-то они не могли, значит, кто-то их

надевал, носил. Васильич ещё раз осмотрел штаны и заметил несколько подозрительных белых пятнышек возле ширинки. Это старика возмутило. Конечно, по молодости, и с ним всякое случалось, и он приходил домой после загула растрёпанным до полуузнаваемости, но за такими вещами следил, бдил, можно сказать. Васильич сунул проштрафившиеся штаны в пакет, вышел в коридор и выбросил его в мусоропровод. Затем тщательно с мылом вымыл руки и, не включая телевизор, лёг в постель.

Снился ему всё тот же сон, будто он собрался ехать в туристическую поездку на теплоходе по Волге, но его почему-то занесло на большую пустынную площадь перед зданием обкома партии, где сейчас заседают новые власти, к памятнику Ленина. Он оббежал его несколько раз вокруг, потом вдруг вспомнил о теплоходе и припустил вниз по косогору к речному порту. Прибежал, а теплоход уже отчаливает, у него замирает сердце, он прыгает через полосу воды, а чемодан на пристани, но это его не огорчает, наоборот, он полон душевных сил. На Васильича явно обращают внимание женщины, а он взглядом ищет кого-то, и вот мелькнул знакомый голубой костюм, и к нему поворачивается улыбающаяся Галина Сергеевна.

С тем и проснулся, глянул на стул и с облегчением вспомнил, что выбросил в мусоропровод измучившие его штаны. Тут же решил, что напишет дочке письмо, поблагодарит её и особенно зятя за подарок. Легко поднялся с дивана и вышел на балкон. День обещал быть тёплым и ясным. Стал смотреть на дом Петра Сергеевича. Там, видимо, ещё отсыпались после вчерашней гулянки. Во дворе и в саду никого не было видно, только куры копошились перед калиткой в траве, да лениво гавкнула на прохожего собака.

На крыльце появился Пётр Сергеевич с двумя вёдрами, подошёл к летней душевой в саду и залил в бак горячую воду, добавил из водопровода холодной, пощупал рукой и спустился по лестнице вниз. Васильич бросился в комнату, выдвинул из шифоньера ящик и достал из футляра армейский бинокль, который подарил ему зять. Вернулся на балкон как раз вовремя. По саду шла в ярком жёлтом халате с баннным полотенцем на

плече Галина Сергеевна. Васильич, выравнивая сбившееся дыхание, приткнулся к окулярам, отрегулировал резкость и увидел Галину Сергеевну почти рядом. Она отодвинула целлофановую шторку и вошла в душ. Через мутноватый целлофан были видны только очертания её тела, и он увидел, как она сняла халат, повесила его, перекинув через перекладину, и включила воду.

— Эх!.. — жарко выдохнул Васильич и облизал пересохшие губы. Много он дал бы сейчас за то, чтобы оказаться там, в душевой, рядом с нею. Окуляры бинокля запотели, Васильич протёр их краем рубашки и снова приткнулся к ним. Галина Сергеевна выходила из душевой, халат на ней распахнулся, обнажив тяжёлые белые груди и низ живота. Васильич вмиг покрылся потом и застонал. Такого с ним не бывало лет сорок, хотя юнцом зажимал какую-нибудь неуступчивую деваха, случалось и обмешульнуться, но на седьмом десятке лет... Нет, он и помыслить не мог, что с ним произойдёт такое.

Вода в кране была еле тёплой, однако он плюхнулся в ванну и долго лежал в ней, орошал себя душем, пока не озяб и не покрылся гусиной кожей. Понемногу успокоился и стал раздумывать, что ему предпринять, как приблизиться к приезжей гостье, которая влекла его к себе до умопомрачения. Ничего не решив, он переоделся и пошёл в магазин. Как-то сами собой в его сумке оказались: баночка красной икры, буженина, копчёная колбаса, бананы, плитка шоколада и красивая бутылка коньяка. Подошёл к киоску и купил газету. В отделе объявлений прочитал, чем развлекается народ. Выбрал оперетту. Сегодня давали «Королеву Чардаша». Времени на приглашение дамы и на покупку билетов было ещё предостаточно, но Васильич не стал задерживаться и поспешил домой.

Возле подъезда фырчал и плевался солярным дымом огромный мусоровоз, к которому рабочий подкатывал грохочущий контейнер с мусором. Васильич отшатнулся от выхлопных газов, присмотрелся и увидел на рабочем свои подарочные штаны. Они были ему широковаты, и рабочий перетянул их на животе жёлтым изолированным проводом.

«Ну вот, мотались, бегали, прятались, а парень враз вам

место определил, — подумал Васильич. — С проволоки не сорвётесь, здесь как раз вам место».

На кухне он разместил продукты в холодильнике и вышел на балкон. Возле дома своего брата стояла Галина Сергеевна и смотрела в его сторону. Васильич закричал и замахал обеими руками, будто собирался взлететь. Галина Сергеевна увидела Васильича, приветственно помахала рукой и медленно пошла к его дому. И Васильич, не дождавшись лифта, помчался по лестнице вниз, перепрыгивая через две ступеньки.

Стеклянный графинчик

- 1 -

Выйдя из лифта, Сергей поправил на плече ремень сумки и нажал кнопку звонка. Его ждали, послышался радостный голос дочери, лязгнул засов, железная дверь распахнулась, и первое, что ощутил он, едва переступив порог, были мягкие и тёплые губы жены, которая ткнулась ему в щёку и тотчас отступила в сторону, давая дорогу Галочке, трёхлетней малышке, метнувшейся к отцу на руки. Сергей подбросил её вверх, поймал, и она крепко обняла его за шею.

— Мы с мамой твой любимый пирог с капустой испекли!

— Какая ты молодец! А я, как из лифта вышел, сразу почувствовал такой родной запах. Выходит, ты меня ждала?

Дарья взяла сумку и унесла в ванную, чтобы освободить её от грязной и пропотевшей одежды. Сергей с дочерью на руках пошёл за ней следом.

— Ну, и как вы тут без меня жили? — сказал он, поставив малышку на стиральную машину.

— Болели, — вздохнула жена. — Дня два, как перестала кашлять. Пойдём, Галочка, папе нужно с дороги помыться.

Сергей разделся, глянул на себя в зеркало, в котором отразились загорелые до кирпичного цвета лицо, шея и руки

ниже локтей, плеснул из флакона в воду шампунь, взбил пену и залез в ванну. В меру горячая вода приятно обволакивала уставшее от тяжёлой, почти без отдыха, двухнедельной работы тело. В бытовке не было душа, по утрам строители, поливая друг друга из кружки, кое-как умывались, пили чай с жёсткими бутербродами и шли на объект. Сергей работал бетонщиком, нужда погнала его в Москву на заработки, и он по две недели, а то и по месяцу, не бывал дома. Сначала такой кочующий образ жизни его угнетал, но со временем Сергей с ним свyksя, тем более, что в Москве он зарабатывал до двух тысяч рублей в день, а возле дома за такие же деньги ему пришлось бы вкалывать весь месяц.

— Даша! — крикнул Сергей, намыливая вехотку. — Есть работа!

Пока жена тёрла ему спину, Сергей исхитрился проверить всё ли у неё на месте, раскраснелся и задышал так часто, будто забежал на свой этаж с мешком картошки в руках. Дарья, посмеиваясь, отстранялась от мужа, грубоватые приставания её смущали, и она мазнула его по лицу намыленной мочалкой, и отступила к двери, за которой захныкала дочка.

— Скоро Виктор с Натальей придут. Иду, Галочка, сейчас!

— Нельзя было без них, хотя бы сегодня, обойтись? — поморщился Сергей. — Завели моду, каждый раз приходить в день моего приезда.

— А ты хочешь, чтобы я брата на порог не пускала? — обиделась Дарья и, громко стукнув щеколдой двери, вышла из ванной.

Сергей ополоснулся под душем, утёрся полотенцем и, надев трусы, пошёл на балкон. Солнце уже скатилось за крышу соседнего дома, от бетонной стены несло сухим жаром, он взял сигарету и закурил, заметив, что пачка, которую оставил, уезжая на вахту, почти полной, опустела наполовину. «Без меня покуривает, — подумал Сергей. — А ведь обещала, что завяжет».

Он на дух не переносил курящих женщин сызмала, после того, как его тётка во хмелю завалилась с сигаретой в постель, сожгла дом и сгорела в нём сама. Пока они с Дарьей женихались

да невестились, Сергей смотрел на сигарету в её губах снисходительно, покуривала она и до беременности, а когда понесла, с табаком было покончено, но, как оказалось, не навсегда. Это открытие испортило ему настроение, он вошёл в зал. Нажал кнопку, чтобы включить телевизор, но тот не работал.

— Даша, что с теликом?

— Не знаю, — откликнулась из кухни жена. — Приходил мастер, копался два часа, но так и не наладил.

Телевизор был обязательным условием полноценного отдыха после вахты. Сергей, вернувшись из Москвы, днями пролёживал перед ним на диване, переключая-перелистывая пультом телепрограммы одну за другой.

— Что мастер сказал?

— А ничего. Вызов был бесплатный, так он штук десять сигарет взял и ушёл, — жена заглянула в гостиную. — Ты куда собрался?

— В магазин, за сигаретами, — сказал Сергей, застёгивая босоножки. — Что ещё купить?

— Сейчас напишу, — заторопилась Дарья. — Надо купить шампанское, конфеты и всякие мелочи.

Пока жена писала записку, Сергей из толстой пачки тысячерублёвок отсчитал три штуки и положил в бумажник. Вспомнил, что не взял сигареты и, сняв обувь, прошёл на балкон, где было уже шумно. Сергей посмотрел вниз и увидел, как его сосед с первого этажа, положив на траву большой букет орхидей, готовится вступить в рукопашную с молодым мужиком, а из зарешеченного окна вопит соседка:

— Только посмей тронуть! Теперь он — мой муж, а ты проваливай в свою Сирию!

— Да тут самая настоящая война! — удивился Сергей. — Они же всегда в обнимку ходили, и вдруг такое.

— Это у них с весны началось, — сказала Дарья. — Она задумала газон устроить под окнами, пригласила специалиста...

— А тот пришёлся по нраву этой богатой говорящей корове! — догадался Сергей. — Как это она променяла араба на

русского мужика? Абдель к ней с орхидеями явился, а она его гонит, да ещё и ментовкой грозит.

Под натиском свирепого араба соперник дрогнул, подбежал к своей машине и ударил по газам — только его и видели. Абдель поднял с земли орхидеи и устремился к окну, но неверная дама сердца захлопнула перед его носом створку.

— Иди, куда собрался, — сказала Дарья. — Концерт только начался, надоест ещё смотреть и слушать.

Выйдя из лифта, Сергей на первом этаже столкнулся с Абделем, который ломился в железную дверь.

— Привет, Абдель! — весело сказал Сергей. — Что, ключи потерял?

Сосед повернулся, и Сергей поразился его виду: обычно весёлое и улыбчивое лицо было искажено страдальческой гримасой, в больших, похожих на чёрные сливы глазах поблескивали слёзы.

— Я ей отомщу! — взвизгнул он и стал колотить в дверь ногами, выкрикивая то мольбы, то угрозы. В ответ на домогательства пылкого араба из квартиры раздалась такая грязная ругань, что Сергей поспешил выйти на улицу.

«Попробуй, отомсти такой кобре, — подумал он, направляясь к торговому центру. — Она, кого хошь, сама загрызёт или натравит бандитов. Абдель — не чеченец и не цыган, свистнуть на помощь ему некого. А ведь какая любовь была!»

- 2 -

«Сладкая парочка» появилась в доме года два назад. Целый месяц на первом этаже шла перестройка: из двух «трёшек» бригада таджиков сварганила шестикомнатные апартаменты с дубовым паркетом, подвесными потолками, евроокнами, финской сауной, железными решётками и бронированной дверью, в которую сейчас колотился всеми конечностями несчастный Абдель.

С арабом Сергей сошёлся по случаю. Тот привёз шкаф и пытался один втащить его в квартиру. Сосед помог соседу,

дорогая вещь без царапин была установлена в зале, хозяин достал из буфета початую бутылку «Абсолюта» и, нацелившись на фужеры, сказал:

— Как наливать? По-немецки или по-русски?

— Конечно, по-нашему.

Они чокнулись, выпили, но закусить не успели. Откуда-то из глубины квартиры вынырнула хозяйка и свирепо глянула на Сергея.

— Ты зачем сюда бомжа приволок?

— Это не бомж, дорогая, это наш сосед, — переполошился Абдель. — Он помог внести в квартиру шкаф.

— Много ты понимаешь! Отдай ему бутылку — пусть допивает, и запири за ним дверь.

Вот таким противным образом закончился для Сергея первый и последний визит к соседям. Абдель, охая и вздыхая, закрыл за ним двери, и с той поры начал здороваться и угощать Сергея всем, что при встрече было у него в руках. А он порожним не ходил, всегда что-нибудь да нёс в дом, причём в количествах, которые явно превышали потребности двух человек.

Сергей как-то, приехав с большими деньгами с вахты, зазвал Абделя к себе в гости, чем ввёл Дарью в большое смущение.

— Чем мне его угощать? — забеспокоилась она. — Я приготовила антрекот из свиного мяса. А ведь он — мусульманин?

Сергей был уже на лёгкой поддаче и отмахнулся:

— Не будет есть, и не надо. Пусть налегает на винегрет, салат, блины... Голодным не останется.

Опасения хозяйки не оправдались, Абдель свинину не отверг, как и водку, и всё остальное, что находилось на столе. Ел он очень аккуратно, и на это обратила внимание жена Дарьиного брата Наталья, которая всегда толкала своего Виктора в бок, когда тот начинал чавкать и ронять мимо стола крошки. Наталья была педагогиней, обладала язвительным нравом и клещом вцеплялась в заинтересовавшего её человека. Абдель стал для неё экзотической новостью, и она не замедлила запустить в чужестранца свои цепкие коготки.

Другим было тоже любопытно узнать про араба всю подноготную, и они подбадривали Наталью красноречивыми взглядами. Абдель на вопросы отвечал охотно и многословно, впрочем, никакого секрета в его обрусении не было. Он был, если не жертвой, то экзотическим плодом государственного перетряса, случившегося в СССР, куда приехал получать военное образование в наш город, где находилось единственное в мире училище, готовившее специалистов по обеспечению войск горючим. Сирийцам, не в пример кубинцам и ангольцам, их правительство платило по тысяче двести долларов в месяц, и в нашем городе среди дам определенного разбора они были нарасхват. Не избежал своей участи и Абдель.

— И где ты познакомился со своей? — деловито осведомилась Наталья.

— С Леночкой? — задумался на мгновение Абдель. — В ресторане. Она работала буфетчицей, а я туда частенько заходил.

— Влюбился, значит? — подвела первую черту под расследованием Наталья. — И чем же она тебя так прельстила?

— Не знаю, — развёл руками Абдель. — Когда мы остаёмся одни, то я чувствую, что нахожусь рядом с раем, который обещал Аллах всем правоверным.

— Вон как! — скептически вымолвила Наталья и повернулась к мужу. — Завидуй, умник: люди в раю живут, а я с тобой в однушке маюсь с ребёнком!

Абдель понял, что разговор за столом может принять нездоровое направление, и с улыбкой вынул из кармана японский магнитофонный проигрыватель.

— Счас он тебе, дуре, танец живота включит, — буркнул обиженный супругой Виктор. — Иди, покрути своей кормой, да не запнишь ногой за ногу.

— А вот и пойду! — вспыхнула Наталья. — Включай, Абдель, на всю катушку!

— Я бы не хотел стать причиной ссоры, — осторожно произнёс гость. — Мне русская музыка нравится не меньше своей.

— Включай, — сказал Сергей. — А на них не обращай внимание. Они уже забыли, о чём повздорили.

Абдель включил магнитофон, который оказался на удивление голосистым, и комнату наполнили звуки мелодичного восточного танца.

— Это и есть танец живота? — сказала Дарья.

— Танец живота можно исполнять под что угодно, — широко заулыбался Абдель. — Ведь это собственно не танец, а объяснение в любви.

— Ах, так! — вскочила со стула Наталья. — Хочешь, Витюшенька, я тебе объяснюсь в любви?

— Валяй! — махнул рукой муж. — И Дарью с собой прихвати, а мы пока остограммимся.

Пока женщины что-то там танцевали под сладкую и тягучую, как сахарный сироп, мелодию восточных базаров и гаремов, Сергей, Виктор и Абдель освободили стаканчики от водки и, прихватив сигареты, вышли на балкон.

Был конец октября, и с десятков вишен и берёзок во дворе роняли своё золотое убранство на порыжевшую траву вытоптанных газонов. Небо над разлившимся на несколько километров водохранилищем было тускло-голубым, и высокий правый берег, занятый садами, был заметно жёлт, и над ним клубилась тёмная и тяжёлая от переполнившего её мокрого снега громадная туча.

— Быть на днях зиме, — заметил Виктор, поёживаясь от набежавшего невесть откуда ветерка. — А у тебя, Абдель, в Сирии, наверно, жарко? Не скучаешь зимой по теплу?

— Что ему скучать? У него супруга — огонь, возле такой не замерзнёшь, — сказал Сергей. — Такой как она, в Сирии не сыскать. Правду я говорю, сосед?

— Моя Леночка лучше всех, — убеждённо объявил Абдель.

— А ты её в Сирию возил, отцу с матерью показывал? — спросил Виктор.

— Показывал.

— Ну, и что? — оживился Сергей.

— Требуют, чтобы я женился на своей, на арабке.

— Вот красота! — восхитился Виктор. — Мне бы такое счастье. Глядишь, меня вторая жена от Наташки обороняла бы.

— И как твоя, Абдель, Елена глядит на такую перспективу? — сказал Сергей.

— Разве я могу ей об этом сказать? — ужаснулся пылкий араб. — Она ревнива до ужаса.

— Наши бабы такие, — хохотнул Виктор. — Наши бабы сами не прочь завести себе гарем из мужиков. Они все сейчас, до старух, оштанились, и теперь пойди, разгляди, что у них там под штанами — женское место или уже мужицкое отросло до колен.

— Это что там за умник разговаривался! — раздавшийся снизу язвительный голос был хорошо знакомым Абделю и Сергею, который вытолкал Виктора в зал и плотно закрыл двери. Испуганный араб был уже в прихожей и пытался, не простившись, покинуть квартиру.

— Кто вас так напугал? — спросила Наталья.

— Его кобра пасть разинула! — зло сказал Виктор.

— Кто ей позволил здесь командовать? — Наталья направилась к балкону. — Я ей сейчас объясню, кто она такая!

Дарья перегородила ей путь, расставив в стороны руки.

— Я здесь, Наташа, хозяйка! Ты наорёшь на неё и уйдёшь, а мне с ней встречаться, здороваться.

— Выпустите меня отсюда! — раздался из прихожей плачущий голос Абделя. — Она сейчас сюда явится и устроит разгром.

Сергей поспешил открыть гостю дверь, тот выглянул на лестничную площадку, затем на цыпочках подошёл к перилам, заглянул вниз и стал, стараясь не шуметь, спускаться на свой первый этаж. Вскоре оттуда донеслись звуки потасовки, затем хлопнула дверь и воцарилась тишина.

— Как там? — сказала Дарья.

— Араба изъяли из обращения и посадили на привязь, — весело доложил Сергей. — Ну, а теперь продолжим наши забавы.

— Продолжим! — охотно согласилась Наталья. — Тем более твой гость так торопился, что свою сладкую музыку нам оставил.

— Хорошего — помаленьку, — сказала Дарья. — У нас есть и своя песня, правда, Серёжа?

— Есть и не одна.

— А мне, что ни говорите, а этого Абделя стало жалко, — вздохнула Наталья. — Пропадёт ни за что мужик.

— Чего же ты не спешишь к нему? — съехидничал Виктор. — Сбегай хоть под окошко, проскули ему про свою жалость.

— Да ты никак ревнуешь? — повысила голос Наталья. — Он своей кобре каждый день орхидеи носит, а ты мне даже метёлки полыни не подарил.

Виктор хотел выругаться, но сдержался и, сунув сигарету в зубы, вышел на балкон.

— Испортила всю нашу малину эта, с первого этажа, — Сергей поделился с шурином огоньком. — Абдель в ней души не чает, на днях один из своих магазинов на неё записал, но, сколько волка не корми, он всегда о лесе мечтает.

— А этой-то о чём мечтать?

— О той штуке, что промеж ног у чужих мужиков крутится.

- 3 -

День перевалил за половину и стал ещё жарче, но Сергей за пять лет московской вахты притерпелся и к зною, и к холоду. На последнем объекте ко всему прочему добавился ещё и едкий ядовитый дым от автомобилей с двенадцатирядного шоссе, под который строители сооружали подземный переход. За две последние недели Сергей надышался этой гадости до першения в горле, и, выйдя из-за дома, с наслаждением ощутил, как его окатило ветром с водохранилища и живой тишиной городской окраины, в которой явственно прослушивались и шум листвы, и поскрипывание ветвей статной и деберой берёзы, и звон кузнечиков, и посвистывание синичек в рябиновых кустах.

В магазин он направился не напрямую, а через двор, чтобы поздороваться с мужиками, которые с утра до ночи играли, рассевшись вокруг врытого в землю стола на скамейках, в картёжного «козла», громко шумели, незлобно переругивались, а меж-

ду картами, не прячась, пили купленный на хате ворованный спирт и ворчали, что после сорока пяти лет работу не найти, но как-то и чем-то все жили, ходили голосовать, и половина из них была стойкими сторонниками президента Путина.

В свой каждый приезд Сергей ставил дворовому сообществу литр магазинной водки, три пары пива и закусон, чтобы народ его не забывал, и допускал в свой круг на равных, как своего.

— Ну что я говорил! — воскликнул, увидев Сергея, природный лодырь Толян. — Недаром у меня сегодня левая рука чесалась. Я и своей бабе сказал, что сёдни забухаю. Говорю, Серёга-москвич явится, так оно и случилось.

— Как же я мог мимо своих пройти, — сказал Сергей и положил на стол полутысячную бумажку.

Толян её цапнул и потрусил в сторону магазина.

— Какой шустрый, — покачал головой Павел, небольшого роста, но плотно сбитый мужик. — Зря ты, Сергей, столько дал, двухсот бы вполне хватило. А то мужики перепьются и завтра к тебе явятся за опохмелкой.

Сергей поморщился: пятисотку зря выкинул, хватило бы и двухсот рублей, но не удержался от дешёвого куража. А этой братве всегда мало, схавают пятисотку и не поперхнутся.

— Ну, дал и дал, он своим деньгам хозяин, — сказал ветхий дедок, который, несмотря на возраст, вёл активный образ жизни, то есть играл в «козла», пил наравне с молодыми и поглядывал ястребом на пригожих баб. — Ты нашему приезжему олигарху расскажи, как тебе сегодня сам Путин приснился.

— Какой же я, дядя Костя, олигарх? — удивился Сергей. — Я — работяга.

— Не скажи, — засмеялся дедок. — Ты и есть, по сравнению со мной, самый настоящий олигарх. Сколько в месяц зарабатываешь?

— По-разному.

— Да скажи, здесь все свои.

— Ну, в прошлый раз чуть поболее пятидесяти тысяч вышло, но это с переработкой.

— Вот! Что и требовалось доказать! — удовлетворённо сказал дед Костя. — А теперь ты, Паша, скажи какая разница в России между богатым и бедным.

— В пятнадцать раз.

— Ага! У меня пенсия три тыщи, ты, Сергей, получил пятьдесят. Выходит, ты богаче меня в семнадцать раз. Да ты по сравнению со мной не только олигарх, а целый Абрамович, Вексельберг и Авен, вместе взятые!

— Какой я олигарх? — улыбнулся Сергей. — Своим горбом зарабатываю.

— Только поэтому ты и сидишь со мной рядом, — авторитетно заявил дед Костя. — Любого другого я бы послал подальше, будь это сам Путин. Он сегодня, наверно, многим приснился, как Паше. С чего бы это?

— Мне такое счастье не выпало, — сказал Сергей. — Я в вагоне спал без задних ног.

— Я его тоже не ждал, — усмехнулся Павел. — Еду на велосипеде, во сне, конечно, и вижу — Путин идёт навстречу...

— Как, один? — встрял дед Костя. — А где охрана?

— Не было охраны... Как было, так и говорю. Я притормозил, слез с велика, положил его на траву, жду, что дальше будет. Путин остановился и говорит: «Не надоело на велосипеде ездить?.. Хочешь, я тебе с машиной помогу?». Я замялся, а он подошёл к нашему столу, где мужики в «козла» играли, положил на стол пачку тысячерублёвок: «Отдыхайте, ребята, только не напивайтесь до поросячьего визгу». Вот, собственно, и весь сон.

— Нет, не всё! — хихикнул дед Костя. — Он, наверно, сегодня проснулся и укорил себя за излишнюю щедрость к тебе. Не жирно ли будет каждому встречному обещать машину, да ещё бесплатно. Свистнул про это своему главному гаврику, а тот доложил, что Сергей с вахты едет домой. Вот ему и сунули полтыщи, чтобы он отдал тебе на пропой, и ты забыл про обещание президента насчёт машины.

— Ты думаешь, что он о каждом помнит? — скептически произнёс Павел. — Ему бы, дай бог, запомнить, как министров зовут.

— Они у него одни и те же десять лет, запомнил, — сказал дед Костя и облизнул сухие губы: он страсть как любил расшевелить кого-нибудь на разговор о политике.

— Гуляйте, мужики, — напомнил о себе Сергей. — А я пошёл в магазин.

— Будешь в Москве, Владимир Владимировичу кланяйся. Скажи, что помним его и желаем ему царствовать и править многие лета, на сколько России хватит, — проникновенно произнёс дед Костя. — Политика у него правильная, я всегда за него и его партию голосую.

Политическая дискуссия Сергея не интересовала. И он поспешил отойти от стола, за которым мужики, ошавев от безделья и «козла», каждый день спорили до хрипоты, пока кто-нибудь не предлагал охладиться пивком или скинуться на что-нибудь существенное, на тот же разведённый водой из-под крана спирт, которым торговали в пяти из двенадцати подъездов девятиэтажного дома.

К магазину Сергей пошёл вокруг заросшего ивовыми кустами, камышом и осокой котлована, который вырыли под фундамент дома, но так и не выстроили. За два десятка лет здесь образовался пруд, и в нём бултыхались лягушки, присаживались волжские чайки, и была кое-какая рыбешка, которую на удочки — самоделки пыталась поймать ребятня. Сергей постоял возле них, поинтересовался клёвом и, обойдя пруд, выбрался на его глинистый и сыпучий берег.

«Хорошо-то как! — подумал он, присаживаясь на тёплый травяной бугорок. — Хорошо!... А вот Абделю совсем худо. И что он прикипел к этой драной курице? Что у неё за приманка спрятана между вислым брюхом и толстой кормой? Денег у них — куры не клюют, детей нет. Зачем живут, для кого? Или только тем, чтобы с утра до вечера имитировать размножение? Она его, судя по всему, окончательно забраковала и хочет выставить вон. А он плачет. Это ужасно, когда мужик плачет».

Это недолгое размышление огорчило Сергея, он не мог не понимать, что его жизнь мало чем отличается от жизни других людей, что он явился на этот свет не понятно зачем и получил от природы единственное утешение — возможность заниматься с

Дарьей имитацией размножения две недели в месяц, а остальные две недели отдавать себя рабскому труду, чтобы иметь возможность заниматься тем, что составляет основной смысл его существования, в своей квартире, в своей кровати, со своей и только ему принадлежащей женщиной.

Бывший учитель истории, он считал себя жертвой доступного высшего образования в стране, где правят не разум, не добродетель, а низменные инстинкты двуногих особей, занятых пожиранием друг друга. «Ладно, — говорил он самому себе, — сильные сожрут слабых, а что потом?» Ответ подсказывала жизнь: народ это такая самовоспроизводящаяся биомасса, что сожрать его весь до конца не удастся никому. В его толще, как в назёме перегорают всё, что есть в человеке наносного и проходящего. «Я три года не брал в руки книгу, и превосходно себя чувствую. У меня на книжной полке стоят тома Фукидида, Плутарха, Светония, Момзена, Ключевского и других выдающихся историков, а мне нет до них никакого дела, они меня не кормят и пошли они куда подальше. А вот лопата, которой я ворочаю бетон, моя кормилица и поилица, благодаря ей я могу сидеть сейчас на травяном бугорке, поплёвывать на всё, что ниже меня ростом, потому что в заднем кармане штанов пошевеливаются несколько тысяч честно заработанных рублей, которые я могу истратить по своей прихоти».

Мысль о том, что он на сегодняшний день богат, рассеяла чуть не охватившее его целиком плохое настроение, он привстал на бугорке, потянулся, поднявшись на цыпочки, и, весело посвистывая, направился к магазину. Из него он вышел с двумя сумками с продуктами, и ближайшим путём, по тропинке между зарослей полыни и бурьяна, направился домой. Зайдя в подъезд, Сергей покосился на дверь квартиры, в которую колотился влюблённый араб. На ней было что-то написано не по-русски, а витиеватой арабской вязью. Что это было: угроза или мольба, Сергей разгадать не мог, но было ясно, что примирение не состоялось.

— Что, отоварился? — дед Костя был уже заметно навеселе, и в руке держал литровую пластмассовую бутылку с разведённым спиртом. — А мы решили продолжить. Пойдём!

— Ты Абделя не видел, дед? — сказал Сергей.

— Видел, — осклабился старик. — Сейчас только. Висит на окне, а эта курва сталкивает его вниз. Чую, вот-вот менты придут.

— Ему ничего не будет: он гражданин Сирии.

— Наши менты дипломатию не знают, мигом карманы у него вывернут, а он без «зелени» не ходит.

Сергей заглянул в щель своего почтового ящика, там что-то белело. Он вынул конверт и присвистнул: письмо было от одноклассницы, о которой он вспоминал только тогда, когда ему на глаза попадался полулитровый графинчик из жёлтого стекла, подаренный Ниной Кулишкиной на день Советской Армии, когда они учились в седьмом классе.

Письмо было коротким:

«Здравствуй Серёженька. Мне осталось жить совсем недолго. И на прощание я должна сказать тебе, что я всегда, как только себя помню, люблю только тебя. Желаю тебе большого личного счастья и крепкого здоровья. Для себя я прошу совсем немного: вспоминай меня, Серёженька, хоть изредка, как мы сидели в школе за одной партой, катались на коньках на замёрзшей старице. Прощай, мой любимый и ненаглядный Серёженька!..»

— На тебе лица нет, — сказала, открыв двери, Дарья. — Если ты расстроился, что я пригласила свою родню, то успокойся, они не идут на свадьбу к Натальиной племяннице.

Сергей отдал ей полученное письмо, и прошёл с сумками на кухню. Открыл холодильник, взял бутылку пива и, откупорив, сделал большой глоток.

«Вот это новость! — подумал он. — Значит, Нина всю жизнь меня любила, а я об этом и не догадывался. И что мне теперь делать с этим открытием?»

Сергей наклонился и, распахнув дверцы кухонного стола, стал разглядывать стоявшую там посуду.

— Ты что ищешь? — сказала Дарья, и в её голосе были слышны ревнивые нотки.

— Стекланный графинчик. Ты его, часом, не выкинула?

— С какой это стати! Храню в зале, в серванте, на самом

видном месте как память твоего детства. Но до сегодня никакой Нины я не знала. И как это она удосужилась о тебе вспомнить?

— Только не говори глупостей, — сказал Сергей и, пройдя в зал, распахнул дверцы серванта. Графинчик в окружении хрусталя выделялся тусклой желтизной и грубоватой обработкой стекла, но Сергей обрадовался ему, как нечаянно обрётённой давней потере.

— Вот оно — цело и невредимо твоё сокровище! — усмехнулась Дарья. — На самом видном месте, а ты его и не замечал.

— Надо было его протереть, он запылится, — сказал Сергей.

— Я на днях, перед твоим приездом, всю посуду почистила, и твой графинчик не обошла стороной.

Сергей взял графинчик, посмотрел на свет и поставил обратно на полку.

— А я, убей, не помню, что подарил Нине на восьмое марта. Я и её плохо помню, уже лет десять как не видел и ничего о ней не слышал.

— Она тебя не забыла, раз такое жаркое письмо сочинила, — небрежно произнесла Дарья.

— Не надо ревнивых глупостей, — Сергей крепко её обнял и повлёк к дивану. — У нас все двери закрыты? Чайник выключен?

— Погоди, — она высвободилась из его объятий. — Взгляну на Галочку.

Услышав, что в ванной зашумела вода, Сергей мигом освободился от штанов и рубахи, затем и от трусов, и, встав перед зеркалом, очень себе понравился. Вошла в распахнутом халатике жена и начала застилать диван чистой простынёй. Обнажённая грудь и низ живота, которые он успел ухватить воспалённым взглядом, отразились в его мозгу ослепительными искрами, и Сергей, взмывая, подхватил Дарью на руки и вместе с ней упал на диван, который похотливо заскрипел, заохал, заповизгивал, будто одобрял и всячески поддерживал производимую на нём работу.

Однако люди несправедливы не только друг к другу, но и к ублажающим их вещам. Дождавшись, когда диван охнул под Дарьей в последний раз, Сергей свалился на бок и сказал:

— Пора это заслуженное лежбище заменить на новый спальный гарнитур.

— А меня нисколько не смущает его музыкальное сопровождение, даже в чём-то нравится, — рассмеялась жена и прильнула к своему суженому горячим боком.

Сергей уловил в её словах призыв, и не замедлил на него откликнуться.

- 4 -

Он проснулся на рассвете от звука медного колокольчика, которым школьная техничка подгоняла его и Нину на урок. Странно было, что колокольчик прозвучал всего только один раз: «Дзинь!» Но и этого хватило, чтобы Сергей метнулся на диване и очумело захлопал глазами.

Вечером у дочки поднялась температура, она раскапризничалась, и Дарья легла спать вместе с ней. Сергей, оставшись один, проскучал без телевизора до полуночи. Пытался читать, но три года московской вахты отучили его от этой интеллектуальной забавы.

«В самом прямом смысле я уже стал рабочей лошадью, которая тянет свой воз и ни о чём не спрашивает», — подвёл неутешительный итог Сергей, ставя на полку более чем толстенный однотомник Плутарха. Он ещё по институтской привычке покупал книги по истории, надеясь в глубине души, что бетонная каторга для него когда-нибудь закончится, и ему удастся завершить диссертацию и устроиться на преподавательскую работу.

— Ах, чёрт! — воскликнул Сергей, окончательно опамятавшись. — Это же графинчик!

Он метнулся к серванту, распахнул дверцы и отыскал взглядом графинчик, но тот был цел. Сергей протянул к нему руку, взял и повернулся к окну.

— Дзинь! – раздался уже знакомый ему звук, и графинчик, распавшись на множество осколков, осыпался стеклянным дождём к его босым ногам. Некоторое время Сергей с недоумением разглядывал оставшуюся в руке верхнюю часть кувшинного горлышка, затем положил осколок на стол и вышел на балкон.

Было свежо, с Волги тянуло прохладой, листья деревьев и трава влажно поблёскивали от случившегося ночью небольшого дождика, но Сергей всего этого не видел и не ощущал, поражённый пронзившей его догадкой, что с Ниной случилось непоправимое, что, скорее всего, она скончалась, а лопнувший в его руках и рассыпавшийся на стеклянные брызги графинчик, есть вещий знак о случившемся, за десятки километров от его дома, печальном событии.

Сергей заглянул в комнату к жене, чтобы поделиться с ней своей догадкой, но Дарья так сладко и безмятежно спала, что он удержался и не стал её будить, а взял в туалете веник и совок, тщательно подобрал осколки стекла с пола, затем написал записку жене, оделся и вышел из дома.

Возле подъезда стояло несколько автомашин, и когда за ним хлопнула железная дверь за ветровым стеклом «фольксвагена» нарисовалась физиономия Абделя, Сергей подошёл к соседу и принял от него предложенную ему сигарету. Они закурили, некоторое время молчали, затем Сергей осторожно произнёс:

— На семейном фронте без перемен?

— Война, Серёжа, война, — печально вздохнул араб. — А ты куда так рано собрался? На рынок, деньги тратить?

— В другую сторону, — вздохнул Сергей и поделился с соседом своей заботой.

— Сколько туда километров? – сказал Абдель.

— Около пятидесяти.

— Садись, довезу. Моя дорогая супруга будет спать до обеда. Потом начнёт краситься, причёсываться, так что время у меня есть.

— За бензин я плачу! – заявил Сергей. – Подруливай к заправке.

— Я ещё ночью заправился, — сказал Абдель, заводя машину.

Утреннее шоссе было пустым, и через час они добрались до посёлка консервного завода, который, судя по дыму над трубой котельной, ещё находил в себе силы трепыхаться в стихии российского рынка и выпускать сгущённое молоко.

Возле завода стояли несколько двухэтажных жилых домов, от которых начиналась основная посёлковая застройка, несколько улиц насыпных, рубленых и кое-где кирпичных домов, больница, школа и административное здание с выгоревшим от солнца российским флагом, с несколькими по овалу небольшой площади магазинами, ларьками и прилавками для уличной торговли.

— Если ты забыл про подарок, то самое время его купить, — сказал Абдель, останавливаясь возле магазина.

— Подарок? На похороны?

— Зачем на похороны? Подарки нужны живым.

— Ты прав, сосед, — спохватился Сергей. — Надо обрадовать тётку чем-нибудь сладеньким.

— Кто такая тётка? — заинтересовался Абдель. — Я не понимаю.

— Сестра моей матери, зовут её тётя Шура. Мои родители умерли, она теперь одна живёт в их доме. Своих детей у неё нет.

Магазин ничем не отличался от городских, и Сергей не поспешил: купил и хлеба, и сахара, и масла, и колбасу и любимые тёткой конфеты-подушечки с повидловой начинкой, а также кусок душистого мыла и пачку стирального порошка. Он знал, что в доме, хоть шаром покати, пусто. Тётка питалась хлебом и сладкой водой, изредка молоком, которым угощала её соседка, в магазине не бывала, но не из-за бедности, она получала пенсию, однако её почти не тратила, а складывала в большой самодельный сундук, который запирала на висячий замок, и ключ от него носила, повесив на толстый шпагат на шею.

— Ну вот — я и приехал, — сказал Сергей, когда машина поравнялась с бревенчатой избой, перед которой был палисадник с буйно разросшейся малиной и тремя яблонями, и

от дороги к воротам вела узкая заросшая тропинка. Вид у домовладения был неуютный, заброшенный, но Сергею он таким не показался: здесь началась и прошла до поступления в институт его жизнь, которую он всегда вспоминал с сожалением и нежностью.

— Я в дом не пойду, — мельком взглянув на часы, сказал Абдель. — Мне надо ехать и сторожить квартиру, из которой меня выгнали, как собаку. Я не знаю, что я сделаю, но у меня другого выбора нет, как убить или себя, или её.

— Что такого страшного произошло? — попытался ободрить соседа Сергей. — Вот увидишь, приедешь, а она тебя ждёт — не дожждётся. Знаешь, как у нас говорят: стерпится — слюбится.

— Нет, не стерпится! — замотал головой Абдель. — Знаешь, что эта кобра, как ты её назвал, сказала?.. Она мне сказала, что я не мужик!

— Много ли чего говорится за жизнь? Всё проходит, и это пройдёт.

— Нет, не пройдёт, — в глазах Абделя блеснули слёзы. — Это — смерть, моя или её.

«Вот беда, — глядя вслед «фольксвагену», подумал Сергей. — Кажется, у нашего араба зашли шарики за ролики».

Скрипнув калиткой, он заглянул во двор. Тётка, склонившись, подметала голиком полусгнившие доски настила, и что-то бормотала себе под нос.

— Тётя Шура, встречай гостя! — Сергей поставил на крыльцо сумку с гостинцами. — Как живёшь — можешь? Как здоровье?

Тётка равнодушно глянула на племянника и пожаловалась:

— Собаки все грядки повитоптали. Ты бы пострелял их из ружья. А то ведь, не ровен час, загрызут. После войны такое бывало. Уйдёт человек, а найдут от него только половину ноги в валенках.

— Да неужто такое было? — удивился Сергей.

— Думаешь, вру? — обиделась тётка. — Я из ума выжила только наполовину: всё, что до перестройки этой окаянной было, помню, а сейчас спроси, что вчера делала, и не скажу. А тебя, по какому случаю сюда принесло?

— Тебя хотел увидеть, — уклонился от ответа Сергей. — Вот подарки кое-какие привёз.

— А у меня пусто в доме, — вздохнула тётка. — Сейчас никому нет веры. Вор на воре сидит и воров погоняет. Мне уже третий месяц пенсию не несут. Денег ни копейки...

За воротами слышались шаги, затем часто забрякало кольцо калитки.

— Акимовна, ты дома?

— А где мне быть, дома, дома...

Во двор, прихрамывая, вошла старуха с бидончиком в руке.

— Неси банку, Акимовна, я тебе парного молочка налью.

— Где её, банку, взять, — захныкала тётя Шура. — У меня ведь ничего нет.

— А на колышке, что висит? Али не видишь?

Сергей снял с колышка литровую банку и поставил на верхнюю ступеньку крыльца. Соседка наполнила её до краев молоком и закрыла бидончик крышкой.

— Тётя Поля, — сказал Сергей. — А вы, как живёте, какие новости?

— Я-то живу, хотя и зажились, а вот молодые мрут. Позавчера у Кулишкиных дочка скончалась. Да ты её, поди, знаешь, чай, вместе в школу ходили. Нинкой звали.

— Как померла? — оторопел Сергей.

— Все от одного и того же умирают, от смерти, — соседка перекрестилась. — А так, сказывают, у неё рак лёгких был.

У Сергея запершило в горле, на глаза навернулись слёзы, и он отвернулся. Полученное от Нины прощальное письмо, он не воспринял всерьёз, даже не раз подумал с усмешкой, что одноклассница блажит, хочет вовлечь его в какую-то игру, чтобы потом выставить на посмешище. Однако став свидетелем самоубийства графинчика, Сергей почти поверил, что с Ниной случилась беда, но в дороге опять начал подумывать о том, что стал жертвой глупой шутки, пока тёткина соседка не разуверила его в этом сообщении о скоропостижной смерти одноклассницы.

Тётя Шура тоже встряла в разговор:

— Какая Нина померла?

— Кулишких, у нас на задах живут.

— Вот беда отцу с матерью. Не дай бог, пережить родное дитя, — сказала тётка и тут же переключилась на своё. — Мне, Поля, три месяца пенсию не приносили. Совсем нет денег, не на что жить...

— Как не приносили? — всплеснула руками соседка. — Два дня назад при мне ты получила всё до копеечки с июньской добавкой.

— А мы сейчас узнаем, есть у тебя деньги или нет, — Сергей, протянув руку, снял с шеи тётки шпегат с ключом. — Пойдём, тетя Поля, пересчитаем её наличность комиссионно, чтобы соблюсти порядок, как при ревизии.

В доме, кроме одного окна, ставни никогда не открывались, и Сергей включил свет. Тётка жила на кухне, в горницу не заходила, на полу было пыльно, и от порога к сундуку отпечатались следы.

— Что мы имеем? — сказал Сергей. — А то, что кто-то недавно подходил к сундуку. Пройдём и мы.

Сундук был наполнен пожелтевшим постельным бельём и старой одеждой, поверх которой лежала вязаная женская сумка. Сергей удивился её тяжести.

— Да тут целый пуд казны!

Он положил её на стол и раскрыл. Сумка была под завязку наполнена мелочью, а сверху лежал пакет с бумажными деньгами.

— Золото с серебром считать не будем, бумажки пересчитаем. Сначала я, а потом, тётя Поля, ты.

Денег было у пенсионерки много: не меньше чем десять своих пенсий тётя Шура ухитрилась не истратить и прожить. Вид денег её не взволновал, она смотрела на свою казну тусклым взглядом, без всякой алчности, и то и дело напоминала:

— У меня ведь весь день во рту крошки не было. Да и гостя надо кормить.

— Что будем делать с этой богачкой? — сказал Сергей. — Она ведь себя голодом уморит. Может ты, тётя Поля, будешь ей молоко да хлеб приносить? Я заплачу вперёд.

— Ох, не люблю я с чужими деньгами связываться, — сказала соседка. — Ты, Серёжа, у неё единственный племянник, вот и распорядись сам. А я в стороне побуду.

— Хорошо, — Сергей покосился на тёткины деньги, вздохнул и, бросив сумку в сундук, запер крышку на замок. — Вот тебе, тётя Поля, из моих тысяча, пока на молоко хватит?

— Хватит, хватит! — соседка взяла деньги и сунула их в карман фартука.

— Я после вахты приеду сюда и окончательно всё решу. А теперь надо вас попотчевать сладеньким. Разбирайте сумку, а я пока пройду по соседям.

— Ступай, ступай, — сказала тётя Поля. — А я тем временем молодой картошки накопаю и тебя попотчую, с укропом и сметанкой.

- 5 -

По улице, подняв за собой клубы горячей пыли, проехал «МАЗ» с цистерной, в которой бултыхалось и расплескивалось через неплотно закрытую крышку молоко утренней дойки. Сергей подождал, пока рассеется пыль и переулком прошёл на зады, но не к дому Нины, а на берег старицы, которая осталась от проложившей себе новое русло Суры, успев краем глаза заметить, что возле подворья Кулишкиных стоят несколько легковушек и грузовик с наклонённым на кабину восьмиконечным крестом.

На топком берегу от воды тянуло прохладой, играла, плескаясь, рыба, которую побеспокоили, бросившие с лодки невод, мужики, время от времени напоминая пареньку, стоявшему по колено в воде, чтобы тот держал верёвку покрепче и не упустил снасть из рук.

— Курить не оставили, — отвечал паренёк. — А у меня уши опухли. Вот брошу верёвку и утоплю невод.

— Терпи, Витька! — крикнул из лодки мужик. — Я тебе бражки налью и своего самосаду насыплю. А пока стрельни у прохожего, что наверху стоит, если уж так невмоготу.

— Ты чей будешь? — сказал Сергей, подавая подростку сигарету, которую тот сразу умело засмолил.

— Мы — беженцы, из Таджикистана. А ты на похороны приехал?

— На похороны, — сказал Сергей. — Крепче держи верёвку, а то потеряешь.

— Не в первый раз невожу, — солидно произнёс паренёк. — Дай ещё пару сигарет.

— На этот осокорь, — сказал Сергей, отдавая сигареты, — я, бывало, пацаном лазил, чтобы заглянуть, что там наверху в гнезде, нам говорили, что его когда-то свили орлы.

— Заглядывал я в него, — небрежно проронил паренёк. — Нашёл две пустые бутылки из-под водки.

Громадный осокорь был почти наполовину мёртв, с ближней к реке стороны ствола и с веток отпала кора, они высохли, но другой частью своего могучего туловища дерево ещё жило, зеленели молодые побеги, шумела листва раскидистой кроны, в которой, как шалаш разбойников, пряталось старое орлиное гнездо. Сколько себя помнил Сергей, столько же он и помнил этот старый осокорь. Рядом с ним он купался в старице, укрывался под его ветками от непогоды и устраивал засаду против воображаемых врагов: поднимался, на сколько хватало духу по дереву вверх и, замирая от страха высоты, жадно всматривался во все стороны, обозревая границы доступного ему мира, ещё не догадываясь, что скоро они рухнут, и перед ним откроется бесконечность человеческой жизни, ничем не ограниченная, даже смертью, даль его бессмертной души.

Сергей схватился за толстый нижний сук, подтянулся, встал на него ногами и нашёл вырезанное крупными и неровными буквами имя одноклассницы: «Нина».

Нет, это вырезал не он, а Генка Полев, который заглядывался на Нину Кулишкину с первого класса, не одни подошвы истёр, следуя за ней буквально по пятам, но она была к нему равнодушна. После школы, перед армией, Генка засылал к Кулишкиным сватов, но без малейшего успеха. С тем он и ушёл в армию и сгинул без вести в Чечне, не найдя на земле ни покоя и ни счастья.

Возле дома Кулишкиных стали собираться люди, и Сергей, испытывая самые противоречивые чувства, подошёл к открытым настежь воротам, через которые и направился к тесовому навесу, где на двух табуретках стоял оббитый крепом гроб, и на скамьях возле него сидели близкие родственники покойной Нины.

«Надо бы перекреститься» — подумал Сергей и пошевелил рукой, но она вдруг отяжелела и отказалась ему подчиниться. Мать Нины посмотрела в его сторону, и Сергею удалось глянуть мимо её воспалённых глаз и, сжав зубы, повернуться к гробу.

Покойная Нина ошеломила его своим видом: она лежала в гробу, как живая, на её лице не было даже намёка на присутствие смерти, и была одета в белое подвенечное платье, на ногах были лакированные туфли, голова, покоившаяся на кружевной подушке, покрыта прозрачной фатой, и на безымянном пальце правой руки отсвечивало золотое обручальное кольцо.

Он только хотел развернуться и отойти в сторону, как почувствовал обращенные на него требовательные взгляды Нининой родни. От него ждали, чтобы он проявил свою причастность к происходящему более явным образом, чем присутствие. Сергей переступил с ноги на ногу и, поборов внутреннее сопротивление, поцеловал ледяной лоб покойницы и перекрестился.

— Присядь, Серёженька, посиди с ней на прощание рядышком, как в школе за одной партой сживал, — сказала Нинина мама. Глаза у неё были сухи, взгляд строг и придирчив.

Сергей послушно опустился на скамью и вдруг, совершенно неожиданно для всех громко всхлипнул и заплакал, размазывая по щекам крупные слёзы. Кто-то вложил в его руку носовой платок, он утёр лицо и прислушался. Ему показалось, что за спиной шепчутся и даже похихикивают по поводу проявленной им слабости. Он повернул голову и понял, что ошибся: пьяненький мужик забрёл на похороны с явным намерением остограммиться, и теперь искал к чему бы прислониться, чтобы не свалиться с ног посреди двора. Но ему не дал этого сделать молодой здоровый парень, который подхватил алкаша за шиворот грязного пиджака и вытолкал на улицу.

Двор наполнялся людьми, гроб с покойной окружили приехавшие из города родственники, Сергей воспользовался этим, встал со скамьи и, ни на кого не глядя, отошел в сторону.

Случившийся с ним нервный припадок прошёл и оставил в душе опустошенность. Недавно пролитые слёзы уже казались ему блажью слабонервного хлюпика. «Я не Нину жалел и оплакивал, а себя, — вынес он нелицеприятную оценку своей несдержанности. — Хорошо, что я знаю это один, а другие восприняли моё невольное притворство как искреннее горе и сочувствие несчастным родителям».

Кто-то робко коснулся его плеча, Сергей повернул голову и встретился взглядом со своей учительницей в начальных классах школы.

— Какое горе, — прошептала она. — За этот год уже с третьей своей девочкой прихожу прощаться.

— А вы как, Лидия Александровна, поживаете? Как здоровье?

— Жива, как видишь. Но зачем молодые мрут?

Сергей сочувственно вздохнул и промолчал.

— А я знаю почему, — промокнув платочком слёзы, сказала учительница. — Это мы, старики, виноваты, а педагоги больше всех.

— В чём же вы виноваты? — удивился Сергей.

— В том, что учили вас только добру, вежливой уступчивости друг другу, внушали, что превыше всего в мире — правда, совесть, честь, благородство в поступках, словом, учили быть людьми. А сегодняшняя жизнь устроена для нелюдей. Революция в семнадцатом загнала их в подполье, но не вывела подчистую, вот они там и отсиделись, а теперь повылезали. Или ты со мной не согласен?.. Кстати, как ты сам-то, Серёжа? Ты вроде собирался защитить кандидатскую?

Вопрос учительницы Сергея смутил, ему не хотелось признаваться, что его жизнь пошла совсем по-другому, чем он задумывал, но Лидия Александровна поняла его состояние и спросила о семье.

— У меня дочурка, жена с ней сидит, а я езжу в Москву, на вахту.

— Вот и правильно делаешь. Достаток в семье — первое дело, а история... Сейчас она нужна тем, кто хочет над ней поизгаляться.

— С кандидатской я сам крепко промахнулся, — признался Сергей. — Взял Бухарина, а тут столько про него всякого открылось, что он мне сразу разонравился.

Возле гроба с покойной началась обычная суета: четверо мужиков взяли его на полотенца, за ними пристроились родные, и скорбная процессия двинулась к воротам, рядом с которыми стоял, с распахнутыми бортами кузова, старенький «газон». Лидия Александровна поспешила пристроиться поближе к гробу, который возле машины поставили на две табуретки, затем взяли на руки и погрузили в кузов.

«Неужели, кроме меня, из нашего класса никого нет? — оглядывая собравшихся, подумал Сергей. — Наверно, все поразъехались».

— Ну как, заводить? — сказал шофер, встав на подножку кабины.

И вдруг совершенно неожиданно раздалась похоронная музыка. Но заиграл не обычный на похоронах духовой оркестр, а высокий с испытанным лицом мужик на немецком аккордеоне. Похоронный марш, в столь необычном исполнении, внёс в торжество смерти свою более убедительную окраску, чем привычное русскому уху дребезжание и уханье оркестровой меди. В аккордеоне было больше душевности и, затрагивающей самые сокровенные человеческие чувства, интимности. Он исторгал сочувствие к постигшему близких и родных умершего человека несчастьем, и в нём напрочь отсутствовало самодовольное оркестровое звучание непоколебимого торжества смерти, отчего похороны лишались пугающей человека безнадёжности бытия, которое охватывает каждого из нас при виде отверстой для погребения могилы.

Музыка поторопила мужиков, они закрыли борта «газона», в кузове которого, кроме гроба, поместился крест, венки, с десяток лопат и табуретки. Мотор пыхнул вонючим дымком, и процессия тронулась по переулку между огородов на кладбище. Сергей, не обнаружив одноклассников, пошёл вместе со всеми,

не понимая, зачем всё-таки он ни свет, ни заря сбежал из дому, примчался в деревню, и явился на похороны почти забытой им девчонки, с которой учился в одном классе, и если бы не стеклянный графинчик, то забыл бы уже давно и бесповоротно.

От странного для похорон настроения ему помог избавиться аккордеонист, который вновь заиграл траурный марш, и Сергей почувствовал, что у него к глазам неудержимо подступают слёзы, и в уме вертится недоуменный вопрос: «Неужели и в моём календаре есть день и час, когда меня понесут на кладбище, я не смогу избежать этого ни при каких обстоятельствах?»

Между огородами и кладбищем было небольшое поле, заросшее буйно цветущим разнотравьем, вот траурное рыдание аккордеона оборвалось и стало слышным для всех согласованное попискивание, потрескивание, поскрипывание бесчисленных трудников, населяющих этот цветочно-травяной дом, над которым клубился зной июньского полдня. Сергей отмахнулся от пчёлы, но та и не думала от него отставать, зудела и кружила вокруг, пока не села на ворот рубахи, где захотела попользоваться его сладким потом, но он сильно хлопнул себя по загривку, и помятая пчёла ужалила своего обидчика в шею. Почувствовав сильное жжение, Сергей остановился и втянул голову в плечи.

— Наши пчёлы чужих не любят, — сказал кто-то.

— Разве он чужой? — учительница не оставила Сергея в беде. — Наклони голову, я гляну, что там такое.

Лидия Александровна, несмотря на возраст, была ещё достаточно остроглаза, чтобы увидеть и выцарапать застрявшее в коже пчелиное жало.

— Вот и бесплатно пчелиным ядом полечился, — улыбнулся Сергей. — Кажется, пчела меня ужалила первый раз в жизни.

На краю кладбища грузовик остановился неподалёку от выкопанной могилы, с него сняли гроб, поставили на табуретки, аккордеонист заиграл полонез Огинского, и началось последнее прощание с покойной. Сергей, чтобы не подходить к гробу, спрятался за спины мужиков, закурил, но мать Нины высмотрела его и там, и так пристально на него глянула, что он,

бросив сигарету, поспешил к гробу, зажмурившись, прикоснулся губами к обручальному кольцу и отошёл от могилы.

«Пора смыться, — затягиваясь сигаретным дымом, подумал Сергей. — Поминки я не вынесу. Они ещё не определили меня в женихи к покойной, но, кажется, уже близки к этому».

Он выглянул из-за машины. Похороны завершались, несколько мужиков заваливали могилу глиной, а остальные кучковались возле Нининой матери. Сергей, пригнув голову, добежал до кустов и, прячась за ними, покинул кладбище.

- 6 -

— Ты что-то скоро вернулся? — удивилась тётя Поля. — Не погулялось?

— Голова закружилась, — пробормотал Сергей первое, что пришло ему на ум. — Как автобусы ходят в город, часто?

— Кто их знает, — сказала соседка. — По правде говоря, я автобусов давно не видела, а бегают, толи от нас, толи мимо нас, маршрутки. Этого добра на шоссе полно. Недавно мою соседку сшибли, когда та вздумала перейти дорогу.

— Кого, говоришь, сшибли? — оживилась тётя Шура.

— Гоношиловых бабушку. И что её понесло за шоссе, ума не приложу.

— Как что, судьба! — сказал Сергей. — Я сейчас посмотрелся, как она нашим братом, людьми, распоряжается.

— И как же? — заинтересовалась тётя Поля.

— А вот так! — Сергей взял из поленицы полено. — Как ты этим поленом: схватишь первое попавшееся, сунешь в печку, оно там пыхнет разок, другой и выплеснется в печную трубу дымом.

— Я никакой — такой судьбы не знаю, и ведать не ведаю. А для Бога человек вовсе не полено, как ты говоришь, наш Бог людей жалеет, они для него не поленья, а дети, без Бога мы все стали бы сиротами.

Сергей хотел ей возразить, но не нашёлся, чем ответить.

— Уже полдня прошло, а у меня во рту маковой росинки не побывало, — пожаловалась тётя Шура. — Вы, наверно, оба сюда явились, чтобы заморить меня голодом.

— Прямо беда с тобой! — всплеснула руками тётя Поля. — Часу не прошло, как ты угостилась литром молока и краюшкой хлеба.

— Погоди, погоди! Куда годить-то? — заворочалась на скамейке тётя Шура. — Мочи нет годить. Из дома так и прёт курятиной. Что её кипятить зря, разварится в кисель.

— Я её только что в кастрюлю положила, — сказала тётя Поля. — Возьми конфетку, пососи, голод и отступит. Он, негодник, совсем тебя измаял. И всё это от того, что ешь по-разбойничьи.

— Как это по-разбойничьи? — рассмеялся Сергей. — Из чугунного котла, или с ножа?

— Они ели один раз в день, обычно вечером, набивали брюхо, пока трескаться не начнёт, а твоя тётя ест не каждый день, и не потому, что есть нечего, а стала забывать про это занятие. Сейчас вот спохватилась, курятину почуяла. Погоди, Акимовна, пусть, хоть чуток, поварится.

— Что же вы не угостились тем, что я купил? — спросил Сергей.

— Как же, угостились, и сыром, и колбаской, но, как видишь, память у нас стала девичьей на старости лет.

Тётя Шура заметно разволновалась, встала на ноги и сердито сказала:

— Вы меня одними обещанками кормите! А я курятину хочу!

— У вас тут обиды начались, — заторопился Сергей. — А мне надо домой. Тётя Шура, не хулигань тут, а я на неделе приеду и постараюсь уладить твои дела.

Тётка, молча, смотрела мимо него, в какую-то только ей одной ведомую бесконечность, и он почувствовал, как на него дохнуло тем же мраком и холодом, что и на кладбище.

«Ну и денёк! — подумал он, выйдя за ворота, из-за которых опять раздалось ворчливое брюзжание тётки, жалующейся на голод. — Не дай Бог, дожить до такого маразма».

Улица была пуста, знойный полдень заставил всех спрятаться в тень, но не он один был причиной безлюдья. Почти каждый второй или третий дом стоял заколоченным. Консервзавод резко сократил производство, и многие уехали из посёлка совсем в более хлебные и добычливые места, а здесь остались пенсионеры и те, кто не решился сдвинуться с места.

«Мне грех жаловаться на жизнь, — невесело думал Сергей. — У меня есть квартира, пусть она не моя, а досталась нам с Дашей от её родителей, но её нам хватит на всю жизнь, да ещё дочери останется. Успел я и образование получить. Вот ещё годок, другой, поезжу на вахту, а там подыщу себе работу в городе, конечно, не учителем, но я пока ещё молод, с высшим образованием. Почему бы и не найтись для меня где-нибудь местечку возле власти? Конечно, для этого надо в партию вступить. А что? Пойду завтра и вступлю в «Единую Россию».

На остановке возле магазина было всего несколько человек. Сергей от нечего делать занялся разглядыванием двух местных барышень, которые отчаянно кокетничали с джигитами, подъехавшими к ним на иномарке. Поломавшись, аборигенки сели в машину и направились, наверно, на шашлыки.

«Рискованные ребята, — подумал Сергей. — Эти дамы могут наградить таким букетом, что они будут всю жизнь работать на лекарства и проклинать негостеприимную Россию».

Вскоре возле остановки затормозила «Газель», Сергей сел рядом с водителем и вполне благополучно добрался до города, а затем на трамвае и до своего дома. Было жарко, он заглянул в магазин, купил три бутылки пива, и, попивая из горлышка прохладную пенистую жидкость, подошёл к своему подъезду.

Железная дверь хлопнула, и на крыльце показался Абдель. Он был блее мела и трясся, как в лихорадке.

— А я, как видишь, приехал, — сказал Сергей. — Бери пиво, охладись.

Но араб прошёл мимо него к машине, открыл багажник, достал оттуда канистру и явно намерился облить себя бензином.

— Эй, Абдель, ты что делаешь?

— Я ей отомщу! — в безысходной тоске свистящим шёпотом выдохнул араб, и в руке у него вспыхнула зажигалка.

— Абдель! Не делай этого. Она не стоит тебя, — Сергей начал приближаться к нему, чтобы помешать совершиться самоубийству.

— Не подходи! — взвизгнул Абдель и, опрокинув на себя канистру, взорвался огненным шаром, рухнул на землю, и воя от нестерпимой боли, забился в корчах.

Хлопнула входная железная дверь подъезда, и это подтолкнуло Сергея к действию. Он оглянулся и увидел, что на крыльце стоит Лена, сожительница араба, и держит в одной руке чемодан, а в другой — мужское кожаное пальто. Сергей подскочил к ней, вырвал кожан и, подбежав к похожему на пылающую головню Абделя, накинуд на него широкое пальто и, не обращая внимания на свои ожоги, сбил с пострадавшего пламя. Абдель был жив, но его лицо превратилось в сплошную рану, Сергей оглянулся: на крыльце стоял чемодан, и никого рядом с ним не было. Он поднял голову и закричал, что есть силы, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь.

— Что случилось? — раздалось вразнобой из нескольких распахнутых окон.

— Абдель облил себя бензином и поджёгся зажигалкой!

Сергей с недоумением смотрел на лежавшее перед ним кожаное пальто, из-под которого выглядывали голова и ноги искалеченного огнём соседа, и никак не мог поверить, что всё это произошло на его глазах. В какие-то считанные секунды живой человек превратился в сноп пламени, а затем — в пышущую жаром головёшку.

— Этого не может быть, — произнёс он, наклоняясь над пострадавшим.

В ответ он услышал булькающий хрип, Абдель сбросил с себя кожан, начал подниматься на колени, но силы его оставили, и он рухнул на раскалённый огнём и солнцем уличный асфальт.

Сергей, едва сдержал слёзы и отвернулся. Весть о самосожжении араба уже разнеслась по всему дому, и почти из каждого окна выглядывали люди, обсуждая случившееся.

— А где евоная баба? — сказал дед Костя, явившийся вместе с другими игроками в картёжного «козла» поглазеть на араба. — Вот беда! А я хотел перехватить у него сотню, другую...

— Говорил тебе, старый, чтобы шёл, — буркнул Толян. — А ты заладил, что успеется. Вот и не успели.

— Пошли к столу, — поторопил их Павел. — Сейчас Рамиль пиво притащит.

Компания, не оглядываясь, отправилась во двор, чтобы продолжить мять и мусорить грязные карты, лакать из одного на всех стакана водку и пиво. Никому не хотелось долго находиться рядом с местом, где только что побывала смерть. Прохожие мельком глядели на обгоревшего человека, и шли по своим делам, обитатели квартир отлипли от подоконников и балконов и вернулись к просмотру телесериала, а к подъезду подъехала «скорая помощь».

— Вот это клиент! — сказал врач, осмотрев Абделя. — Милицию вызвали? Вот, кстати, и милиция легка на помине.

Помятый милицейский узик остановился рядом с ними.

— Что, готов? — капитан приоткрыл дверцу.

— Не повезло тебе, Акимов, — жив. Вот и свидетель, — сказал врач и направился к «санитарке».

Домой Сергей попал только поздно вечером. Его сначала допросили на месте происшествия, затем увезли в милицию, где часа два продержали в тесном и душном коридоре, пока капитан наконец не допросил его по всей форме и отпустил на все четыре стороны, спросив, где он будет в ближайшие дни.

— Дома, — ответил измученный и злой, как бобик, свидетель. — А потом уеду на вахту в Москву.

Сумка с двумя бутылками пива была у него в руках и, выйдя из райотдела, Сергей спрятался в кустах и с наслаждением осушил одну и, сыто отрыгнув, потопал на остановку, где в ожидании автобуса приложился к последней бутылке, но был крепко схвачен за руку дюжим ментом, который поволок его в райотдел.

— Я только что там был, — пискнул Сергей.

— Я тебя не задержу, — съехидничал мент. — Заплатишь штраф — и гуляй, Вася!

На крыльце Сергей нос к носу столкнулся с капитаном, который его только что допрашивал.

— Ты за что его прихватил? — поинтересовался он у патрульного.

— Жрал пиво на остановке.

— Это мой человек, — объявил капитан. — Я его забираю. Ты не против?

— Как не помочь? — удивился мент. — Берите, если ваш.

Ментовские тиски ослабли, и Сергей поспешил за капитаном, чтобы его поблагодарить, но тот отмахнулся от него, как от комара, сел в уазик и уехал.

От недавней трагедии, случившейся возле подъезда, не осталось и следов. Сергей остановился рядом с тем местом, где сгорел Абдель, и закурил. С Волги набежал лёгкий ветерок, расшевелил листья рябинок, и они едва слышно зашелестели, будто зашептались между собой о чём-то только им одним ведомом и сокровенном.

«Может быть, они сейчас переговариваются о несчастном арабе, который пытался наложить на себя руки, сожалеют и сочувствуют его горю, которое толкнуло его на самоубийство»

На небе прорезалось мусульманское солнышко — молодой месяц, и рядом с ним алмазно запоблескивала крохотная звёздочка, Сергей закурил, присел на ступеньку и пожалел уже не араба, а себя, что и ему когда-нибудь придется испытать то, что не избежать никому. «Надо не впадать в отчаянье, как бы худо тебе не было, — подумал Сергей. — Абдель пострадал не из-за любви или ревности, а потому что отчаянье ослепило его душу и разум. Это может случиться с каждым».

Сергей задумался и не заметил, как к нему подошли Дарья и Галочка.

— Мы в гостях у дяди Вити и тёти Наташи были, — защebetала дочка. — Ходили на Волгу купаться, катались на «омике».

— Стало быть, вы не знаете, что здесь случилось? — спросил Сергей.

— Не знаю, а что? — удивлённо глянула на него Дарья.

Сергей, чтобы не пугать Галочку, отвёл жену в сторону и шёпотом рассказал про Абделя.

— Какой ужас! — воскликнула Дарья. — Чужало моё сердце, что добром это между ними не кончится.

— Что — это?

— Страсти — мордасти. Не надо было ему перед ней так унижаться.

— Как унижаться? — не понял Сергей.

— А так, — вздохнула Дарья. — Мы этого никогда не поймём, и, слава богу. Но где ты так долго был?

— Вляпался в свидетели. Увезли в милицию, еле вырвался. А что ты меня про мою поездку не спрашиваешь?

Дарья замедлилась с ответом, пока они не зашли в квартиру.

— Я и не предполагала, что ты такой выдумщик.

Сергей понял, что жена подозревает его в нехорошем поступке и обидчиво произнёс:

— Думай, что хочешь. Но Нина Кулишкина скончалась, и сегодня её похоронили.

— Почему вы всё говорите про то, что я не знаю, — требовательно сказала Галочка. — Включите телевизор. Где мои спои — ноки?

— Давно закончились, доченька. Пойдём мыть руки и готовиться ко сну.

Сергей прошёл на кухню, включил чайник и устало опустился на диванчик. «Ну и денёк! — тяжело вздохнул он. — Вроде ничего не делал, а устал будто десять кубов бетона перелопатил вручную».

Тёмная сила

- 1 -

Электрик Ронжин прожил две трети из своей предпенсионной жизни точно так же, как её проживают все необременённые высшим образованием русские мужики, не торопясь, не задумываясь, не обижаясь на судьбу, что она определила ему своё счастье жить на краю областного города в рубленой избе, и

вот уже два десятка лет вкручивать лампочки и чинить электропроводку всему околотку, получать за это зарплату в жилищно-коммунальной конторе. Бывали у него, и не так уж и редко, шабашки, но эти деньги он жене не отдавал, тратил, в основном, на выпивку, к которой приохотился незаметно для себя самого. Правда, водка ещё не взяла над ним верх, и они существовали как бы на равных: то она вдруг без всякого повода понесёт его к магазину, то сам он среди застолья вдруг возьмёт и заартачится — не буду пить и баста!

— Как не будешь, Лёха! — начинали шуметь мужики. — Ты деньгами, как и все, вложился, а теперь как? Отливать тебе твою долю от общей бутылки?.. Нет уж, ты не дури, пей свои сто пятьдесят — и катись на все четыре стороны!

— Другой раз больше плеснёте. Меня нынче дома ждут.

— Нет, другого раза не будет, — настаивали собутыльники, но Ронжин, не оглядываясь, покидал компанию, чем вводил, кого в недоумение, а кого в радость, оставленной водкой.

Проходил день, другой, иногда и неделя, и Ронжин не брал в рот ни капли, а потом наступали дни, когда он вечером без бутылки домой не являлся, ставил её на обеденный стол и говорил тревожно поглядывающей на него супруге.

— Сооруди-ка, Мария Кузьминична, на закусочку что-нибудь существенное...

— Борщ на плите, там же котлеты, вермишель, — отвечала жена и уходила в свою комнату, где сразу начинала кашлять и стонать. Она уже пятый год маялась от затяжной простуды, доктора то находили у неё легочное заболевание, то оно вдруг само собой рассасывалось, но от этого ей легче не становилось. Одышка и слабость в ногах заставили её расстаться с живностью, а Ронжины держали и коз, и свиней, как, впрочем, и все, кто жил на их улице, которая заканчивалась заболоченным лугом, поросшим осокой, камышом и мелким кустарником.

Вот и сегодня, выпив стаканчик водки, Ронжин до пота хлебал горячий и густой борщ, затем, выпив ещё стаканчик, спросил супругу:

— Кроли ещё не все передохли?

— Кто их знает? — сказала Мария из своей комнаты. — Я из дома не выходила. Сил никаких нет. Еле-еле смогла картошки для борща начистить.

— Ладно, я пойду, гляну, — он поднялся со стула и заглянул к жене. — Тебе что-нибудь надо?

Мария подняла на мужа измученный взгляд.

— Присядь рядышком, Лешёнька. В обед я прикорнула и сон видела, что постучался к нам старичок. Я вышла на крыльцо, а он говорит: «Хвораешь, доченька?» — «Хвораю, да так, что сил моих нет!» — «А я за тем и пришёл, чтобы помочь твоему горю». Я говорю: «Не руки же мне на себя накладывать?» «Зачем, — говорит старичок, — как только тебе муж скажет, чтоб ты умерла, так и будет».

— Ты часом не чокнулась? — хмыкнул Ронжин.

— Я и сама в этот сон не верю, — тихо сказала Мария. — Но вдруг это правда?

— Что, правда? — не понял Ронжин.

— То, что ты одним словом сможешь избавить меня от мук, — горько вымолвила Мария. — Ведь сил у меня нет дальше болеть. Болею, болею, а конца-то нет... Чем это я богу не угодила, что он меня не берёт к себе?

Жалко стало до слёз Ронжину свою Марию, он сглотнул сухой комок в горле, смахнул с глаз слезинки, взял её руку и прижал к своим губам.

— Не горюй, ты не одна, — прошептал он. — А чему быть — того не миновать.

— Так-то оно так, — вздохнула Мария. — Только больной — здоровому плохой товарищ и никудышный помощник. Ты лучше скажи мне это слово. Сразу и я отмучаюсь и ты.

Ронжин резко встал и, молча, вышел из дома. Сел на крыльцо, закурил и задумался. Затем достал из кармана мобильник и позвонил дочери. Он хотел поделиться с ней тем, что услышал от Марии, но пока шли сигналы вызова, передумал. Дочь была на шестом месяце беременности вторым ребёнком, и её не стоило беспокоить выдумками больной матери. Поэтому спросил первое, что пришло на ум:

— Как вы там?

— Как всегда. Вася патрулём ушёл по гарнизону, Олежка спит, а я постирушками занялась. А как ты, как мама?

— Пока живы...

Выключив мобильник, Ронжин подумал, что пора опорожнить очередной стограммовый стаканчик водки и уже начал подниматься на ноги, как вдруг его ожгла мысль, что ведь он не далее, как несколько дней назад на этом же самом месте произнёс те слова, которые его только сейчас со слезами на глазах умоляла сказать Мария. Сказал, правда, наедине с самим собой, не прошептал даже, а в уме, но ведь сказал. И пусть никто их не слышал, но он-то об этом знает. Но если знает человек, то об этом неизбежно знает и Бог.

«Чёрт меня дёрнул за язык, — сокрушался Ронжин. — Делов-то, кипяточку плеснула случайно на штаны, а как я взбеленился и выматерился и, выбежав на крыльцо, пожелал ей поскорее загнуться. А Марии сегодня сон как раз подоспел, хотя говорят, что сон в руку до обеда, а она после обеда заснула».

Он встал с крыльца и прошёлся по двору, пытаясь отвлечься от дурных мыслей каким-нибудь делом. Дом был старым, но ещё крепким. Дед срубил его после гражданской войны в родной деревне, где он простоял до конца пятидесятих годов, когда отец, устав маяться с молодой женой в заводском бараке, раскатал его на брёвна и собрал на трёх сотках земли, которые ему выделили под домовладение на окраине города.

За последующие полвека своего стояния дом оброс всякими постройками — сараем для дров и угля, хлевом, где держали корову, курятником, голубятней, баней и «царским местом», куда хозяева не заглядывали, потому что все удобства со временем были устроены в доме: и ванная с душем, и туалет, и водяное отопление. Дворовые постройки были сколочены из досок и жердей и сильно обветшали, а кое-где и насквозь прогнили, но Ронжин почему-то не сносил их, хотя надобности в них не было. Несколько кроликов содержались в бывшем дровяном сарае, и хозяин сам присматривал за ними.

Мысль о том, что слово проклятия всё-таки было им произнесено, поразила Ронжина, и он на какое-то время даже забыл по дороге к крольчатнику, куда направился.

«Как же я это так?» — с недоумением вопрошал он, то глядя в небо, покрытое непроглядной облачной мглой, то упершись взглядом в землю. Ответ на вопрос являлся довольно скоро и без всякой подсказки со стороны.

«Я ведь пожелал худа до того, как ей приснился этот проклятый старикашка! — обрадовался он. — Значит, всё, что было до его слов, не имеет силы».

На радостях он хотел остограмниться, почти шагнул на крыльцо, но удержал ногу и мысленно пообещал себе, что никогда не произнесёт этого слова — ни во хмелю, ни в трезвости. И в этой клятве не было вранья. Ронжин любил свою Машеньку, но избегал признаваться в этом и ей, и самому себе даже в молодости, когда им случалось сходиться для сладкой потехи. В последние годы из-за болезни жены, это было всё реже и реже, а пару лет назад Ронжин и вовсе переселился из спальни в другую комнату, чтобы поставить на этом вопросе супружеской жизни окончательную точку.

Однако повелевают своей натурой только монахи и то не все, а Ронжин был вполне здоровым мужиком, едва переступившим за своё сорокапятилетие, который не гнушался ни горьким, ни сладким. Только где этого сладкого взять, чтобы не попасть впросак перед супругой, которая, нет-нет, да и поглядывала на него испытующим взглядом и со слезой в голосе вопрошала:

— С кем это ты, Лёшенька, вчера припозднился?

— Как где, на шабашке был. Проводку на даче ставил с Серёжкой. А ты что подумала?

— Тут и думать нечего, — повздыхав, говорила Мария. — На шабашке был, а явился трезвый, как стёклышко.

— Я и сейчас с работы пришёл трезвый. Нет, ты говори, что у тебя на уме?

— Ничего у меня там нет, — начинала заливаться слезами Мария. — Дура я, дура!..

В ответ на бабий укор Ронжин уходил в крольчатник, включал свет, усаживался на табуретку и устраивал для успокоения нервов газетную читку вслух.

— Так, как там поживает госпожа Васильева, королева «Оборонсервиса»?..

Кролики прядали ушами, поблескивали раскосыми глазами и поначалу вели себя смирно. Однако выдержки хватало ненадолго, зверушки начинали возню, толкотню. Ронжин грозил им пальцем и укоризненно выговаривал:

— И не надоело вам шоркаться день и ночь? Вы не в Австралии. Это Россия. Вот выкину на мороз, так сразу поймёте, каково здесь жить и размножаться?

- 2 -

Потоптавшись возле крыльца, Ронжин прошёл в палисадник перед домом, раздвинул куст красной смородины и, сорвав несколько веточек с переспелыми ягодами, освежил пересохший рот сладковато-кислым соком. Хозяйским глазом оглядел фасад и подумал, что надо бы обновить покраской оконные наличники и рамы. Подумал и тут же забыл — в кармане тренькнул мобильник, но пока Ронжин его вынимал, умолк. Он глянул на определитель номера и хмыкнул: это давала о себе знать Лялечка, мол, позвони мне, как освободишься. Ронжин прошёл к северной глухой стене дома, воровато оглянулся по сторонам и нажал на клавишу вызова абонента.

— Хочешь, угадаю, где ты сейчас находишься? — пропела Лялечка.

— И где же?

— Смотришь, как и я по телевизору сериал? Угадала?

— Ем с куста смородину.

— Какая прелесть! — воскликнула Лялечка. — А у меня опять лампочка перегорела. Требуется электрик.

— Оформи, как положено, вызов в ЖЭУ, — жарко выдохнул Ронжин в трубку.

— Может, обойдёмся без формальностей, — хихикнула Лялечка. — У меня к тебе серьёзный разговор.

Ронжин выключил мобильник и усмехнулся. С Лялечкой не соскучишься, она, несмотря на свой сороковник, была всегда весела, игрива, и сумела свои отношения с ним сделать приятной для обоих, и ни к чему серьёзному не обязывающей

забавой. Ронжин, хотя и был знаком с ней более двух лет, никак не мог понять, когда она говорит правду, а когда прикалывается, и на все его попытки уличить её в выдумках отвечала, жеманно топыря губки:

— Ах, что мне делать, если я всегда права!

Однако Лялечка не была простушкой и о себе ничего не рассказывала. Ронжин про неё знал только то, что она была замужем, но по какой-то причине не родила. Кирпичный особняк достался ей от родителей, сумевших оставить своей дочери внушительное даже по современным меркам домовладение с садом и огородом, которые хозяйка содержала в порядке, используя наёмных работников, благо, что безработных в округе было полным-полно.

— Ах, что мне делать, если я так умна! — восклицала Лялечка всякий раз, когда ей удавалось облапошить в своём салоне оккультных услуг доверчивую клиентку.

Ронжина проницательная гадалка заполучила в свои сети не с помощью карт, присушки и других хитростей. Он достался ей даром. Сам пришёл, вопреки хамским повадкам сантехников надел поверх своей обуви бахилы и осведомился:

— Показывайте, где и что у вас не работает.

Лялечка восхищённо глядела на медицинскую обувку электрика, и в её обвешанной бигуди голове тренькнуло:

— Это он...

И, указав на перегоревшую лампочку, кинулась наводить марафет.

— Что я могу поделывать, если вижу любого мужчину насквозь, — сказала она зеркалу, подсушивая кудерушки феном. — Он явно не хам, весьма пригож, и руки у него чистые, и ногти подстрижены...

Ронжин, не догадываясь, что хозяйка производит ему ревизию, вкрутил новую лампочку, щёлкнул выключателем и осмотрелся в комнате. Она была довольно уютной: мягкий диван, круглый стол посередине пола на толстых вычурных ножках, в каждом углу по невысокому узкому шкафу и вдоль стены несколько стульев. Ронжин подошёл к столу и стал заинтересованно разглядывать довольно большой, размером с

волейбольный мяч, прозрачный, по-видимому, хрустальный шар, покоившийся на чёрной пирамиде-подставке. Лёгким касанием пальцев он привёл шар в движение, и тот из прозрачного вдруг стал молочного цвета, затем снова приобрёл прозрачность, по нему вспыхивая, пробежали крохотные огоньки, которые отразились на потолке и стенах.

— Извините, я нечаянно коснулся шара, — сказал Ронжин, заслышав шаги хозяйки.

— Что я могу поделать, если этот шар привлекает внимание мужчин больше, чем хозяйка, — прошептала Лялечка. — Но я должна вам сказать, что лампочки у меня перегорают одна за другой.

— Надо проверить проводку, — сказал Ронжин. — Но это не входит в обязанности дежурного электрика.

— Приходите вечером, часиков в восемь, и проверьте всё, что нужно, — томно произнесла Лялечка и взяла Ронжина за руку. — Вы такой большой и сильный.

Она положила свободную руку на шар и посмотрела ему в глаза.

— Что я могу поделать, если я так обаятельна? — произнесла Лялечка, и Ронжин почувствовал, что эта женщина необычайно притягательна и красива и даже чем-то ему душевно близка.

— Хорошо. Продолжим наш разговор вечером. Вы ведь молчун, я угадала?

Ронжин пожал плечами, подтверждая догадку хозяйки.

— Вот видите: просто сама не знаю, что мне делать, если я всегда права?

— А чем плохо быть всегда правой?.. — сказал Ронжин, направляясь к выходу.

На улице он обернулся, но никого не увидел, ни в окнах, ни на крыльце, и, не спеша, отправился домой, где его ждала хворая жена, раздумывая над тем, что с ним произошло. И, зайдя в калитку своего дома, вынужден был признать, что Лялечка его заинтересовала и манерой своего поведения, и простодушной откровенностью, и кое-чем ещё, что Ронжин намеревался изучить и оценить уже сегодняшним вечером.

Хотя Ронжин не имел опыта самовольных отлучек из дома, это у него получилось как бы само собой.

— Кстати, Маруся, один из наших электриков попросил его подменить на дежурстве с восьми и до полуночи. К нему гости понаехали...

— Возьми с собой что-нибудь перекусить, есть пирожки с ливером, свежие.

«То ли я делаю?.. — спросил себя Ронжин, глядя, как жена заворачивает пирожки в бумагу. — Одно утешает, что об этом она не узнает, хотя пора бы ей и сообразить, что природа своё требует. Взять тех же кроликов. Как-то крольчиха сдохла, так кроль от тоски и скуки всю клетку погрыз. На нас, людей, посмотреть в тот же телевизор — один бабах, да трах-перетрах...»

Приободрившись, Ронжин отправился натаптывать дорожку к дому Лялечки и очень быстро так поднаторел в этом деле, что мог дойти до него с закрытыми глазами и ни разу не споткнуться, в смысле, что ни разу даже не был заподозрен Марией в супружеской неверности, а тем более в ней уличён.

- 3 -

Словом, навадился Ронжин ходить к Лялечке, как кувшин по воду и, получив приглашение, оседлал велосипед, который только за тем и приобрел, чтобы поспешить к своей зазнобе, и скоро был возле знакомого дома, который, надо сказать, находился через три улицы. Перед тем, как войти, он тренькнул несколько раз велосипедным звонком, но хозяйка не выглянула в окошко, как бывало, и Ронжин своим ключом открыл высокую глухую калитку, вошёл во двор, прислонил велосипед к крыльцу и отворил входную дверь.

Иногда игривая не по годам Лялечка встречала его на пороге, чтобы броситься желанному гостю на шею, но веранда была пуста, и Ронжину вдруг почудилось, что кто-то мимо него прошёл и расшевелил воздух, оставив за собой ощутимый след. То, что кто-то здесь только что был, подтверждали и открытые

двери в сени и в комнаты. Ронжин оглянулся: дверь на веранду с крыльца, которую он только что плотно прикрыл, была полуоткрыта. И ему вдруг стало зябко от сквозняка, хлынувшего из дома на улицу, и почти неудержимо захотелось убежать отсюда и не возвращаться никогда. Скорее всего, он так бы и поступил, но вспомнил о Лялечке: может с ней что-то случилось.

Ронжин быстро вошёл в комнату и обомлел: Лялечка с закрытыми глазами лежала на диване и была мертвенно бледна. Он её окликнул, но ответа не дождался и, осторожно приблизившись к дивану, коснулся женского колена. По телу Лялечки пробежала дрожь, она дёрнулась и, открыв глаза, испуганно вскрикнула.

— Не надо так со мной играть, — обиженно произнёс Ронжин. — Я ведь и вправду решил, что тебе плохо.

— Что я могу поделать, если я, — начала в своей обычной манере Лялечка, но вдруг икнула и схватила его за руку. — Он ещё здесь?..

— Кого ты имеешь в виду? Здесь никого нет. Разве здесь кто-то был?..

Лялечка медленно поднялась с дивана и, ведя гостя за руку, обошла все комнаты, заглянула во все подсобки, даже в подпол.

— Вроде никого. Значит, он ушёл.

— Про кого ты говоришь?

Лялечка подошла к столу, схватила магический шар и поднесла его к глазам.

— Он умер, — трагическим шёпотом произнесла Лялечка.

— Кто умер? — Ронжин обнял плачущую женщину и усадил на диван. — Кто умер?..

— Мой шар, — всхлипнула Лялечка. — Он его умертвил.

— Нет, у меня, дорогая, от тебя голова кругом идёт, — начал сердиться Ронжин. — Я, пожалуй, отчаю. Меня кролики ждут, с ними и помолчать приятно. А у тебя что-то сегодня невесело. Говори, что с тобой случилось после того, как ты мне позвонила?

— Я звонила?.. Не помню, — Лялечка сжала ладонями виски.

— Я помню лишь то, что хотела тебе позвонить. Но вдруг мне

стало не по себе, я села на диван. Подняла голову и увидела старичка...

Ляля умолкла, а Ронжин, поражённый услышанным, вскричал:

— Что дальше было! Дальше!

— Он мне сказал, чтобы я перестала с тобой греховодничать... Брось, сказал, его, если живой хочешь быть... Я ему такое, говорит, горе приготовил, что мало не покажется...

— Значит, старичок приходил? — скривился Ронжин и, поднявшись, подошёл к окну.

— А ты что, его знаешь? — воскликнула Лялечка.

— По-моему, знать такое — это по твоей части. Я работяга, электрик, на меня в ЖЭУ за этот год, да и за прошлый, ни одной жалобы не было, а тут такой наезд. И что это за старикашка в нашем районе объявился? Моей жене он тоже являлся.

— Это тёмная сила, — прошептала Лялечка. — И ты её ко мне привёл.

— Может не надо ля-ля?.. — вспыхнул Ронжин. — Тёмная сила!.. Я знаю одну силу — силу электричества. А всё остальное, извини, бабий треп.

Ронжин вышел из комнаты, но скоро вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками.

— Ничего, что я похозяйничал? — развязно сказал он, откупоривая зубами бутылку. — Сейчас мы всю тёмную силу разгоним, а мало покажется — ещё нальём. Правда, Лялечка?

Она попыталась улыбнуться, но только смогла сморщить губки, и взяла поданную ей рюмку подрагивающей рукой. Ронжин, наперекор чувству страха, который начал ощутимо познабливать ему нутро, напустил на себя веселость. Лихо опрокинул в рот одну, а за ней и другую рюмку водки, облапил и притиснул к себе подрагивающую Лялечку, и уже примеривался, как бы удобнее опрокинуть её на диван, как по железной крыше дома забарабанили капли дождя, в открытые форточки пахло грозовой свежестью, где-то совсем близко, совсем рядом с потяготливым треском начал гроыхать и грохотать гром и засверкали молнии.

Лялечка вырвалась из ослабнувших объятий Ронжина и, подбежав к книжным полкам, начала что-то искать, перекладывая книги, блокноты, журналы и декоративные безделушки.

— И что вы там ищите, мадам? — икнув, осведомился Ронжин, успевший выпить уже четвертую рюмку водки. — Наверно, что-нибудь особо ценное, что вполне мог спереть или стырить, впрочем, неважно, как это назвать, украсть, этот мерзкий старикашка.

— Господи, ну куда же она подевалась! — воскликнула Лялечка и уронила на пол стопку книг. — Наконец-то!

Она опустила на колени, что-то взяла в руки, прижала к губам и, закрыв глаза, начала взад-вперёд покачиваться.

Ронжин, освободив очередную рюмку от содержимого, подошёл к ней и с трудом разжал плотно сомкнутые руки женщины.

— И как тебя понимать? — сказал он, разглядывая совсем маленькую иконку с изображением Богородицы и младенца Иисуса. — Ты что, верующая?

Резкий удар грома потряс жилище. Он был такой силы, что рюмки на столе заприплясывали, и на полке книжного шкафа зазвонил будильник. Ронжин подошёл к нему, отключил и услышал, как Лялечка, что-то пробормотав, замолкла. Он повернулся к ней и увидел, что она стоит на коленях и едва сдерживается, чтобы не разрыдаться.

— Я не смогла перекреститься, — всхлипнула Лялечка. — Руку подняла, а куда опустить не знаю...

— Если не удалось помолиться, то, наверно, в самый раз согрешить, — дурашливо хохотнув, сказал Ронжин. — Прячься подо мной и забудь всё плохое.

Он распахнул руки и попытался обнять Лялечку, но она отбежала к дальней стене и крикнула:

— Уходи! Я не могу и не хочу тебя видеть!

— Как уходи? — опешил Ронжин. — Ты что, меня выгоняешь?

— Уходи! И забудь сюда дорогу.

Ронжин не обиделся, по строгому счёту Лялечка его забавляла, но душу не затрагивала. Сегодня она была не в себе и могла устроить скандал, и это его испугало.

Он с сожалением глянул на оставшуюся водку, шагнул к столу и опорожнил досуха бутылку из горлышка.

— Счастливо оставаться, мадам!

Он сделал два шага и остановился, надеясь, что она его окликнет, но этого не случилось, Лялечка была так удручена случившимся, что ничего не видела и не слышала. Ронжин сделал ещё шаг и в этот миг из окна ему ударил в глаза луч солнца. Стало тихо, и откуда-то с улицы донёсся жалобно-требовательный плач котёнка.

— Ну, я пошёл! — произнёс он внезапно осевшим голосом и толкнул дверь, хотя покидать жилище ему совсем расхотелось.

Дверь на веранду оказалась входом в почти непроницаемую темноту. Грозовые тучи опять налезли друг на друга, ливень хлынул с прежней силой, в небе с треском ломались молнии и оглушительно загрохотал гром. Открыв дверь на крыльцо, Ронжин увидел на нём освещённого молниевой вспышкой мокрого чёрного котёнка, который зашипел и, выгнув спину дугой, пошёл ему навстречу.

— Ах ты, гад, — пробормотал Ронжин и попытался обойти его стороной, но котёнок, зашипев, прыгнул, вцепился ему в штанину и, вонзая когти в тело, полез по человеку наверх. Это было неожиданно и потому очень страшно. Ронжин схватил котёнка, отодрал его от одежды и отбросил в сторону. У него мелькнула мысль вернуться в дом, но он усилием воли подавил приступ слабодушия и сбежал с крыльца, где на него обрушились почти непроходимые потоки ливня.

Вытащив за калитку велосипед, он взгромоздился на него, поставил ногу на педаль и ужаснулся: чёрный котёнок был рядом и готовился опять вцепиться ему в штанину. Ронжин, толкая велосипед перед собой, выбежал на почти сплошь покрытый потоками воды уличный асфальт, забросил ногу через сиденье, что есть силы, надавил на педали и помчался по улице, рискуя каждый миг упасть наземь и расшибиться.

Дальше переднего колеса велосипеда ничего не было видно. Вода лила, как из ведра, сверху, летела из-под колёс снизу. Вспышки молний временами освещали улицу, и Ронжин пристально вглядывался вперёд, чтобы не пропустить поворот на свою улицу. Своего преследователя он не видел, но тот был рядом, и стоило только чуть притормозить, как котёнок давал о себе знать шипением и противным плачущим криком.

Повернув на свою улицу, Ронжин попал в ещё большую темноту из-за высоких и густых тополей, которые, намокнув, с порывами ветра обрушивали на него добавочные к ливню потоки воды. До дома оставалось не больше сотни метров, это Ронжин понял по тому, что асфальт закончился, дальше шла насыпная, глина и щебень, времянка. Велосипед забуксовал и он, сойдя с дороги на тропку, покатил его, ругая себя за то, что не остался у Лялочки: лежал бы сейчас на чистых простынях, так нет попёрся спяну в грозу и ливень. Однако вполне здравые рассуждения вмиг испарились, когда Ронжин увидел впереди себя взъерошенное и мокрое существо, которое, посверкивая глазами и оскалив клыки, приближалось из зарослей акаций. По виду это был всё тот же котёнок, только он стал много крупней, клыкастей и когтистей. В этот раз он не шипел, а двигался в полной уверенности, что от него некуда деться. Это понял и Ронжин и похолодел от ужаса. Его преследователь был от него не более чем в двух метрах и припал к земле, чтобы прыгнуть со всех четырёх лап, но человека спас заложенный в нём инстинкт самозащиты. Он швырнул велосипед на изготовившегося к нападению врага. Жалобно тренькнул велосипедный звонок, лапы зверя попали между колесными спицами и, он, почувствовав боль, заверещал и задёргался как в капкане.

Удар грома побудил Ронжина к действию, и он, не выбирая пути, рванул из всех сил напрямик через огородные заборы к своему дому. Ноги несли его сами, страх придавал ему силы, и забор своего огорода он преодолел одним махом, подбежал к крыльцу и, как подкошенный, рухнул наземь. Его сразило то, что возле двери его встретил всё тот же котёнок, правда, ставший вчетверо больше, чем тот, что явился в первый раз на ляличкином крыльце, но это был он. И последнее, что увидел

Ронжин перед тем, как в его глазах померк белый свет, и на него обрушилась гробовая тьма, были громадные когти, нависшие над ним, как вилы, и он завопил, пронзительно, истошно и безнадежно.

- 4 -

Хотя гром и ливень продолжали бесчинствовать над околотком, до Марии донеслись вопли подгулявшего мужа, и она, встав с кровати, вышла в коридор и включила наружный свет перед домом. Затем сунула ноги в галоши, открыла замок и, отшатнувшись, перекрестилась: на лежавшем лицом кверху муже сидел котёнок, который, увидев хозяйку, жалобно замыкал и юркнул под крыльцо.

Озябший под проливным дождём Ронжин зашевелился, привстал на четвереньках и попытался залезть на крыльцо. Наконец, с помощью жены он преодолел ступеньки и разлёгся на досках, положив голову на порожек сеней.

— Вставай, — сказала, всхлипнув, Мария. — Ведь простынешь, на тебе нитки сухой нет.

Ронжин открыл глаза, не узнавая, глянул на жену и стал подниматься на ноги.

— Давай я тебе помогу, Лёшенька. Держись за меня. Вот так. Теперь присядь на скамеечку, а я тем временем ванну приготавливаю. Я котел сегодня включила.

Ронжин тяжело опустился на крылечную скамеечку и полез рукой во внутренний карман пиджака. Нашупал смятую пачку сигарет, попытался закурить, но спички не загорались, а только шипели.

— Дай в зубы, чтоб дым пошёл, — пробормотал он.

— Что дать-то?

— Спички, видишь, у меня намокли. Хотя погоди, — Ронжин выплюнул сигарету и заглядывался. — Ты тут ничего такого не видела?

— Чего такого я должна была видеть?

— Ну, такого, похожего на кошку, — подрагивающим голосом произнёс Ронжин. — Только побольше.

— Если котёнок похож на кошку, — сказала Мария, — то его я видела.

— Где?

— На тебе сидел и пишал. Почему ты об этом спрашиваешь?

Ронжин, не ответив, чиркнул о коробок спичкой и она загорелась. Прикурив, он недовольно буркнул:

— Чего ждёшь? Иди, делай, что надумала.

От выкуренной второпях сигареты у него закружилась голова, воспоминания путались, одна картина мешалась с другой, он много помнил из того, что с ним было в доме Лялечки, а всё дальнейшее заслонил постоянно увеличивающийся в размерах котёнок. И только Ронжин о нём подумал, как из-под крыльца явственно донеслось мяуканье и шипение, а затем послышалось царапанье когтей по железу.

«К водосточной трубе примеривается, — содрогнувшись, понял он. — Хочет забраться на чердак и устроить там своё логово».

— Пойдём, Лёшенька, я воду приготовила, — сказала Мария. — Идём, я тебя поддержу.

В сенях она заставила его снять с себя мокрую одежду, и когда он в одних трусах вошёл в ванную, вскрикнула.

— Где же ты так оцарапался? И ноги, и руки, и спина, и даже лицо — всё в царапинах. Глянь на себя в зеркало.

Пока Ронжин рассматривал себя в зеркале над умывальной раковиной, Мария успела найти домашнюю аптечку и начала обрабатывать царапины зелёной.

— Ты мне должен сказать, откуда у тебя царапины?

— В малиннике оцарапался.

— Не лги, — строго сказала жена. — Я медсестра со стажем и вижу, что тебя оцарапали или ногтями или чем-то похожим.

— Ясно: ревнуешь, — усмехнулся Ронжин. — Да не бабьи эти царапины, а кошачьи, точнее котёночьи.

— Это я и хотела выяснить, — сказала Мария. — Я сразу поняла, кто тебя оцарапал. И это, скорее всего, котёнок, которого я видела.

— Пусть котёнок, и что?

— А то, Лёшенька, что он, наверняка, бешеный.

Ронжин от нечего делать почитывал популярную медицинскую литературу и о бешенстве кое-что знал.

— Ты считаешь, что эта тварь, что эта тварь заразила меня водобоязнью? — с трудом сглотнув слюну, прохрипел он.

— В любом случае уколы ставить надо. Так что купаться не будем. Одень всё чистое, а я вызову «скорую».

«Раскомандовалась, — хотел сказать Ронжин, но не сказал. — Ожила, что ли? И разругалась, и глаза поблескивают, точно у здоровой. Видно, ей моя беда пошла на пользу».

На вызов без промедления явились медики и сразу принялись искать источник инфекции — котёнка, но не нашли. Ронжина доставили в травмпункт, осмотрели и уложили на больничную койку под капельницу, хотя он сопротивлялся и уверял всех, что здоров. Но когда ему сделали укол в живот и объяснили, что в течение полугода ему нельзя пить хмельного, то он притих и от жалости к себе слегка прослезился.

Домой Мария вернулась под утро. Открыв калитку, она насторожилась, выглядывая котёнка. В какой-то миг ей почудилось, что он стоит на балясине крыльца, но заголосил соседский петух, оповещая всю округу, что время тёмной силы подошло к концу, и хозяйка прошла в дом без всякой опасности. Она уже решила, что пойдёт к утрени в храм и после неё упросит батюшку освятить своё жилище.

Голубчик

- 1 -

Короткая июльская ночь была жаркой и душной, и лишь на рассвете, когда со стороны озера потянуло долгожданным прохладным ветерком, лютовавших всю ночь комаров отнесло в чащу леса. Небо быстро светлело, на нём не было ни одной

облачной помарки, и оно спокойно отражалось в озёрном зеркале, позлащённом лучами восходящего солнца.

Командир разведгруппы капитан Емцов проснулся, как себе приказал, укладываясь спать, на рассвете, но глаза открывать не спешил. Беспокойная и опасная жизнь разведчика давно отучила его от излишней торопливости, он даже не шелохнулся и продолжал лежать без движения на мшистой, усыпанной сосновыми иглами земле, вбирая в себя всё, что происходило вокруг. Он слышал, как поскрипывают сосны, как с ветки свалилась и упала рядом с ним сухая шишка, видел сквозь неплотно сомкнутые ресницы солнечные блики на ветках рябины, ощущал порывы прохладного озёрного ветерка, и, сглотнув, почувствовал, что слюна у него во рту имеет кислосладкий привкус от съеденной перед сном костяники.

Емцов не торопился вставать ещё и потому, что разведчики оказались в западне: впереди были немцы, а позади — огромное и топкое у берегов лесное озеро. И, проснувшись, он не в первый раз упрекнул себя в том, что не взял у партизан проводника, понадеялся на карту, которая до сих пор его не подводила, а тут подвела. И вместо двух небольших озёр, что были на карте, Емцов на местности увидел одно, да такой величины, что его и за два дня не обойти измотанной двухнедельным рейдом разведгруппе.

— Товарищ капитан, — послышался громкий шёпот караульного, — не пора ли всем будиться? Немец, поди, уже встал.

— Наверно, встал, — открыл глаза Емцов, — но пока ему не до нас. Немец, прежде чем воевать, кофе должен выпить и галетой закусить.

— У нас тоже кое-что есть: сало, сухари, а воды — полное озеро, края не видно.

— В том-то и беда, Ветров, что нет этому озеру ни конца, ни края. И нам его не перепрыгнуть. Так что спешить нам некуда. Немцы это тоже знают.

Емцов встал, встряхнулся и, размахивая руками, подошёл к пульсирующему проточному роднику, где, раздевшись по пояс,

окатил себя ключевой водой и, достав зеркальце, пятернёй пригладил на голове взъерошенные волосы.

— Как спалось? — спросил он подошедшего к нему лейтенанта, сапёра.

— Спал как камень, а ты, смотрю, свеж как огурчик, хотя дела у нас, капитан, как сажа бела.

— Это точно, — Емцов пристально посмотрел на ловко играющего словами молодого офицера, который был придан разведке как специалист по укреплённым пунктам. — Хочу тебя спросить, эти бумажки, которые добыли партизаны, действительно так важны, чтобы за ними посылать людей фактически на смерть?

— Зачем тебе это надо знать? — скривился лейтенант. — Ты взял документы, я как спец подтвердил их достоверность, теперь их надо доставить в штаб дивизии. Тебя это беспокоит?.. В этом вопросе я не спец. Хотя зачем мы таскаем солдатику с корзиной?

— Я, страх как, не хотел брать этого Ветрова, — сказал Емцов, застёгивая пуговицы на гимнастёрке. — Ты как считаешь, можно посылать голубиной почтой столь важные сведения?

— А что остаётся делать? — глухо сказал лейтенант. — Немец пойдёт на нас не позднее чем, через час. Надо отправлять депешу. Основной текст и схемы я перевёл на папиросную бумагу.

— Лады, — повеселел Емцов, — зарядим голубя и выстрелим в сторону наших. Авось, не промахнёмся.

- 2 -

Ветров служил рядовым армейской роты голубиной связи, и на войне был подсобным рабочим, которых на каждом фронте имелось великое множество, от медиков и оружейников — до личного состава многочисленных провиантских, фуражных и прочих служб, обеспечивающих ненасытную утробу войны отремонтированной на фронтовых ремзаводах военной техникой, боеприпасами, горючим, продуктами, гуртами скота,

табунами коней. У каждого фронта был даже свой родильный дом, ибо на войне не только умирали, но и рождались.

В кипящей толчее фронтовой жизни военная голубиная связь была практически незаметна. Её интенсивно использовали только в особых случаях, когда войска находились в обороне, и во всём фронте вводился режим радиомолчания, чтобы скрыть от противника передислокацию частей и соединений, а также разведывательные мероприятия для подготовки наступления.

Задание разведгруппе Емцова предполагало, что она будет действовать в режиме радиомолчания, и полученные разведданные должна доставить командованию сама, но на всякий пожарный случай ей всё-таки выделили голубиную связь. Капитан был опытным разведчиком, не раз уже пострадавшим от начальства по своей доверчивости, и поначалу наотрез отказался брать корзину с голубями. Тогда начальник разведки дивизии подполковник Орехов повторил приказание более строгим и не терпящим возражений голосом.

— Разве я против голубей, — сдался капитан, — я только против ответственности разведгруппы за эту птичью музыку. Вдруг не сыграет или не так сыграет? Окочурится сизокрылый от поноса, а мне отвечать.

— Будь по-твоему, уговорил, — сказал начальник разведки. — Дам тебе голубятника, но ты его сам подбери и поговори с ним по душам, что за человек, словом, сам знаешь. Сколько у тебя дней на подготовку осталось?

— Десять суток.

— Не десять, а восемь суток. Почему так, не спрашивай. Не знаю. И не догадываюсь. Твоё задание находится на контроле в штабе армии. Так что проникнись, капитан, ответственностью. Кстати, у тебя орден Красного Знамени есть?

— Пока нет, — улыбнулся Емцов.

— Это дело поправимое.

— Разрешите идти?

— Постой, — спохватился Орехов. — Что со вторым прикомандированным, инженером-сапёром? Ты его взял на просвет?

— Так точно. Лейтенант обузой не будет. Лыжник и бегун на дальние дистанции. И Смерш его кандидатуру одобрил, он допущен к работе с секретными документами.

- 3 -

Разведчики умылись, позавтракали и рассредоточились по временным огневым позициям для отражения противника, появления которого следовало ожидать в любое время.

К капитану подошёл старшина.

— Докладывай, чем располагаем, — сказал Емцов.

— По три сотни патронов на каждого осталось. Два десятка гранат. Толовые пашки лейтенант заложил под сосны, чтобы устроить бревновый завал.

— Все здоровы?

— Слава богу, все.

— Через болота тропу так и не нащупали?

— Трёхметровые шесты дна не достают.

— Понятно, — задумчиво произнёс Емцов. — Лейтенант к нам только прикомандирован, поэтому, если что, примешь командование на себя.

— Есть взять командование на себя, если что, — повторил старшина и, глянув на небо, вздохнул. — Гроза нам, товарищ капитан, нужна, край как нужна.

— Откуда грозе взяться, когда на небе ни облачка? — сказал Емцов. — Хотя погоди... Мы видим только северную часть неба, но она, может, и ползёт с юга. Поживём — увидим. А сейчас, старшина, пройдишь вокруг, погляди, послушай немца, может это егеря, а они в лесу воевать умеют.

Старшина подхватил на плечо автомат и скорым шагом скрылся в зарослях рябины.

Емцов вослед ему даже не глянул. Война научила его сдерживать свои чувства. Он понимал, что ни при каких обстоятельствах, какими бы безвыходными они ни были, нельзя показывать бойцам, что командир растерялся, утратил волю и не способен вести их в бой.

Он взглянул на часы, было восемь сорок пять, и сказал сапёру:

—Что-то немец не подаёт о себе знать. Может, у него сегодня выходной?

— А куда ему торопиться? Немец дело знает туго, по часам воюет.

— Действительно, куда ему спешить? Хочет взять на измор.

— Деша готова, — сказал лейтенант. И достал из нагрудного кармана гимнастёрки небольшую стопку папиросной бумаги и остро отточенный карандаш. — Я расписался и ты распишись, что с подлинным верно.

— Кому это надо? — удивился Емцов.

— Так положено, а зачем, я не знаю.

Емцов хотел сказать, что война всё сама спишет, но промолчал и, взяв карандаш, чиркнул свою роспись на листке папиросной бумаги.

- 4 -

Ветров вынул одного за другим двух голубей из корзины и опустил их, не снимая связок, на землю. Затем налил в лоточек воды и дал каждому голубю по горстке жёлтого гороха, чтобы подбодрить их перед полётом. Им предстояло лететь от озера до голубятни роты голубиной связи около ста километров, в мирное время это расстояние голубь преодолевает примерно за два часа, но в условиях войны каждая минута полёта могла стать последней минутой его жизни. Голуби находились под категорическим запретом в каждой из воюющих сторон, наравне с радиоприёмными и радиопередающими устройствами, и при обнаружении подлежали немедленному уничтожению как возможное средство связи противника.

Рядовой Ветров не забывал об этом ни на миг. Занимаясь голубями, он то и дело поглядывал в небо, не кружит ли в нём ястреб или сокол, которых немцы широко использовали в охоте на русских почтовых голубей. Голубятник знал, что за последний месяц его рота потеряла их около двух десятков. И

многие нашли смерть в когтях пернатых разбойников, которые патрулировали воздушное пространство немецкой части фронтовой полосы.

Немцы, по догадке Ветрова, вполне могли засечь его голубиную почту с помощью аэрофотосъёмки во время последнего перехода разведгруппы по открытой местности, когда он шёл с корзиной за плечами, предназначение которой было известно всякому профессиональному разведчику.

— Как, Ветров, твои бойцы готовы выполнить боевое задание? — подойдя к голубятнику, сказал Емцов. — Пока тихо, надо поскорее отправить их с донесением в штаб дивизии.

— Я, кажется, понял, почему немец притих и носа не кажет, — неожиданно объявил Ветров.

— Ну и почему?

— Ждёт, когда мы голубя выпустим, чтобы ударить в него из засады.

— Чем ударить? — усмехнулся Емцов. — Из пушки?

— Скорее, ударит соколом, но может и ястребом.

— Что-то я тебя не пойму, объясни толком.

Ветров рассказал командиру разведгруппы про опасность, которая вполне могла подстергать голубей на взлёте при наборе высоты.

— За сутки немцы вполне могли вызвать ловчего с соколом, чтобы тот взял нашего голубя с нагруженным порт-депешником на взлёте, — уверенно предположил Ветров.

— Что думаешь, лейтенант? — сказал Емцов. — Тебе не кажется это фантастикой?

— Я думаю, он говорит дело. И, наверно, знает, как избежать потери голубя с депешей.

— Не тяни, Ветров, излагай свой план запуска почтарей.

Голубятник достал из кармана небольшую металлическую коробочку и отдал лейтенанту.

— Заряжайте порт-депешник.

Сам он наклонился, поднял с земли голубя и ловко прикрепил к его лапке пустую коробочку.

— Не понял, — пробормотал Емцов.

— Этот голубь, товарищ капитан, будет ложной приманкой для сокола. Возьмите его и подбросьте над собой.

Капитану предложение Ветрова не понравилось, но отказаться было нельзя. Он взял смертника обеими руками и, зажмурившись, отпустил его на волю. Голубь шумно захлопал крыльями и свечкой пошёл вверх. Через мгновение он был выше самых высоких сосен и сделал обычный перед началом полёта прощальный круг над разведчиками.

— Сокол! — крикнул Ветров, удерживая в руках другого голубя с нагруженным порт-депешником. — Идёт в атаку!

— Что ты в своего голубя вцепился, как чёрт в грешную душу! — озлился Емцов. — Выпускай!

— Погодь, товарищ капитан! Пусть сокол пустышку возьмёт. Тогда мы и утрём немцу сусала!

Взлетевший голубь слишком поздно увидел своего врага, и, чтобы спастись, камнем пошёл вниз, но сокол был ловчей, он мгновенно настиг свою жертву и вцепился в неё мёртвой хваткой.

— Смотри, Голубчик, как вашего брата уму-разуму учат! — вскричал Ветров, и, подняв своего голубя над головой, дал ему увидеть гибель товарища. — Рви без оглядки домой, пока сокол не очухался!

Голубчик повторил только начальную часть пути погибшего голубя: он свечкой взвился над кронами деревьев и, сделав совсем небольшой круг, пошёл на восток в сторону фронта со всей скоростью, на которую был только способен, и скоро скрылся из глаз смотревших ему вслед разведчиков. Тем временем немцы примчались на моторке к упавшему в озеро голубю, вытащили его из воды, и, не заглянув в порт-депешник, убрались восвояси.

— Они, кажется, ничего не поняли, — сказал Емцов.

— Как не поняли, всё поняли, — сказал Ветров. — Это они форсят перед нами: никуда, мол, вы не денетесь, руссиш швайн.

Они замолчали, вспомнив о том, что их ждёт в ближайшее время. Однако грустить никому не хотелось, Емцов улыбнулся и сказал:

— Нам бы сейчас по два крыла каждому, как голубям, уже вечером бы у своих чай гоняли, а может, что и покрепче.

Неподалёку слышались шаги, и раздался голос старшины:

— Немец совсем рядом, с полсотни пехоты. Кажется, собираются нас навестить. Это вам, товарищ капитан, на первое.

— А что на второе?

— На второе, вы сами видите: солнце исчезло, гроза будет.

— Не много ли счастья в одни руки, — проворчал Емцов. — Построй разведчиков! Я каждому поставлю задачу.

- 5 -

Голубчик по праву считался лучшим почтовым голубем армейской роты голубиной связи. За ним числились десятки случаев успешной доставки корреспонденции в любое время года и в самых трудных погодных условиях. В личной военно-учётной карточке Голубчика было записано, что во время одного из перелётов он был настигнут бураном, но не погиб и доставил важные сведения адресату. Однажды его отправили в рейд на подводной лодке, и он спас экипаж и субмарину от верной гибели, доставив сообщение об аварии на военно-морскую базу, откуда потерпевшему судну была оказана срочная техническая помощь.

И когда капитан Емцов, пользуясь данным ему начальником разведки правом, просматривал личные документы лётного состава голубиной роты связи, он выбрал опытного Голубчика для участия в опаснейшем рейде по тылам противника.

Почти две недели Голубчик провёл вместе со своим дублёром в корзине за спиной Ветрова, изрядно намял себе бока и крылья, но его глаза не потускнели от усталости. И, поглядывая между прутьев корзины в просторное и зовущее небо, он всем своим вольнолюбивым существом чувствовал, что дверца сплетённой из ивовых прутьев темницы вот-вот распахнётся, и он обретёт столь желанную волю, и в коротких томительно-тревожных сновидениях ему перестанет грезиться плачущая и стонущая голубка.

И сегодня, когда голубятник поставил перед ним лоточек с пригоршней жёлтого гороха, он сразу понял, что столь желанный путь в небо для него открыт. Ветров поднял его на вытянутых вверх руках, и Голубчик винтом пошёл в небо, чувствуя, как с каждым взмахом его крылья наполняются упругой силой, а душа всё сильнее и сильнее возгорается жаждой высоты и полёта. В эти мгновения его существо переполняла неведомая всем бескрылым радость, что именно ему посчастливилось родиться почтовым голубем, а не каким-нибудь задрипанным дворовым сизарём, который больше ходит пешком, чем летает и питается не по армейскому рациону, а всякой помоечной дребеденью.

Простим Голубчику этот солдатский гонор, потому что он, как и любой рядовой боец на фронте, был предназначен для одноразового использования и, выполняя полётные задания, почти всегда заранее был обречён на почти неизбежную гибель, и если этого не случилось сегодня, то вероятность того, что смерть явится завтра, многократно для него возрастала.

К тому же Голубчик был голубем знаменитой брюссельской почтовой породы, а для этих голубиных аристократов ритуальное любование собой было жизненно необходимо не только для преодоления страха, но и для обретения твёрдой уверенности в успешном выполнении полётного боевого задания. И, взмыв из рук Ветрова над соснами, он пошёл по кругу, чтобы поскорее определиться в направлении маршрута и уйти из опасной зоны, где хозяйничал немецкий сокол, который, растерзав несчастного голубя-дублёра, жадно выглядывал с руки своего хозяина немецкого ефрейтора появление новой жертвы.

Пройдя всего три четверти предполётного круга, Голубчик, часто-часто помахивая крыльями, на какое-то мгновение завис на одном месте. В этот миг его пламенно любящее голубку сердце испустило импульс страсти, который со скоростью мысли достиг сердца возлюблённой, и между ними восстановилась утраченная во время разлуки духовная связь, которая тут же воплотилась в реальную способность голубя

лететь в нужном направлении сотни километров без сна и отдыха.

Сделав несколько мощных взмахов крыльями, он преодолел первую сотню метров пути, как вдруг мимо просвистела пуля немецкого снайпера, и вскоре догнал звук выстрела, затем донеслось ещё несколько неприцельных выстрелов из автомата. Но Голубчик их не слышал, он мчался из всех сил на сердечный зов подруги, стремясь как можно дальше и скорее уйти на предельно высокой скорости от ставшего смертельно опасным места взлёта, где осталась окружённая немцами разведгруппа капитана Емцова.

Он мчался по прямой, не отклоняясь от линии, которая вела его к родному гнезду, где трепетала связанная с ним духовной нитью возлюбленная голубка. И только преодолев с десятков километров, Голубчик, наконец, успокоился и освободился от ознобного страха, который ожёг его сердце при виде боевого сокола и растерзанного им голубя.

Прошло ещё несколько минут полёта, и Голубчик почувствовал, как погода стала меняться, подул сильный и плотный, как водный поток, встречный ветер, нестерпимо жаркое солнце скрылось в туманной густой дымке, а перед Голубчиком, громохкая и посверкивая молниевыми вспышками, явилась громадная сизая туча. Он знал, что это такое, и продолжал бесстрашно лететь ей навстречу до тех пор, пока электрические разряды не прервали его связь с гнездом. И лишь тогда, осыпаемый каплями дождя и мелкими градинами, Голубчик резко пошёл на снижение и нырнул под крону сосны, где и присел на толстую ветку, чтобы осмотреться и найти надёжное пристанище.

Сосна, на которой он сделал остановку, была старой, изъязвлённой несколькими дуплами, и все они казались пустыми. Однако занимать их было всё равно опасно, но тут ударил гром такой силы, что Голубчик не удержался на ветке, соскользнул с неё и спрятался в дупле. Оно было пустым, щелястым, но всё-таки сухим, и голубь в нём уютно устроился и даже задремал под монотонный шум дождя, пока его не потревожил громкий шорох. Голубчик встрепенулся и увидел,

что рядом с ним появился незваная гостья, тщедушная юркая белочка, которая насквозь промокла под дождём и теперь пыталась стряхнуть с себя влагу и согреться. Она не обращала на голубя внимания и даже мазнула его мокрым хвостом по голове. Голубчику столь бесцеремонное с ним обхождение пришлось не по вкусу. Он залопотал, выпятил зоб и захлопал крыльями, чем страшно напугал белочку, и она выскочила из дупла, оставив после себя небольшую дождевую лужицу.

Голубчик успокоился, присел на прежнее место и опять задремал под шум дождя, пока его опять не потревожили какие-то скрипы и шорохи. Он встряхнулся, подошёл к дуплу, выглянул из него и увидел, что гроза прекратилась, и лес насквозь просвечен светом омытого ливнем солнца. Голубчик не стал засиживаться в явно опасном для него месте, выбрался на ветку, подставил влажное оперение ветерку, обсох, и, избегая падающих с соснового лапника капель, взлетел над освежённым грозой лесом.

Небо было ещё полно напозавших друг на друга туч, которые громыхали над тем местом, где он оставил разведгруппу, но Голубчик был уже во власти полёта. Он поднимался всё выше и выше на тёплых после грозы восходящих воздушных потоках.

- 6 -

Старшина построил разведчиков и приданных к ним военспецов на тесной полянке и по всей форме доложил командиру разведгруппы. Капитан Емцов обошёл строй и тихо сказал:

— По русскому обычаю перед боем нам надо бы переодеться в чистое нижнее бельё, но его у нас нет. Поэтому — всем подшить чистые подворотнички. Построение через десять минут. Разойдись!

Разведчики развязали вещевые мешки, достали лоскуты белого коленкора, вынули из пилоток иголки с нитками и,

сорвав с гимнастёрок грязные подворотнички, принялись за работу.

— А ты, Ветров, почему не выполняешь приказ? — строго спросил Емцов.

— Я, товарищ капитан, с утра сменил подворотничок.

Емцов глянул на часы, и, взяв лейтенанта под руку, отвёл его в сторону.

— Ты понимаешь, что происходит?

— Понимаю, не маленький.

— Приказ мы выполнили, — сказал Емцов, — но нет у меня надежды на голубя. Согласен?

— Вполне. Но что делать?

— Как что? — сердито сказал Емцов. — Доставку донесения надо продублировать. У тебя ведь есть ещё один пакет со схемами укрепрайона?

— Есть, тот самый, что от партизан получили.

— Вот и доставь его к месту назначения пешим порядком. Конечно, шансов пройти немного, однако будем надеяться, что тебе повезёт.

— Но почему я?..

— Ты — спортсмен, бегун, — авось проскочишь.

— Я, в первую очередь, военный инженер. Пошли своего разведчика, ему сподручнее.

— У нас закон: своих не бросать, — вздохнул Емцов. — Я, конечно, могу приказать, но сразу укажут на тебя как на самую подходящую кандидатуру.

— Почему на меня? — возмутился лейтенант. — Есть ещё голубятник, молодой крепкий парень.

— А ты почему не идёшь?

— Боюсь.

— Кого боишься?

Лейтенант потупился и, помолчав, тихо сказал:

— Боюсь один умирать. Я лучше с вами.

Они пристально посмотрели друг другу в глаза и обнялись.

Разведчики уже подшили подворотнички и, взяв оружие, встали в строй.

— Всем занять круговую оборону, — приказал капитан. —

Но не на этой позиции. Здесь нас уже засекли и вот-вот накроют из миномётов. Отойдём метров на двести в сторону. Выполнять! Ветров, ко мне!

Голубятник, держа в руке вещмешок, подошёл к командиру.

— Помоги лейтенанту снять толовые шашки и перенести туда, где залягут разведчики. После этого получишь у него документы и доставишь начальнику разведки дивизии. Время и способ преодоления вражеских позиций выберешь сам.

— А вы, товарищ капитан? Здесь останетесь?

— Пойми, Ветров, я даю тебе шанс остаться живым. Не знаю, что ты будешь делать, заройся в землю, обратись в дерево, но документы доставь в штаб.

— Так их Голубчик уже через пару часов доставит на место.

— А вдруг не доставит? Глянь, какая туча вываливает над лесом. Как раз сейчас нашего Голубчика полощет дождь с градом. А кто за доставку депеши в первую голову отвечает? Ты, рядовой Ветров! Повтори приказание.

— Есть доставить депешу начальнику разведки дивизии.

- 7 -

После грозы Голубчику не сразу удалось восстановить связь с голубкой. Этому мешали грозовые помехи и насыщенный электрическими разрядами озонированный воздух. Неопытные голуби, потеряв ориентацию, часто впадают в панику и начинают метаться из стороны в сторону, но Голубчика было трудно сбить с толку. Он твёрдо знал, что голубка о нём помнит и, сохраняя набранную высоту, не торопясь продолжал лететь над лесом, который стал распадаться на лиственные острова и проплешины пашен.

Гроза взбодрила разомлевших от жары птиц, и они веселились, каждая на свой лад. Грач ковырял клювом землю, выхватывая из неё выползших навстречу дождю червей, этим же занимались скворцы и галки. Дятел принялся стучать крепким клювом по отмякшей коре сухостойной сосны и скоро обнаружил под ней скопление вкуснейших червячков и жучков.

Несколько жаворонков взлетели вровень с Голубчиком и принялись распевать свои солнечные песни.

Чтобы не столкнуться с ними, он поднялся выше и почувствовал, как его сердце попало на волну гнезда, где, испуская сердечные призывы любимому, пританцовывала, подрагивая крыльями, голубка. И Голубчик, почувствовав в крыльях желанный прилив сил, принялся отмахивать ими километр за километром пространства, чтобы скорее соединиться со своей ненаглядной подругой.

В стремительном полёте прошло не менее часа, уже были преодолены четыре пятых пути, как впереди по направлению движения голубя показалось пульсирующее чёрное облако, которое с большой скоростью сближалось с Голубчиком, грозя поглотить его и уничтожить. К счастью, он вовремя понял, какая опасность ему угрожает, и резко пошёл, почти до верхушек деревьев, вниз, и пропустил мимо себя громадную стаю ворон, которые гналась за совой, а ночная хищница, взмахивая широкими крыльями, возносилась всё выше и выше, на высоту, которую её преследователи одолеть были не в силах.

Некоторое время Голубчик летел над вершинами деревьев, и они хорошо защищали его от опасности быть сбитым выстрелом снизу. Но когда началось открытое пространство, он опять набрал высоту. Приближалась линия фронта, и ещё недавно пустынная земля, дороги, поля, деревни вдруг оказались наполненными военными людьми, автомашинами, конными обозами, танками, пушками, и всё это пространство находилось под надзором специальных охранных служб, для которых появление почтового голубя было сигналом тревоги и большим наградным призом. За сбитого голубя с порт-депешником меткого стрелка награждали «Железным Крестом» и отправляли в десятидневный отпуск на родину.

Голубчик, конечно, не знал, что влетел в зону повышенной опасности, его заботил только полёт, которому он отдавал все свои силы. По нему уже несколько раз выстрелили, когда он пересекал автостраду, но, к счастью, не попали. Однако просвистевшие мимо пули встревожили Голубчика, он поднялся выше, и почти успокоился, как явилась новая беда — планер с

воздушным наблюдателем, который имел примерно такую же скорость полёта, как голубь. Обнаружение вражеского голубя привело планериста в сильное возбуждение, он попытался сбить его фанерным крылом, затем взялся за пистолет и, сдвинув колпак кабины, несколько раз выстрелил в Голубчика, но промахнулся. Грохот пальбы так напугал голубя, что он почти перестал махать крыльями и сразу потерял скорость полёта. Планер ушёл далеко вперёд, а голубь винтом ушёл в высоту настолько, насколько у него хватило сил.

- 8 -

Ветров и лейтенант едва успели установить взрывчатку на деревьях, как немцы начали миномётный обстрел. Били по прежней позиции не менее получаса, пока не догадались, что русские её покинули, и перенесли огонь ближе к разведчикам, затем начали появляться одиночные фигуры солдат на опушке леса, среди высокого кустарника. Но это были не немцы, а полицаи, с белыми нарукавными повязками, вооружённые старыми винтовками времён первой мировой войны.

— Не стрелять, — приказал Емцов, — это разведка боем, немцы нас потеряли.

Полицаи не спешили, то шли, то стояли, переговариваясь друг с другом, пока их не подстегнул громкоговоритель.

— Форвертс!.. Вперёд!.. Форвертс!..

— Не торопятся, — сказал старшина. — Разрешите, товарищ капитан, я парочку предателей шлёпну.

— Разрешаю, когда подойдут метров на пятьдесят.

Разведчики залегли и примостились, кто за пнём, кто за деревом и помалкивали, лишь Ветрову не сиделось на месте.

— Товарищ капитан! Куда я пойду без вас? Лучше я с вами останусь.

— Не нуди, Ветров, без тебя тошно!.. Лейтенант, как только они поравняются с твоей закладкой, так и взрывай.

Полицаи заметно повеселели: к ним присоединился взвод немецкой пехоты, а те без стрельбы ходить не умели, сразу

врубили из всех автоматов по деревьям, и полетели ветки, щепки, сосновые иголки. Откуда-то издалека зачастил тяжёлый пулемёт. Стрельба стала гуще, плотнее.

— Давай старшина, — буднично сказал Емцов.

Грянули один за другим два выстрела, два полиция грохнулись наземь, но наступающих это не остановило, они, наоборот, перешли, кто на скорый шаг, кто на пробежку.

— Берегись! — крикнул лейтенант.

От частых взрывов вздрагивала земля, трещали, ломаясь, сосны, кричали раненые, безмолвно падали убитые.

— Огонь! — страшным голосом взревел Емцов.

Немцы и полицаи, что не попали под бревновый завал, бросились бежать назад, а те, кто оказался в ловушке, были уничтожены все до одного.

Наступило затишье, часть поломанных деревьев дымилась, затем кое-где на завалах появились языки пламени.

— Как я раньше не догадался запалить с нескольких концов лес, — с сожалением произнёс Емцов. — Тогда у нас была бы возможность уйти без потерь. А теперь поздно. Вон какая гроза явилась. Но, как говорится, с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Ветров!

— Тут я...

— Повезло тебе, брат. Пойдёшь вместе со всеми, теперь всё за нас решает гроза.

На озеро было страшно смотреть, оно вспучилось, потемнело, запенилось, а из туч в него сыпались огненные стрелы молний, иногда промежуток между водой и тучами заполнял текучий ослепительно вспыхивающий огонь, который тут же сменялся полной темнотой. И молния и гром грохотали и взрывались над верхушками сосен, которые трещали от ураганных порывов ветра. Внезапно наступило затишье, и капитан Емцов решил отдать приказ:

— Всем на прорыв! В голове — старшина и лейтенант, остальные — за ними. Замыкающие — рядовой Ветров и я.

Гроза разразилась с прежней силой, с неба рухнул на землю ливень с градом. Разведчики быстро построились в колонну по двое и сгнули в кромешной темноте.

Освободившись от преследования фашистского планериста, Голубчик позволил себе отдохнуть и, используя восходящие тёплые потоки воздуха, воспарил на распростёртых крыльях, огляделся, делая широкие круги в безоблачном небе, и устремился к широкой реке, которую пересекал уже не раз, возвращаясь с боевых полётных заданий. Голубчик был обстрелянным мужественным бойцом, однако и для него преодоление переднего края было далеко не простым делом. Но его, несмотря на смертельную опасность, безостановочно толкало вперёд чувство верности родному гнезду и голубке. И, преодолев болезненный приступ страха, Голубчик помчался, что есть сил, на крыльях любви через передний край, где в любой миг мог погибнуть. Вокруг него рвались зенитные снаряды, штурмовики поливали боевые порядки войск свинцом и огнём, горели не только дома и деревья, горела и плавилась земля, и чёрные клубы смрадного дыма и копоти заслоняли солнце.

Дежурный по роте голубиной связи засёк прилёт Голубчика, когда тот опустился на выступ приёмного лотка своей голубятни, толкнул входную дверцу, вошёл внутрь и направился к своему гнезду, где, трепеща, его встретила голубка. Они бережно слились в недолгом поцелуе и закружились вокруг друг друга, издавая страстное поуркивание: «У-у-pp!...». И все голуби, что находились в голубятне, пришли в радостное настроение — зауркали, закружились, затанцевали, радуясь счастливому возвращению своего товарища.

Прежде чем сообщить начальству, дежурный по роте заглянул в голубятню, снял с лапки Голубчика порт-депешник, убедился, что голубеграмма цела, даже не намочла, и опрометью кинулся к командиру роты, который принялся названивать по телефону в штаб дивизии.

Через два часа начальник разведки подполковник Орехов был вызван к начальнику штаба дивизии с отчётом об успешном завершении разведывательной операции.

— Кажется нам, подполковник, удалось разгадать, что за сюрприз приготовили немцы. Кое-что дала аэрофотосъёмка, но

главную работу выполнили капитан Емцов и его разведчики. Сейчас по их ориентирам работают наши штурмовики и бомбардировщики. Всех представить к наградам, орденам и боевым медалям.

— Разрешите доложить, товарищ полковник, — сухо произнёс Орехов. — Капитан Емцов не имеет со мной связи.

Начальник штаба снял очки, отложил их в сторону и сердито глянул на подполковника.

— Кто же, в таком случае, доставил схему укрепрайона? Не святым же духом она оказалась у меня на столе?

— Схему доставил почтовый голубь роты голубиной связи, — доложил подполковник.

Начальник штаба заинтересованно глянул на Орехова.

— Не можешь ты без всяких там фокусов. Выходит герой этой операции в наличии всего один. И это голубь. Конечно, боевую медаль «За отвагу» он заслужил, но комдив такой приказ не подпишет.

— Товарищ полковник, — улыбнулся Орехов. — Я распоряжусь, чтобы ему дали ведро семечек. Пусть щёлкают на пару с голубкой и милуются.

— И мешка семечек такому герою не жалко, — одобрил начальник штаба. — А ты сегодня, слышишь, сегодня, заполни наградные листы на всю разведгруппу как на живых, ведь кто-то из них должен выжить, Орехов, обязан выжить.

Липа вековая

Памяти генерал-майора В.А. Турчинского

С утра нужно было выпить лекарство, и, шлёпая комнатными тапочками, он прошёл на кухню, мучительно морщась от боли в правом боку, бросил в рот таблетки и запил минералкой. Пока закипал кофе, боль понемногу отступила, растворилась в его большом костлявом теле, и он, позавтракав, пошёл в свой кабинет, сел в кресло и закурил «Яву».

В последнее время, когда стало ясно, что дни его сочтены, он по утрам занимался приведением в порядок своих личных дел, которых, собственно говоря, у него осталось не так уж и много. Жена умерла, дочь жила с мужем в Москве, и на её имя он перевёл все имевшиеся у него деньги. Оставалось разобраться в бумагах: это были письма, сотни писем, которые он писал семье, когда находился в отлучке. Было много писем и к нему от друзей и сослуживцев. Отдельно толстой стопкой лежали приветственные адреса.

Письма он перечитывал и рвал на мелкие клочки, которые ссыпал под ноги на пол. За предыдущие дни он прошёл по этим письмам сквозь свои курсантские годы, когда учился в артиллерийском училище. Потом начались фронтовые треугольники — командир взвода в сорок первом под Москвой. Он разворачивал дрожащими пальцами высохшие и пожелтевшие от времени листы бумаги и, нацепив очки, вчитывался в выцветшие строки. В письмах мелькали имена фронтовых друзей, он вспоминал их и удивлялся, как ему везло — всего два лёгких ранения, к концу войны — полная грудь орденов и заместитель командира артиллерийской бригады. Подполковник.

Чтение шло медленно с перерывами, иногда он отрывал взгляд от письма и смотрел в окно, где разгоралось весеннее мартовское утро. Постепенно кабинет наполнялся светом, по окну, вспыхивая, начинали перекатываться солнечные «зайчики», и это наполняло его сердце силой, болезнь покидала его на весь день, и он знал, что она вернётся только вечером.

Из-за дрожания пальцев он брился электробритвой вслепую, чтобы не смотреть в зеркало. Из дня в день он всё более худел и чернел лицом. Ключицы ввалились в грудь, и тяжёлые генеральские погоны уже не лежали на плечах прямо, как в иные годы, а шли унылым изломом по костлявым плечам.

Недавно он выступал на местном телевидении от имени ветеранов. После репетиции к нему подошла егозливая девица с пудрой в руках.

— Товарищ генерал, — сказала она. — Вас нужно подпудрить, а то картинка получается слишком чёрной.

Подпудрили, записали на видеомэгнитофон. Потом он смотрел передачу, действительно на экране, несмотря на грим, он был чёрен, как эфиоп.

На службу он пришёл, как всегда, пешком. В городе его многие знали, и по дороге он часто поднимал правую руку к козырьку тяжёлой, осевшей на оттопыренные серые уши фуражки.

Военное училище уже жило своей жизнью. Курсанты убирали территорию, а возле КПП перетапывался с ноги на ногу молодой полковник, готовый в любое мгновение броситься для рапорта к начальнику.

Выслушав доклад дежурного, генерал отпустил его и осмотрелся по сторонам. Асфальт был очищен ото льда, сугробы в сквере напротив штаба со вчерашнего дня осели ещё ниже, и в них уже протаяли оббитые толем ящики, где зимовали розы.

Свой кабинет генерал не любил и сел возле штаба на открытую солнцу скамейку. Командиры и преподаватели шли мимо него, некоторые подходили, чтобы решить накоротке свои вопросы, бумаги подписывались тут же на снятой с головы фуражке.

В девять часов начались занятия, и территория училища опустела. Генерал встал со скамейки и, тяжело ступая, пошёл на строительство столовой. Собственно строительство было закончено, и в здании шла отделка.

В узком продутым весенним сквозняком проходе между казармами он столкнулся лицом к лицу с невысоким рыжеватым полковником. Офицер хотел свернуть куда-нибудь в сторону, но генерал уже заметил его и забасил:

— Ты что это, Шишков, вчера меня насчёт труб надул? Я прикинул, там нужно восемнадцать метров, а ты выписал двадцать пять!

— Так точно, двадцать пять, товарищ генерал! — без запинки проговорил полковник, глядя на генерала светлыми льдистыми глазами. — Но там ещё загиб есть...

— Ну, вот, — вздохнул генерал. — Опять какой-то загиб! Иди-ка лучше и верни на склад трубы, а то я тебе устрою загиб.

Шишков чётко повернулся на каблуках, но начальник училища передумал.

— Стой! Ты ведь политработник, пойдём, я тебе покажу, что надумал в столовой делать.

В холле столовой он подвёл Шишкова к фонтану и стал объяснять, какую хочет выложить мозаику на дне бассейна. Но тот слушал его вполуха и всё думал, как генерал узнал про трубы, которые он решил прибрать для наглядной агитации.

А начальник училища уже забыл про него и разговаривал с солдатом:

— Сынок, ну разве так колют керамическую плитку! Ты её стеклорезом, аккуратно, на четыре части. Где у тебя стеклорез?..

Поставив ногу на бортик бассейна, генерал на колене стал резать плитку.

— Вот так! Понятно... А ты чего топчешься? — обратился он внимание на Шишкова. — Иди и трубы верни.

В здании шли отделочные работы. Солдаты и рабочие ставили плитку на стены, красили двери, белили потолки. Генерал любил стройку за то, что сделанная работа была видна сразу всем и в первую очередь самому себе.

На первом этаже, где была кухня, два молоденьких солдата-первогодка выкладывали стенку из кирпичей.

— Не пойдёт, сынки! — сказал он, подходя к ним. — Это не работа. Разбирайте кирпичи!

Солдаты, торопясь и мешая друг другу, разобрали стенку. Генерал снял шинель, повесил её на торчащий в косяке гвоздь и взял в руки мастерок.

— По отвесу надо и раствору поменьше, — говорил он, ловко укладывая первый ряд кирпичей. — А то толкнёт повар стенку — и завалит. Вот так...

Выложив стенку на полметра от пола, генерал отдал мастерок солдату и пошёл к сантехникам.

Слесари сидели в своём тёплом подвальчике и резались в

домино. Это были гражданские рабочие из городского СМУ. Увидев генерала, они столкнули в ящик стола костяшки и начали подниматься.

— В чём дело, Митрич? — спросил он старшего.

— Труб не завезли, вот ждём.

— Да, порядки у вас, — пробурчал генерал. — На махру не заработаете.

— Ничо, Митрич закроет! — зашумели слесари.

— Ну-ка выдь на минутку, — сказал генерал Митричу.

На улице они закурили. Бригадир был одногодок генерала, и вот уже пятнадцать лет они ездили вместе на рыбалку.

— Ты мотыля купил? — спросил Митрич.

— Нет.

— И не бери. Я сегодня утром взял. Хороший мотыль...

— Ладно. Жди, заеду, — генерал затоптал окурки обляннанным строительной пылью сапогом. — Пойду начальника СМУ тряхи.

— Тряхни его покрепче, — засмеялся Митрич. — Ты же генерал!

— Как же! Боятся ваши жулики генералов.

Звонок начальнику СМУ ничего не дал — тот был на выезде. В кабинете было душно, в приёмную набился народ, и он опять пошёл на улицу, ведя за собой всю толпу. Генерал был опытным начальником и знал, что кабинет — это ловушка и для него, и для подчинённого. То телефон зазвонит, то зайдёт заместитель и сядет на час, а другие ждут, а здесь на лавочке он управлялся со своими делами быстро, и любой мог к нему запросто подойти, потому что не было ни секретарши, ни тяжёлых обитых кожей двойных дверей.

За какие-то полчаса он управился со всеми делами и остался один на скамейке, сгорбившийся одинокий человек в тяжёлой серой шинели и фуражке, издали похожий на большую нахохлившуюся птицу.

Он думал, что это наверняка его последняя весна. Хотя врачи и делали обнадеживающие прогнозы, он знал, что дни его измерены, и жить ему осталось недолго. Иногда он удивлялся, как боялся смерти на фронте, будучи молодым и здоровым, но сейчас в нём не было страха, только доселе неведомая пустота вдруг наполняла иногда холодом грудь, и ему хотелось лечь на землю и вытянуться во весь рост.

Сухими, подёрнутыми белёсой, как у птицы, плёнкой глазами он смотрел на мартовский снег, слышал, как, шурша, оседают сугробы, а в их глубине бьются пульсики зарождающихся ручьёв. Ветки тополей уже наполнялись первой весенней влагой, а почки стали коричневыми и походили на куколок, из которых вот-вот вылетят зелёные бабочки — листья.

— Комсомол! — Закричал генерал, увидев помощника начальника политотдела по комсомолу капитана Никитина, который собирался юркнуть в дверь штаба.

— Комсомол! Иди сюда!

Никитин выпустил ручку дверей и, улыбаясь, подбежал к начальнику училища.

— Ты к празднику готовишься? — спросил генерал.

Капитан задумался — какой праздник? До Первомая целый месяц, подготовка не началась, но на всякий случай бодро ответил:

— Так точно, товарищ генерал! Совместно с горкомом комсомола планируем провести факельное шествие.

— Да я тебя не о том празднике спрашиваю, — поморщился генерал. — Вот завтра праздник. Ты к нему готов?

Никитин растерялся. Какой будет праздник завтра, он не знал. Капитан покраснел и потупился.

— Эх, комсомол, комсомол! — генерал вздохнул. — Скворцы завтра прилетают, а ты не знаешь!

— Так это, — пробормотал капитан, пытаясь сказать что-то в своё оправдание.

— Вот что! — начальник училища нахмурился. — Чтобы завтра к утру на деревьях было сто скворечников! Ясно?

— Так точно!..

И капитан Никитин побежал исполнять приказание, смысл

которого дойдёт до него через много лет, когда он станет таким же одиноким и больным, как этот старик в генеральской шинели.

Пообедав в столовой, генерал вернулся домой и снова углубился в чтение писем. Он читал их и удивлялся тому, сколько было сказано слов, порой пустых, никчемных, но это была жизнь, судьба, и переделывать её было поздно.

Разорвав очередное письмо на мелкие клочки, он принялся рассматривать фотографии. Вот он — молодой полковник возле училища, казалось, всё это было вчера, а прошло столько лет. От того училища остался один учебный корпус, всё построено заново за эти годы.

Фотографии он сортировал. Личные складывал в конверт для дочери, а училищные были обещаны капитану Никитину для комнаты истории училища.

В городе генерал был личностью известной, и к нему неоднократно подкатывались из молодёжной газеты с просьбой рассказать о войне. Журналистов он срезал прямым, как выстрел, вопросом:

— А ты всё напишешь, что я тебе расскажу?

Обычно газетчики сразу после этих слов скисали. Лишь один пообещал, что напечатает всё, до последнего слова.

Генерал с интересом посмотрел в голубые наивные глаза корреспондента.

— Зря топорщишь пёрышки. Врать я не умею, а кому из вас нужна такая правда, что первый раз меня ранило собственной гранатой. Здоровенный был обалдуй, хоть и командир взвода. Кинул гранату, а она в дерево шарахнулась и меня же осколками и осыпала. Ну как?

Газетчик потупился.

— Да, это трудно будет напечатать.

— И не надо, — генерал развеселился. — А вот моим курсантам я всегда это рассказываю, им полезно знать, как бывает на самом деле.

Так и не появилось в газете ни одного очерка о генерале, хотя он имел орден Ленина, два Красного Знамени, другие награды.

Генерал перелистал пачку приветственных адресов и поморщился, как от зубной боли. Сплошная патока ластивых слов, он сам их подписал, не читая, на своём веку не одну сотню.

— Развели дипломатию, — скучно подумал он. — Врём друг другу, как китайские мандарины, захваливаем. Бумагу жалко, сколько детских книжек можно напечатать.

Приветственные адреса генерал рвал с удовольствием. Куча рваной бумаги за обеденный перерыв заметно прибавилась. Это доставило ему удовольствие, как хорошо сделанная работа, и он пошёл в училище.

На улице совсем распустило, по тротуару сплошным потоком катилась вода, и в её подвижном зеркале отражалась ограда училища и деревья, которые он высаживал с курсантами лет десять назад.

Выйдя из-за угла, он увидел своего заместителя по тылу полковника Орешко и двух курсантов с пилой. Они нацелились спилить липу, которая росла на углу.

На миг его ослепила вспышка ярости.

— Полковник! — закричал он, не обращая внимания на прохожих. — Вы что собираетесь делать?.. Вы же знаете мой приказ: не трогать ни одного дерева без моего разрешения!

— Кран не подходит из-за этой липы, — хмуро забасил Орешко. — А нам нужно трубы из траншеи вынуть. Потом, дерево не наше, а городское.

— Какое городское! — вскипел генерал. — Я его давно в училище зачислил!

— Всё равно не жалец эта липа, — упирался Орешко. — Вот машиной половину ствола разворотило.

Генерал подошёл к дереву, достал очки и стал изучать повреждение.

— Вчера ещё ничего не было, — сказал он и обратился к курсанту. — Сынок, сбегай к Митричу, принеси краски, бечёвки и кусок толи. Понял?

— Есть, товарищ генерал! — Курсант козырнул и бросился со всех ног исполнять приказание.

— Ну, где твоя труба, — спросил генерал и заглянул в канаву. — Эх, Орешко, Орешко! Ну-ка, прыгай в канаву и цепляй трубу верёвкой, я тебя вместе с ней вытащу.

— Не надо, товарищ генерал. Всё сделаем сами...

— Сами... А знаешь ли ты, полковник, что эта липа особенная и другой такой в городе нет? Не знаешь. А возле липы курсанты девушкам свиданья назначают, верно, сынок?

— Верно, товарищ генерал!

— А нам бы всё уничтожить! Всё под откос, а эта липа песенная, вековая, она, полковник, ещё и нас переживёт. А это что?.. Залили под корень асфальтом? Обдолбить асфальт и положить решётку!

— В шестнадцать ноль-ноль совещание по итогам командно-штабного учения, — напомнил Орешко.

— Успеем, — ответил генерал, принимая из рук запыхавшегося курсанта баночку с краской.

— Она, эта липа, ещё будет жить, — бормотал генерал, обихаживая дерево.

Он угадал — липа выжила, зазеленела, зашумела листвою, а он ушёл навсегда, когда ей настало время ронять листву.

Маневка

За окном старого прохудившегося барака свистел и выл осенний ветер. Облысевший клён качался, скрипел и скрёб веткой по стеклу. Низкое, кочковатое, как болото, небо было высвечено октябрьским рассветом, но внизу, среди бараков и буйных зарослей полыни, ещё царила полутьма, лишь кое-где в окнах приземистых и длинных строений загорались огни, и в печных трубах начинал завиваться белёсый горьковатый дым. Бродячие псы лениво поднимали головы и мутными глазами смотрели на первых прохожих, в сараюшках заполошно вскидывали петухи, и повизгивали свиньи.

Сквозь зыбкую полудрёму Маневка слышала эти звуки, но глаза не открывала и не шевелилась. Хотя на уличной стене её комнаты поблескивал иней, ей было тепло. На Маневке и возле неё лежали двенадцать разномастных котов и кошек. С ними она и спала, прогоняя только в жаркие, летние ночи, и когда к ней с ночевой приходил Гришка.

Из-за кошек у Маневки с соседями постоянная война. Кошки гадили в коридоре, орали, когда на них находил любовный стих, и Маневка устроила, в конце концов, для них лаз через окно. Летом кошки беспрепятственно ходили через выбитую четвертушку окна, в холодное время Маневка затыкала дыру старой стёганкой, и блудливые коты, запозднившись, стучали лапами по стеклу и просились на ночлег.

Восемь лет жила Маневка в посёлке, и откуда она появилась, каким сквозняком жизни занесло её сюда, никто не знает, да и не интересуется. Все восемь лет Маневку окружают кошки. Они находили её сами, эти беспризорные и бездомные существа, выброшенные хозяевами на улицу, чёрные как уголь, рыжие как пламя, пёстрые как звёздная ночь. Имён своим сожителям Маневка не давала, и каждого из них называет «Эй, ты!» И удивительно, что на это обращение отзывалась именно та кошка, на которую в это мгновенье указывала хозяйка.

Под тёплым кошачьим одеялом Маневке тепло даже в зимние ночи. В комнате так холодно, что дыхание обжигает глотку, а кошки навалются на неё и греют. Правда, запах в комнате острый, уксусный, на полу разбросаны клочки шерсти, потолок задымлен до черноты, дверь болтается на одной петле. Печку Маневка топила раз в неделю, варила ведёрную кастрюлю борща или супа на говяжьих костях и вместе с кошками хлеба, когда чувствовала голод.

Будильника у Маневки нет. Но по шуму и стукотне в бараке она знала, что время сейчас, где-то, полвосьмого, нужно вставать, но вставать не хотелось.

— Маневка! Вставай! — заорала под дверьми соседка. — Тебя коты не задушили там?

— Встаю, Фрося, встаю, — лениво сказала Маневка и повернулась на бок.

Кошки недовольно зауркали.

— Вам что, — сказала Маневка. — Можно дрыхнуть, а мне на работу, ну-ка, давайте, расползайтесь!

Открыв глаза, она вспомнила, что вчера приходил Гришка, выцганил последнюю пятёрку, а до получки целая неделя. В кошельке осталось два рубля мелочью, да пустые бутылки в углу под рукомойником. Всё ничего, и денег не жалко, но не пришёл Гришка, хотя и обещал, загулял с кем-то. До полуночи не спала Маневка, всё ждала, слушала, как за тонкой стенкой из сухой штукатурки у соседей работал телевизор, концерт передавали. Коты всю избодали, зовя спать, а она всё ждала. Но Гришка не пришёл.

— Ну, пошли, окаянники! — сказала Маневка.

Первым поднялся рыжий кот, сдвинул все четыре лапы в одну точку, выгнулся, зевнул и, вытянув передние лапы, опёрся на стену, где в чёрной деревянной рамке висели фотокарточки родных и «Благодарственное письмо», которое выдали Маневке в прошлогодний День строителя.

Встав с кровати, она подошла к рукомойнику, плеснула в лицо пригоршню холодной воды, утёрлась, натянула на себя обляпанный глиной комбинезон и забила тяжёлые опухшие ноги в кирзовые сапоги. Уже одетая, присела к плите и стала хлебать прямо из кастрюли позавчерашний суп. Рыжий кот запрыгнул на печку, подошёл к кастрюле и опасно посмотрел на хозяйку.

— Что, жрать захотели? — сказала Маневка и, зачерпнув большой литровой кружкой, вылила хлёбово в небольшой тазик, который был кошачьей кормушкой. Толкая друг друга, кошки расположились вокруг и принялись наперегонки осушать посудину.

— Мань! Идём, что ли! — позвала Фроська.

— Иду, счас...

Маневка придавила крышку кастрюли утюгом, чтобы кошки не сожрали остатки супа, выдернула из окна затычку и вышла в коридор. Запирать двери она не стала, просто накинула щеколду и вставила в петлю деревянную палочку.

На улице глянула на соседку и присвистнула.

— Что, опять хохотальник набок?.. Я чтой-то ничего не слышала.

— Это? — Фроська пощупала под глазом синяк. — Совсем сдурел. Вроде пока ещё не заслужила, а он премирует...

Фроська была моложе мужа на пятнадцать лет и любила весёлые компании. Муж её ревновал и поколачивал иногда за дело, а иногда и впрок, считая, что битьём бабу не испортишь.

— Тебе хорошо, ты — свободная женщина, — сказала Фроська. — Это я в кабале у чёрта старого.

— Какая свободная, — вздохнула Маневка. — У тебя — своё, у меня — своё. Все толчёмся с утра до ночи, конца и края не видно.

Возле дороги, ведущей к заводу из города, бараки расступились, и на открытом всем ветрам поле показались строящиеся пятиэтажные дома.

— Слушай, Маневка! Если тебе квартиру вырешат, ты куда кошек денешь? Вчера вон и предцехкома говорил, мол, не дадим Маневке Селезнёвой квартиру, если кошек в дом потащит. Пусть сперва свой зоопарк ликвидирует...

— Ну его подальше! — сказала, задетая за живое, Маневка. — Ему-то квартиру вперёд всех дали. Лучше бы за собой смотрел, а то найду на него управу! Вчера вокруг печки глину на горбу таскала, тачка сломалась, а сварщика нет. А он, грит, не засчитаю, один ходок обвалился. А я как замажу? Вода холодная, глина чёрт знает где...

— Да ну его, Маневка, — беззаботно сказала Фроська. — Ты ещё не знаешь, что вчера наши бабы — Сметаниха, Корпачиха и Любка Косая над Сашкой Воробьём учудили...

— А чо?..

— Скинулись бабы, купили водки, принесли бражки, выпили — скучно. Вышли из барака, сели на завалинку, глядят — Сашка идёт. Они тары-растобары, попросили принести гармошку. Пошла пьянка-гулянка. Очумели совсем, сама знаешь — у Корпачихи бражка с табаком, в голову бьёт. Тут кто-то из баб и говорит Сашке, мол, чё, тебе пятьдесят лет, а ты без бабы, ни разу не женат. Слово за слово, решили бабы посмотреть, чё у него в штанах, а то болтают на посёлке, что у него там пустое

место. Свалили Воробья, связали, стащили штаны, выкрасили всё хозяйство суриком и вытолкнули мужичонку на улицу. А у него, представляешь, всё наголе, народ в хохот. Участковый забрал его, куда-то увёз... — Фроська захохотала.

— Бесстыдницы, — сказала Маневка. — Как же можно позорить человека.

— Человека, анчутка его заberi! — насмешливо и зло сказала Фроська. — Скажешь, и Гришка твой — человек? Присосался, как клоп, к бабе, а ты и уши развесила. Попадёт к Корпачихе на чумную бражку, они ему ещё почище устроят.

Разговаривая, женщины не заметили, как зашли на территорию кирпичного завода. Маневка хотела сказать Фроське, чтобы та не совала нос не в своё дело, но только махнула рукой и пошла к своей обжигательной печи, возле которой стоял, нацеливаясь, как журавль, на поддоны с кирпичами одноногий кран, и бульдозер отгребал с погрузочной площадки щебёнку и сваренные в ошмётки груды кирпича.

Маневка схлестнулась с Гришкой случайно, на дне рождения у Фроськи, ещё два года назад. Она запоздала к началу гулянки, и когда вошла, прижимая к груди свёрток с подарком, все места вокруг стола были заняты. Фроська по-соседски не обратила внимания на Маневку, только кивнула головой, один Гришка поднялся и уступил ей свою табуретку, а сам устроился рядом, на краешке дивана. Гришка был без жены, в красной рубахе и с гармошкой.

Что говорить, умел он зажечь народ, пальцы так и летали по планкам, глаза сияли масляным блеском. Гришка завораживающе поглядывал на Маневку и прижимал горячее бедро к её ноге.

Беспамятно разгулялась Маневка, пела, плясала, только стукоток стоял, и на плечах подпрыгивали бусы. Забыла скукоту своей одинокой жизни, обычно неподвижные, как замерзшие тараканы, коричневые маленькие глазки метали на гармониста зазывные искры, и Гришка подхватился с дивана, пошёл с гармошкой в руках вокруг неё, да вприсядку. Славный был вечер, счастливый краешек жизни вспыхнул в тот день перед

Маневкой и поманил за собой туда, куда она давно зареклась ходить.

Посёлок — что худое сито: на следующий день все сороки-пересудчицы растрезвонили, что Гришка у Маневки ночевал. Вечером Гришкина сударка-Клавка заявила с ребяtnей своей сопливой — разбираться.

Маневка только пришла с работы, замочила в корыте комбинезон, в тазу женские постирушки. Вдруг — дверь настежь, Клавка с порога орёт:

— Он меня, гад, вчера специально спойл, чтоб одному на гулянку удрать, к тебе под бок подвалиться!

Кошки от крика брызнули в разные стороны, но Маневка не испугалась, вытерла руки и подала Клавке табуретку, а пацанам сунула конфет.

— Не плачь, Клава, — сказала она. — Чему быть — тому не миновать. Любит меня Гриша, и я его. Уж тут ничего не попишешь...

— Это как любит? — задыхнулась от злости Клавка. — Да совесть у тебя есть? Я же его, обормота, на ноги после лагеря подняла, костюм купила, штиблеты, он этому, — она ткнула пальцем в черноголового ползуна, — отец родной! Кто мне всё вернёт?..

Маневка помялась, подошла к комоду.

— Сколько мы тебе с Гришей должны? — спросила она.

— Да он вчера последний червонец упёр, — воскликнула Клавка, зорко глядя на Маневку. — Детям жрать нечего, он на базе что ни получит — всё пропьёт, нитки стырит, продаст — и опять ни копейки не вижу.

— Вот тебе двадцать пять рублей, — сказала Маневка, подавая Клавке деньги. — И никаких других делов.

— Может накинешь десяточку, — сказала Клавка, — выхватывая деньги из руки Маневки. — Вон эта орда, ведь ни копеечки алиментов на всех троих не получаю.

— Что за шум, а драки нет? — раздался весёлый Гришкин голос. — Мне Сметаниха говорит, что ты Маневку бить пошла. Правда, что ли?..

Гришка был на крепком взводе, но на ногах стоял прочно.

— А это что? — он заметил в руке у Клавки деньги и ловко, одним движением, выхватил их. — Гляди-ко — четвертак!..

— Маневка дала, — сказала Клавка.

— Не тебе дала, а мне. — Гришка протянул Клавке десятку.

— Дуй в магазин и без пузыря не возвращайся.

Остальные деньги Гришка сунул в свой карман.

— Ты зачем ей деньги даёшь? — строго спросил он, когда Клавка выскочила за дверь.

— Так чтобы от тебя отвязалась...

— Я что, малой? Сам не знаю, куда идти? А ну, брысь, мошкара, — он вытолкал ребятню за дверь и накинул крючок.

— Неудобно как-то, — задыхаясь, зашептала Маневка, — божий день ведь...

— Ерунда! — Гришка теснил Маневку к кровати. Свободной рукой он шибанул рыжего кота, который лежал на подушке. — Брысь!

— Ты чё дерёшься! — Маневка вывернулась и подхватила кота на руки. — Не смей кошек забижать!..

— Фу ты, чёрт! — Гришка сел на кровать и захохотал. — Ну, прямо цирк у тебя, Маневка!

— Пускай! Тебе-то что. Посмотри, Гриша, какой он умный.

— Да ну его, — Гришка щёлкнул рыжего кота по уху. — Задушат они тебя как-нибудь...

Маневка положила кота на подушку и подсела к Гришке.

— Скоро ко мне перейдёшь, а?

— А чё переходить-то? Я уже перешёл. Всё на мне. Пальто ещё месяц назад пропил. Возьму гармошку — и тут! Так что, переехал, Манева. Весь твой...

Клавка мигом обернулась. Принесла бутылку, весёлая стала, песню запела про одинокую рябину. Маневка накормила пацанов.

Бутылка опустела. Гришка достал из кармана червонец, запустил Клавку по второму кругу в магазин. Пили, гуляли. Утром Манева проснулась, глядит — рядом Гришка, Клавка на полу с ребяташками, коты — кто где: в головах на кровати, на полу, на печке.

И понеслась жизнь — неделя пролетела, деньги у Маневки кончились, и Гришка с Клавкой сплыли к себе домой. В аванс опять заявились, в получку — опять.

Маневка не пила почти с ними, они всё лакали. Клавка никаких видов на Гришку не имела: напьётся — и на пол кверху воронкой, а Гришка на кровать, разгребёт кошек — и к Маневке. Весёлая жизнь, но и шоколад приедается. Хорошо хоть, от пьянки у Клавки живот заболел, уползла домой вместе с ребятней. А Гришка рядом.

— Может, уедем отсюда, Гриша, — говорила Маневка. — У меня в деревне дом, хороший ещё, пятистенки. Пойдём в совхоз работать.

— Да я насквозь городской, Маневочка! — смеялся Гришка. — А в совхозе и быка от коровы не отличишь. Опять же, работа пыльная.

— Жили бы своим домом, — гнула своё Маневка.

— Вот ещё! — вскидывался Гришка и хватался за гармошку. «Подгорной» да ласками отворачивал в сторону неприятный для себя разговор.

А Маневке всё неймётся, особенно, когда она одна, без денег, в холодной комнате, со своим кошачьим хозяйством. «Не любит он меня, ох, не любит» — думала она. Не выдержала, пошла к бабке одной советоваться. Та взяла трояк, достала иголку, пошептала на неё, поплевала в угол и сказала: «Сунь незаметно к нему в одежду — и твой будет».

Но старушечья присушка не помогла. Гришка жил то у Клавки, то у Маневки, у кого были деньги, там и обретался.

«Гад, вот гад, и в каком только болоте вырос», — обиженно думала Маневка, но ничего не делала для того, чтобы расстаться со своим ветреным хахалем. Посёлковские смеются, а ей хоть бы что. За Клавкиными пацанами ходила, обновки им покупала. Так и летело время, катилось день за днём, мелькая то светлым, то тёмным боком.

Ходки достались трудные, на повороте печи. Тачка валялась, как и вчера, с отломанной ручкой, и Маневка вёдрами натаскала в корыто глины, воды, сделала замес и начала закладывать

проходы, в которые загружались в печь сырые кирпичи и выгружались обожжённые.

Ходок был покосившийся, с обваленным сводом. Пока забила все дыры, замазала глиной, чуть руки не отпали.

Пошла к сменному мастеру. Он сидел в красном уголке, щёлкая облупленными костяшками счётов, что-то записывал.

— Чего тебе? — буркнул мастер, не поднимая головы. Он был с утра зол, как бобик. Садчики и выставщики кирпича — условники и принудбольные ЛТП — заваливали план, а это било по всем и, в первую очередь, по его карману прямой наводкой. Мастер подсчитывал расход мыла, рукавиц, чуней, газводы — сальдо было тоже неутешительным, опять же не в его пользу.

— Ну, чего маешься? Говори, — повторил мастер и откинулся на скрипучем стуле.

— Так тачка, Сергей Герасимович, сломанная, — потупясь, сказала Маневка. — Ручка отлетела ещё вчера...

— Я сказал сварщику. Сегодня будет, — проворчал мастер и снова защёлкал костяшками. Маневка молчала. Шла она сюда — зло кипело, думала, выскажет всё напрямую, а открыла дверь, будто пар из неё выпустили, присмирела, поникла. Тем более — мастер работал, считал. Начальству Маневка никогда не перечила, уважала его, особенно тех, кто в форме — милиционеров, военных.

— Говорят, квартиры будут скоро вырешивать, — сказала Маневка.

— Будут. Как решат, так и скажут, — сказал мастер. — Там на тебя в профкоме заявление от соседей. Будто заразу в доме развела, котов облезлых собираешь...

— Так это не мои, — решила схитрить Маневка. — У меня один Рыжик. А с кем он путается, я не ответчица. Он их сам, этих кошек, в комнату заманивает. Я ему говорила, а он не слушает...

Мастер недоуменно покачал головой.

— Ты не куролись. Разве с котами разговоры ведут?..

— Он всё понимает, только блудливый. Два года всего. Вот постареет, успокоится...

— Ну, не знаю, — махнул рукой мастер. — Не мешай! Профкомовские пусть разбираются...

Выйдя от мастера, Маневка зашла в раздевалку, достала из сумки в шкафчике старый ржавый сухарь, размочила в воде и съела. На выходе у сатуратора выпила кружку газводы, огляделась по сторонам.

Тихо в цехе. Только изредка взвизгивали электролафеты, подвозящие вагонетки с полками кирпича из сушильных камер, да с грохотом выкатывались из раскалённого нутра печи вагонетки с обожжённым кирпичом.

Подошла к незаделанному ходку, послушала, как переругиваются с выгрузчиками эковские оторвы-садчицы, подхватила крючком корыто с остатками замеса и начала заставлять ходок кирпичами.

Перед обедом пришёл слесарь. Протянул провод, прихватил сваркой ручку к тачке и ушёл в свою слесарку. С тачкой стало полегче. Маневка мигом навозила глины, кирпичей к оставшимся ходкам, хотела их заделать без обеда, но садчицы, решившие поесть, увлекли Маневку за собой в раздевалку.

— Идём, тётя Маша! Зойке посылка пришла, на всех хватит.

Садчицы — молодые девки лет по двадцать — работали на печи уже полгода, спецкомендатура была в посёлке, там они и жили в бывшем общежитии, вокруг которого построили забор с колючей проволокой наверху по всему периметру. Девки, несмотря на годы, были народом битым, повидавшим виды, нюхнувшим тюремного воздуха. Их освободили из лагеря с условием отработки оставшегося срока на заводе.

Маневку они звали тётей Машей, она была старше девчат на двадцать лет и смотрела на них, не понимая, что это за люди, и откуда взялись. Тюрьма, через которую они прошли, казалась Маневке чем-то загадочным и страшным, вроде самой смерти, и она никак не могла представить, что в ней можно жить.

Сидели они по разным статьям. Зойка — карманница, Розка — растратчица, Любка — за кражу носильных вещей.

По пути к ним нацелились примазаться выгрузчики, но девки их отшили и зашли в женскую раздевалку. Постелили на скамейку доски, поверх — газету. Зойка достала поллитровку.

— Двадцать один год отмечаю, — сказала она, наливая в единственный стакан водку. — Девятнадцать в «Метрополе» отмечала — цветы, иностранцы, балдёж. А через две недели чёрт дернул — сняла у одного фраера бумажник со скулы¹, да очиститься не успела. Упал он на пол прямо в кабаке, ногами дрыгает, кричит: «Там партбилет!» А я документов никогда не беру, зачем они?..

Стакан прошёлся по кругу, Маневка пить отказалась, сидела тихонечко, ела Зойкины московские гостинцы и слушала.

За дощатой перегородкой, в мужской раздевалке, переговаривались выгрузчики. Все ждали получку, и разговоры были о ней.

Внезапно в дверь кто-то затарабанил.

— Маневка! — раздался голос Клавки, переходящий в плач.

— Маневка! Несчастье-то какое! Ох, несчастье!

Девчата быстро спрятали бутылку в шкафчик для одежды и сбросили с двери крючок.

В раздевалку ввалилась зарёванная Клавка. От неё на Маневку пахло запахом перегара и пота.

— Ах, Маневочка! — запричитала Клавка, опустившись на скамейку. — Нету нашего Гришеньки! Помер, вчера нашли уже ночью в овраге. И что его туда унесло! Видать, чуял свою смертоньку!..

— Как помер? В каком овраге? — заикаясь, вскрикнула Маневка, до которой только-только начинал доходить смысл случившегося несчастья.

— Пошёл ещё к Корпачихе, уже вечером, за бражкой и не вернулся. Я думала, он у тебя, а во втором часу ночи прибегают, говорят, в овраге он. Общежитские с девками гуляли в посадках и наткнулись. В морге уже Гришенька!.. Что делать, как хоронить? Денег-то рупь семьдесят!..

Клавкины вскрики доходили до Маневки будто сквозь глухую ватную стену. Левую половину груди сжало, в глазах потемнело, она покачнулась, но её подхватили девчата.

¹ «Со скулы» — из внутреннего кармана.

— Вот что, девки! — сказала Зойка, усаживая Маневку. — Надо людям помочь. У Маневки, наверно, тоже ни копя.

Девчата покопались в своих сумках и собрали тридцать рублей.

— На! — Зойка сунула деньги в Маневкину ладонь. — Этой стерве не давай. Расходуй только на Гришку!

Садчицы ушли, а Маневка недоуменно смотрела на трешницы в своём кулаке.

— Гроб надо, оградку, место на кладбище, — заговорила Клавка. Она уже отплакалась и смотрела на деньги.

— Сама всё сделаю, — сказала Маневка и засунула тридцатку в карман комбинезона.

Хоронили Гришку в морозный осенний день, когда всю землю выбелил иней. Народу было немного: два мужика с базы, где Гришка работал, свои барацкие — Фроська, её муж, Сметаниха, Корпачиха. Маневка, зажмурив глаза, поцеловала покойника в ледяной лоб и отошла в сторону, к Фроськиным ребятишкам. Черноглазый, в Гришкину породу, мальчик подошёл к ней и уткнулся в юбку. Маневка взяла его на руки. Мальчонка доверчиво прижался к ней всем тельцем и обхватил шею руками. От этого прикосновения сердце у неё защемило, и она заплакала.

— Маневка, ты чего ревёшь? — спросил мальчик.

— Холодно, вот и плачу, — ответила она, слизывая слёзы с губ.

— А я не мёрзну. Ты мне тёплое пальто купила. А к тебе пойдём конфеты есть?

— Пойдём, милый, пойдём, — торопливо сказала Маневка. — Чай будем пить с конфетами, и с котом разрешу поиграть...

Гришку помянули, и после второго стакана, когда баб потянуло на песни, Маневка с мальчиком пошли к ней домой. Они шли по тёмной улице между бараками, мальчик смотрел на небо и считал крупные, по-морозному яркие, звёзды. Он не понимал, что произошло в этот день, и не знал, что его ждёт, но ему нравилась тёплая и шершавая рука женщины, которая шла рядом с ним.

Миллион

В автобусе было тесно и жарко. Притиснутый к задней стенке, Масляков ощупывал в кармане потными пальцами сторублёвую бумажку и решал трудный вопрос: платить или не платить? Голоса кондуктора, призывающего к обилечиванию пассажиров, не было слышно, сотенная была последней, и всё это возбуждало в Алексее Борисовиче нехорошие и трусоватые мысли о безбилетном проезде. Один раз, когда где-то в середине автобуса люди зашумели, он, напуганный этим, уже было достал свою мятую сотку, но тревога оказалась ложной, и Масляков засунул денежку поглубже в карман.

Автобус гремел железными внутренностями, скрипел и дребезжал разбитым кузовом, и все сорок минут езды до своего микрорайона прошли для Алексея Борисовича в тягостном борении между страхом быть разоблачённым и оштрафованным и нежеланием расстаться со столбником. Конечно, совесть бывшего советского инженера взывала к оплате, но когда толпа особенно жестоко напёрла на него, впечатывая грудную клетку в стальной поручень, возникла оправдывающая мысль об автобусной несправедливости. Ведь платят все поровну, но одни едут вольготно, сидя, а другие — на одной ноге. Сорокапятилетнему Маслякову, естественно, место никто не уступил, так за что платить полную цену?.. Это была явная социальная дискриминация, и не такая уже мизерная, если учесть, что последние три месяца Масляков каждый день мотался из одного конца города в другой в поисках работы. И всё впусую, как и сегодня.

В середине весны НИИ, где он двадцать лет проработал сначала инженером, потом ведущим инженером, основательно село на финансовую мель, и половину отделов, в том числе и тот, где работал Масляков, сократили. Протестующего шума не было, так, поговорили, кое-кто в негодовании сплюнул в сторону портрета красномордого здоровяка со счастливой улыбкой на лице, который висел в конференц-зале, где директор

огласил приказ, и все заторопились по домам. Масляков зашёл в отдел, положил в портфель электрокипятильник, фарфоровую кружечку, из которой, бывало, попивал кофе во время обеда, достал из стола общую тетрадь в клеенчатой обложке, где была почти готовая кандидатская диссертация, и тоже сунул её в портфель, оглянулся по сторонам и вышел вон.

Первое время вынужденное безделье его не особенно тяготило, он отоспался, вылежался, отдохнул почти по отпускному, но вскоре на ум стали приходить тревожные мысли. Перед ним явственно замаячил непростой вопрос: что делать дальше, как жить? Изредка встречаясь с бывшими сослуживцами, Масляков с унынием замечал, что и те маются неприкаянными, по специальности нигде их не берут, вместо кульмана предлагают в лучшем случае метлу и совковую лопату. Только двое или трое извернулись. Занялись спекуляцией барахлом, заделались бизнесменами и чувствовали себя вполне вольготно.

Прошёл один месяц, другой, третий... От бесполезных мотаний по городу в поисках места у Маслякова начали пошаливать нервы, после каждого очередного отказа стало нехорошо стискивать сердце, в отдел кадров он уже входил несмело, как-то бочком, робко, разговаривал заискивающим голосом, торопился вывалить перед кадровиком свои достаточно истрепавшиеся за время хождения документы: паспорт, трудовую книжку, диплом, стопку авторских свидетельств. Да и сам Масляков за время своих унылых хождений порядочно поистрепался. Пиджак залоснился на рукавах и лацканах, на обшлагах не хватало пуговиц, карманы штанов пузырились, но дело было даже не в этом. Просительство и искательство наложили на него отпечаток обречённости, какой бывает только у закоренелых пьяниц. Черты лица, прежде безмятежного и уверенного, стали жёстче, от крыльев носа к углам губ пролегли две глубокие морщины, глаза приобрели лихорадочный блеск, волосы поредели, а при разговоре появилась привычка покашливать. Масляков слегка забомжевал, и это отпугивало и настораживало работодателей. Диплом, авторские

свидетельства, беспорочная двадцатилетняя служба на прежнем месте значения не имели, ему отказывали, в лучшем случае приглашали заглянуть этак месяцев через пять-шесть.

Сегодня Масляков сунулся было по объявлению на галантерейную фабрику, где требовался агент по сбыту продукции, но, потолкавшись среди двух десятков претендентов, которые толпились в коридоре, безнадежно махнул рукой и почти весь день бесцельно бродил по центральной улице города, тянул время, чтобы вернуться домой попозже. Он долго сидел на скамейке в сквере, тупо смотрел на снующих людей, вереницы машин, вывески, потом сорвался с места и пошёл на берег Волги, где так же долго и бесцельно смотрел с высокого берега на широкую воду, мост, редко проплывающие суда и вальяжно расхаживающих по аллее голубей. Всё это существовало как бы отдельно от него, исчезло, проносилось мимо, не задевая сознание и души, где были только усталость и пустота.

«Эх, заснуть бы сейчас, — лениво подумал Масляков, затягиваясь подобранным на асфальте сигаретным окурком, — заснуть бы сейчас лет на двести-триста. Заснуть, чтобы не видеть этого бардака».

Это была первая и единственная возникшая у него за весь день мысль, и, усмехнувшись ей, он поднялся со скамейки и пошёл к остановке автобуса.

При возвращении домой самым неприятным для Маслякова местом был подъезд, возле которого постоянно сидели старухи. Раньше он почти не замечал их, проходил, помахивая портфелем, еле отвечал на приветствия пенсионерок. То было раньше. Сейчас же он норовил как можно быстрее и незаметней прошмыгнуть на лестничную клетку.

В квартире пахло мылом, шумела стиральная машинка, Ольга на балконе развешивала мокрое бельё. Увидев мужа, она крикнула:

— Поддай прищепки! Они в кладовке.

Масляков разулся, взял прищепки и пошёл к жене. На балконе он неловко потоптался и, наконец, как бы через силу, пробормотал:

— А у меня, понимаешь, опять ничего не вышло.

Ольга погладила мужа влажной рукой по щеке.

— Ничего, Лёша. Со временем всё образуется, ты ведь не виноват, что так всё случилось... У нас хоть резни да холеры пока нет. А работа найдётся...

Масляков сморщился, зашмыгал носом и отвернулся. Да, подумалось ему, может быть, всё и обойдётся, но когда это ещё будет. Ольга всё-таки молодец. Другая бы заела за безденежье, а эта тянет безропотно на свою учительскую зарплату его и дочь, которая сейчас гостила у бабушки.

— Ты, наверно, ругаться будешь, Лёша, — виновато сказала жена, когда они ужинали. — А я ведь не устояла, продала то кольцо, что ты мне из Египта привёз. Оно мне ни к чему, пальцы опухли, не лезет. А цену хорошую дали. Вот мы и с деньгами.

Масляков вздрогнул. Деньги, деньги... Куда ни сунься, всюду деньги.

Вечером они смотрели телевизор. Сначала какой-то американский детектив с полусотней убийств, потом «Лотто-миллион». Крутился барабан, метались шары, ржала и хлопала в ладоши нанятая на вечер публика. Потом ведущий объявил, что кто-то в Чебоксарах выиграл шестьсот шестьдесят миллионов рублей.

— Вот повезло! — вздохнула Ольга.

— Если уж что и иметь, так лучше миллион долларов. Это всё-таки надёжная сумма, — задумчиво произнёс Масляков. Дальше по телевизору показывали ещё один фильм, но Алексей Борисович смотрел его вполглаза. Слово «миллион» отпечаталось в его мозгу, как протекторы тягача на мокрой глине, и что бы там ни мельтешило на экране, мысли неумолимо возвращались к одному и тому же — к миллиону.

«Конечно, — думал он, лёжа на диване рядом с женой, которая перед сном всегда читала фантастику. — Миллион — это хорошо, это здорово, но сумма устрашающая, где взять такую? Заработать её за жизнь не заработаешь... Украсть?.. Грабануть какой-нибудь банк?.. Нет... Грабёж, кровь, тюрьма... Так и миллиона не захочешь... Лучше, конечно, занять

миллион нечаянно, ну, найти, что ли... Вон в газетах пишут, что бизнесмены в кейсах большие суммы носят. Допустим, подпил бы один такой и потерял миллион. А я бы нашёл. А почему бы и нет?... Ведь везёт же другим. Миллион... Если по сто долларов, это сколько пачек будет?... Сто пачек... Пожалуй, в кейс не войдут, хотя сегодня какой кейс. Да, найти бы где-нибудь в кустах... А дальше что делать с миллионом?..»

Масляков открыл глаза и покосился на жену.

— Оля, допустим, у меня появился миллион долларов, что бы мы с ними стали делать, на что тратить?

Жена оторвалась от книжки и рассмеялась.

— Спи, выдумщик! Таких забот у нас никогда не будет.

— Ну а вдруг... Должен же я с женой посоветоваться, ведь деньги-то у нас всегда были общие.

— Этот свой миллион можешь тратить, как хочешь, — улыбнулась жена. — Погоди, мне две страницы осталось дочитать...

— Перво-наперво, — сказал Масляков, — деньги нужно надёжно спрятать. Врут, что в банках доход. Убегут, и концов не сыщешь. У меня мать деньги всегда в валенок прятала... Нужен, конечно, дом, настоящий дом комнат на двенадцать, с участком в гектара полтора леса, чтобы и грибы, и ягоды... Машины две, тебе и мне... Нет! Сначала нужно уехать отдыхать. Сначала в Париж, потом в Рим, в Мадрид, на Багамы... Уехать на полгода... А то ты у меня, кроме Казанского вокзала, ничего не видела. В Париже осенью хорошо!.. Приделись бы, причупурились — и дальше!.. К весне бы вернулись и за дом взялись... Матери твоей помочь бы надо... Или к себе возьмём?... Можно и к себе... катер купить бы надо... Представляешь, по Волге... Да...

Жена захлопнула книгу, выключила свет и повернулась лицом к стене, а Масляков, засыпая, ещё долго лепетал о будущих поездках, покупках, о каком-то рысаке, ферме, пока окончательно не заснул с блаженной улыбкой на лице.

С этого момента, когда Алексею Борисовичу пришла мысль о миллионе баксов, жизнь его заметно повеселела. Он даже сходил в парикмахерскую и постригся, стал надевать новый костюм и

рубашки, которые прежде тщательно берёг. Отказы в приёме на работу, которые сыпались на него с прежней неотвратимой регулярностью, уже не огорчали. Он улыбался в лицо кадровику, презрительно хмыкал и, выходя, громко хлопал дверью. Как-то само собой получилось, что в душе Масляков стал чувствовать себя миллионером, и это приносило ему неизведанное доселе наслаждение. Мысль о миллионе согревала и тешила его в бесцельных блужданиях по городу, в очередях, в толкучке горячего, как чайник, автобуса.

Так прошло несколько счастливых дней, занятых мечтами о далёких странах, о встречах с тем, что когда-то им было увидено по телевизору или прочитано в книгах. Масляков по вечерам увлечённо разглядывал потрёпанный атлас мира, прикидывал маршруты будущих путешествий и умиротворённо отходил ко сну, где его дневные грёзы как бы воплощались в явь, он ехал, летел, плыл, куда ему хотелось, и ничто не стесняло его желаний.

Неприятность, как всегда это бывает, выскочила невесть откуда и неожиданно. Позвонил институтский приятель и сообщил, что умер их бывший начальник отдела, которого тоже сократили вместе с Масляковым.

— Слушай, так Петровичу всего пятьдесят пять?.. — промямлил в трубку Алексей Борисович.

— Мотор не выдержал. Что тут удивительного?.. Подходи к двум часам.

В глухом дворе панельных пятиэтажек стояли катафалк и автобус, возле подъезда толпились молчаливые люди. Масляков поднялся на третий этаж, вошёл в открытые двери квартиры. Зеркало в прихожей было занавешено, в комнате на двух табуретках стоял гроб. Рядом с ним сидела женщина в чёрном платье и чёрной косынке. «Жена», — понял Масляков и покосился на гроб. Не решаясь сразу посмотреть на покойника, он сначала глянул на ноги и увидел выпирающие из узкого гроба чёрные туфли со стёртыми подошвами, затем серые брюки, край пиджака, восково-жёлтые скрещенные на груди руки, галстук, высоко поднятый подбородок, острый, выступающий над

запавшими щеками нос и плотно сомкнутые веками глубоко ушедшие внутрь черепа глазницы. У изголовья, озаряемая пламенем свечи, стояла икона. Масляков судорожно сглотнул подкативший к горлу сухой комок и перекрестился.

Окна в комнате были плотно закрыты, и в спёртом воздухе витал запах тлена. Здесь, в этой комнате, смерть провела черту, отделившую мёртвое от живого, вечное от временного, истинное от случайного, произошёл разрыв в течении времени, возникла устрашающая чёрная дыра, заглянув в которую Масляков содрогнулся и ощутил ледяной озноб.

Нашупывая рукой перила лестницы, он спустился вниз, глубоко вздохнул и прислонился к стволу берёзы. Спелая, кое-где уже тронутая желтизной листва чуть слышно шумела на ветру, кора дерева была на ощупь жестка и колюча, корявые корни жадно вцепились в бесплодную городскую землю, а рядом из распахнутых настежь дверей показался край гроба, взмахнул чёрными крылами шопеновский марш, провожающие стали садиться в автобус, и траурный кортеж сначала медленно, потом, всё быстрее и быстрее набирая скорость, помчался по улицам осеннего города.

После поминок, не сговариваясь, Масляков с приятелем зашли в магазин, купили бутылку водки и спустились к Волге. На пляже было пусто, ветер гнал по песку начавшую уже опадать листву, серые волны нехотя накатывались на бетонные плиты.

— Ну, что ж, помянем Петровича, — сказал приятель, наполняя бумажный стаканчик. — Путёвый был мужик во всех смыслах. И как человек, и как инженер. И ведь как помер! Не болел никогда. Помнишь, в прошлом году в волейбол играли, как лось прыгал. Это всё жизнь. Выкинули из института, три месяца — и спёлся. Я на него посмотрел в гробу и о себе подумал. Мне, Борисыч, тоже надоело жить, устал, понимаешь, устал я жить, будто не сорок мне лет, а все сто!.. Нету у меня интереса к жизни. Мельтешат вокруг, как тараканы, бизнесмены, рэкетеры, просто рвань, а человека не видно...

Водка была тёплой, вечер тусклым, зелёная грязная вода бугрилась волнами, на которых покачивались грязные и обтрёпанные, будто нищие беженцы, молчаливые чайки.

— Выдь на Волгу!.. — воскликнул захмелевший приятель. — Вышел. Ну и что?.. Огромная вонючая лужа, в которой появилось чудо-юдо, бледная рыба поганка по кличке «душман». Перегородили Волгу десятком плотин, и не течёт она никуда, болеет и гниёт. Так, брат, и вся Россия. Сначала одни её мурыжили семьдесят лет. Теперь другие мурыжат. Эх!..

— А меня знаешь, что сегодня поразило, — задумчиво сказал Масляков, морщась от водки. — Не смерть даже, нет!.. Кого сейчас удивишь этим. Меня поразила надпись на железной пирамидке с крестом, что Петровичу поставили. Вернее, не надпись, а цифры — 1949 - 2004. Цифры понятно — год рождения, год смерти, а вот тире, чёрточка между ними. В этой чёрточке вся жизнь его уместилась, вся!.. И детство, и юность, и учёба, и работа, и любовь, и ненависть — словом, вся жизнь. Если хочешь, это надгробное тире, как бы зачеркнувшее человеческую жизнь, и содержит в себе весь смысл нашего бытия. Как ни бейся, как ни гоношись, но придёт нечто, что сильнее нас, и всё зачеркнёт, как ошибку.

За разговорами они просидели на берегу до темноты. Когда Масляков вернулся домой, Ольга уже спала. Алексей Борисович, смущённый своей задержкой, быстро разделся и юркнул под одеяло. От жены веяло уютным домашним теплом, из сумерек засыпающего сознания привычно всплыла мысль о миллионе, о том, как он его будет тратить. Качнулись зовущей бирюзой волны Ионического моря, зашелестели паруса яхты, калейдоскопом промелькнули панорама Парижа, развалины Колизея, силуэт Виндзорского замка, и вдруг, будто чья-то невидимая рука смешала эту разноцветную мозаику. Невесть откуда пахло сыростью из разверстой могилы, послышался стук падающих на крышку гроба комьев земли, закачалась железная пирамидка-памятник с убийственной чертой между двумя цифрами, и, всхлипнув, Масляков очнулся от дрёмы.

Жена тоже проснулась и тревожно спросила:

— Что с тобой, Лёша? Может, сердце?

— Да нет, — ответил Масляков, поворачиваясь на спину. — Так, мысли всякие... Знаешь, Оля, если бы у меня был миллион, то ни в какие Парижи я бы не поехал. Что толку?.. Только деньги профукаешь да заразу какую-нибудь подхватишь. Нет, Оля, на эти деньги нужно храм выстроить. О Боге мы позабыли, вот все и беды от этого. Обязательно нужно храм построить, вон на пустыре у нас в микрорайоне, где хотели кабак строить, даже яму под фундамент выкопали...

— Какой ты у меня ещё ребёнок, Лёшенька, — вздохнула жена. — Всё мечтаешь.

На следующий день Масляков окончательно укрепился в мысли о строительстве храма. Он не пошёл по очередному адресу в поисках работы, побывал в церкви, первый раз за всю жизнь. По деревянным истертым ступеням Алексей Борисович поднялся на паперть, протиснулся сквозь толпу внутрь и умилился сердцем, увидев торжественное убранство храма, мерцание свечей перед иконами, людей, погружённых в созерцание недоступного и вечного, перед чем всегда, подобно мотыльку перед ярким светом, трепещет человеческая душа. Запел церковный хор, мелодия ветхозаветного псалма, в котором Масляков не разобрал ни слова, была так чиста и пронзительна, так благолепна и свежа, что у него на глазах выступили слёзы неизведанного доселе восторга от ощущения причастности к великому таинству. Вместе с тем Алексея Борисовича смущало и угнетало то, что он был среди молящихся не то что чужим, но всё равно каким-то посторонним. Все крестились, клали поясные поклоны, шептали слова молитвы, а он стоял столбом и только озирался вокруг. Какая-то старушонка жёстко ткнула его сухим кулаком в спину и прошипела:

— Чего лупишься, нехристь!

Смутившись, Масляков начал пробираться к выходу.

Вечером он пошёл на пустырь. Солнце садилось, его заходящие лучи золотили края плотных белых облаков, приобретших очертания кремлей и соборов, медленно и

торжественно плывущих над вечерней землёй. Горько пахло спелой полыньёю, под ногами похрустывали стебли сухой травы. Котлован под фундамент оказался громадной впопыхах вырытой ямой, на дне которой зеленела вода, высились кучи хозяйственного мусора, сносимого сюда жильцами близлежащих домов.

Масляков присел на обломок валявшегося в траве бетонного блока и огляделся по сторонам. Вокруг пустыря стояли девятиэтажки, кое-где в окнах уже горел свет, доносилась музыка. Несмотря на это, микрорайон производил впечатление плохо обжитого места, просто это были поставленные в беспорядке дома, где люди коротали время в бетонных квартирах перед мерцающим экраном телевизора. В сумерках микрорайон вымирал, только изредка, боязливо озираясь, пробежит запоздалый прохожий или проедет, сверкая «мигалкой», милицeйская машина.

«Построить церковь, — подумал Масляков, — и как много здесь изменится! И денег на это дело не жалко. За полмиллиона долларов можно такой храм отгрохать. На века! И мне бы после смерти здесь место нашлось...»

Был четверг, и по телевизору опять показывали очередной розыгрыш тиража «Лотто-миллион». Мелькали шары, на табло высветилась выигрышная комбинация, ведущий передачи выкрикивал умопомрачительные суммы выигрышей.

— Всё! — решил Масляков. — Была не была!

Утром он дождался, пока жена уйдёт на работу, и достал коллекцию марок, которую собирал с детства, даже ходил в кружок, в филателистическое общество, и лишь в последние годы охладел к этому занятию. Среди его собрания было несколько редких марок, за которые ему предлагали весьма крупную сумму денег. Масляков положил их на чистый лист бумаги, просмотрел через лупу и спрятал в чистый конверт. К обеду он уже был при деньгах. Скупщик был страшная жила. Алексею Борисовичу пришлось отчаянно торговаться, и после этой схватки у него болела голова, он не мог сосредоточиться на чем-то определённом. Со стороны Масляков являл собой

странное зрелище. Он шёл по аллее центральной улицы города, размахивал руками, то присаживался, то вдруг вскакивал со скамейки и что-то бубнил себе под нос.

Возле первого попавшегося ему киоска «Лотто-миллион» он остановился в задумчивости, огляделся, потом решительно подошёл к окошечку и протянул в него пачку денег.

Все оставшиеся до розыгрыша тиража дни он жил в лихорадочном возбуждении, которое периодически сменялось длительными приступами страха и неуверенности в себе. Масляков стал скрупулёзно изучать свою внешность, подолгу разглядывал себя в зеркало, находя всё больше и больше изъянов. Сначала ему стало казаться, что у него начал расти нос, и он подолгу стоял у трельяжа, разглядывая себя со всех сторон. Затем ему решительно не понравились уши, явно нелепые, мясистые, как вареники, потом привели в расстройство губы, особенно нижняя, оттопыренная и всегда мокрая.

«Несоответствие носа и ушей, — пронеслось искрой в мозгу Маслякова, — может привести к плоскостопию и утрате миллиона».

Нет, свой миллион он так просто не отдаст, все деньги до последнего цента были расписаны Масляковым на заранее решённые траты. Церковь, дом для семьи, машины, кругосветное путешествие.

Но тот голос со стороны, решительный и уверенный в себе, внушал:

«Болван!.. У тебя дверь из ДСП. Пни хорошенько — и развалится. Ищи-свищи тогда свой миллион».

И Масляков занялся укреплением входной двери. С обеих сторон он нашёл на неё по слою толстой фанеры, врезал дополнительный второй замок, лампочку на лестничной клетке, чтобы не выкрутили, заключил в проволочную сетку.

Много забот доставило оборудование тайников для миллиона. Масляков решил их сделать два, чтобы

рассредоточить капитал и не хранить в одном месте, что было бы весьма удобно для вора. В выдвижном ящике комода он соорудил двойное дно, куда вполне могло войти тысяч пятьсот стодолларовыми бумажками. Остальные деньги Масляков предполагал спрятать под досками пола на балконе, решив, что уж там-то, на виду у прохожих, никто искать их не будет.

Перед розыгрышем тиража, в четверг, он впал в сумеречное, тревожно сонливое состояние. То в голове раскалёнными искрами металась обрывки каких-то слов и фраз, то его сознание надолго заволакивала мутная серая пелена, и он сквозь неё слышал, как сосед с первого этажа, по виду явный бандит, договаривается с дружкой подломать масляковскую квартиру, и только одно их останавливает, что не знают, где искать деньги.

Вечером Масляков включил телевизор и уселся перед ним в кресло. Наконец на экране выскочил бойкий ведущий, закружились в бесовском танце шары и стали высвечиваться цифры выигрыша. Когда выпал последний шар, Масляков возбуждённо соскочил с кресла и с радостными воплями стал кружиться по комнате!

— Миллион! У меня есть миллион!..

...Врач психбольницы с любопытством смотрел на сидевшего напротив него субъекта.

— Ну, Масляков, как вы сегодня спали?

— Нормально. Вот только тараканов здесь много. Один в ухо забрался и щекотится усиками.

— Нет у нас тараканов. Это вам кажется.

— Как нет, есть.

— Ладно, оставим это. Давайте лучше поговорим о миллионе. Он что, действительно у вас есть?

Масляков нахмурился и опустил глаза.

— Ну, так как? Может, его и нет в природе, этого миллиона?..

— Как нет, если я его сам спрятал!.. До него никто не доберётся. Скоро мы его с вами начнем тратить.

— Да?.. Интересно, интересно. И каким образом?

— Надо тут у вас ремонт капитальный сделать, а то поэтому в церковь никто не ходит. Потом, когда, закончим, до Парижа прямым рейсом с женой. Может, и вы с нами, а, доктор?..

Наблюдайте затмение!

Поздней осенью обезлюдел уличный двор, притих, затаился. Сквозь полукруглую кирпичную арку залетает невнятный шум городской улицы, мечутся, подпрыгивая на асфальте, жёсткие листья клёна, который по-осеннему сиротливо притулился к деревянному сараю. Трава налилась тусклой ржавчиной, и ветер, внезапно — по-ястребиному, падая в провал между четырьмя тесно прижатыми друг к другу домами, загоняет в травяной сухостой обрывки газет, конфетные обёртки и другой мелкий мусор.

Исхлестанные дождями стены домов испещрены причудливыми разводами сырости, штукатурка кое-где пообвалилась, и видна красная кирпичная кладка старинной работы.

Все дома в округе снесены, остался только этот, называемый старожилками по привычке к прежним названиям Соколиный порядок — полтора десятка трёхэтажных старинных строений. Когда-то здесь шла бойкая торговля птицей, но это было так давно, что об этом помнит лишь Алфей Казимирович Степковский, который уже около восьмидесяти лет по утрам глядит во двор из окна своей деревянной светёлки, что чудом прилепилась ко второму этажу самого большого во дворе дома.

В светёлке у Алфея Казимировича кухня. В шесть часов утра старые доски начинают скрипеть под ногами хозяина. Степковский ставит на электроплитку чайник, открывает форточку и смотрит на уличный термометр. Потом достаёт из ящика письменного стола общую тетрадь, проставляет день, месяц, час и записывает температуру воздуха. Таких тетрадей у него накопилось штук шесть. Все они от корки до корки

исписаны каллиграфическим почерком и аккуратно обёрнуты в непромокаемую бумагу.

Пока Алфей Казимирович занят своим делом, хромой скворец Димка пьёт воду, охорашивается и начинает призывно стучать клювом в металлическую сетку. Старик берёт клетку и перевешивает её ближе к окну, рядом с обеденным столом.

Тем временем поспевают чай, Димка и Алфей Казимирович завтракают, молча переглядываясь друг с другом. Насытившись, скворец пробует запеть, но, заметив осеннюю желтизну за окном, сконфуженно умолкает и прячет голову под крыло.

Вымыв посуду, Алфей Казимирович говорит Димке:

— Ну-с, а теперь, Димофей Скворцович, пора и на прогулку!..

Он натягивает узкоплечее длинное, почти до пола, осеннее пальто, нахлобучивает на голову шляпу со смятыми полями, берёт клетку и спускается во двор по деревянной винтовой лестнице.

Три раза в день выходят гулять Димка и Алфей Казимирович, если позволяет погода, и двор у них распределён на участки, куда поверх крыш доходят до земли солнечные лучи в разное время дня.

Утром они устраиваются на ящике и долго сидят, разнежась от свежего воздуха и подрёмывая. Алфеем Казимировичем овладевает приятное безмыслие, он ничего не замечает вокруг, голова склоняется на левое плечо, руки безвольно опускаются вдоль туловища.

Вскоре возле него раздаётся сиплое дыхание. Это сосед Степковского — пенсионер Лев Фёдорович Румянцев. Он опускается на принесённый им из квартиры раскладной стул и, отдышавшись, здоровается:

— С добрым утром вас, Алфей Казимирович!

— С добрым, с добрым... — бормочет Степковский. Как всегда, он слегка раздосадован неизбежным появлением соседа, но вида не подаёт.

Румянцев моложе Алфея Казимировича лет на двадцать, но старость как бы сравнила их годы, и они чувствуют себя ровней. Лев Фёдорович болен и безобразно толст. Особенно толсты его ноги, обутые в валенки с разрезанными голенищами, куда не умещаются разбухшие икры.

— Гримасы правосудия!.. — многозначительно произносит Румянцев.

— Опять? — вяло откликается Алфей Казимирович.

— Неизбежно, — подтверждает сосед. — Вчера на мой исходящий четыреста семьдесят шестой пришёл ответ из областной газеты. Некто шелкопёришка Е.Шпагин сообщает, что моя жалоба, дескать, лишена оснований. А вы говорите, что это не гримасы правосудия!..

Стул подо Львом Фёдоровичем пронзительно взвизгивает.

— Да... — неопределённо мямлит Степковский. Он в курсе всех перипетий сложного румянцевского дела, но не вмешивается даже советом. Всё это бесконечно далеко от него, непонятно, бессмысленно и хлопотно, он давно отгородился от окружающего мира стеной своих трудных повседневных размышлений.

Бывшего инженера-сантехника Румянцева занимает проблема непомерного расхода воды из-за неисправностей водоразборных колонок, кранов и унитазов. По вечерам, когда люди возвращаются с работы, он обходит квартиры, собирает сведения о поломках, делает промеры, хронометрирует процесс бесхозного водосброса. Из кармана его пальто постоянно высовывается газовый ключ. Там, где это возможно, он сам устраняет неисправности. Все собранные им сведения обобщаются. Днём Лев Фёдорович занят перепиской с различными инстанциями. Во всех ЖЭКах города этого закоренелого жалобщика люто ненавидят.

С годами круги его ежедневных поисков становятся всё уже, он отяжелел, и хотя из его кармана по-прежнему торчит газовый ключ, он редко выходит со двора и собирает информацию об утечке воды у соседей и алкашах, которые с утра начинают

гнездиться за дровяным сараем. Сведения эти по большей части лживы, но Лёв Фёдорович упрямо строчит жалобы и требует проверки. Почтальон ежедневно приносит ему до десятка писем.

Румянцев достает из кармана пальто грязный скомканный платок, сморкается и, отдышавшись, возвращается к прерванному вчера разговору:

— Я допускаю, что всё может быть, но почему эти пассажиры летающих тарелок не хотят с нами вступать в контакт?..

— Допустим, что им с нами разговаривать не о чем, — морщится Алфей Казимирович. Ни в какие тарелки он не верит, но ему хочется раздосадовать соседа.

— Как это не о чем!.. — возмущается Румянцев. — И мы не лаптем деланы, вон, сколько всего насочиняли!

— Вы со своим Тузиком тоже говорите, а что толку?.. Он только глазами хлопает да хвостом крутит.

— То Тузик, а то... — Румянцев обиженно замолкает, безуспешно пытаясь вставить в свою крупную бритую голову представление о безмерной протяжённости материального мира.

Во двор, озираясь по сторонам, заходят два мужика. Потоптавшись под тяжёлой кирпичной аркой, они направляются к дровяному сараю. Слышно, как они шарят в спутанных зарослях сухой травы, отыскивая стакан.

Румянцев иронически смотрит на согнутые фигуры запыхавшихся мужиков и выжидательно молчит. Ещё вчера вечером он взял стакан с собой, заранее зная, что утром опять нагрянут вчерашние гости.

Наконец один из мужиков не выдерживает:

— Посудину дай, Лев Фёдорович!

— Поди да возьми. Кстати, и должок вернуть не забудь.

— Какой должок?.. — смущённо говорит испитой мужичонка по прозвищу Шнурок. — Дали-то всего на кружку пива. Отдам... Чё, не отдам?..

— Обещанного ждут, — медленно произносит Румянцев. — А третий где?..

Румянцевский юмор до мужиков не доходит.

— Стакан дам, — внушительно говорит Лев Фёдорович, — но нужно сбегать на Красноармейскую к колонке, узнать, как и что?.. Там, говорят, вторые сутки вода хлещет.

— Я мигом, — широко улыбается Шнурок, — только вмажем, и я мигом!..

Румянцев опускает руку в просторный карман и достаёт присыпанный хлебными крошками гранёный стаканчик. Шнурок осторожно берёт его левой рукой, а правой тянется к клетке, стараясь ухватить грязными пальцами Димку за клюв. Скворец растопыривает крылья, отпрыгивает в угол клетки и с размаху бьёт клювом во все стороны.

— Щекотно, — умиляется Шнурок. — А я тебя, оглоеда, на жареху, а я тебя на жареху...

Алфей Казимирович невозмутимо берёт клетку и переставляет её на другую сторону. Шнурка он будто не замечает, хотя смотрит на него тусклыми подёрнутыми, как у птицы, белёсой плёнкой глазами. Этот странный взгляд смущает Шнурка, он отворачивается и шустро бежит к сараю.

— Ну, пора и честь знать... — говорит Алфей Казимирович, медленно встаёт с ящика, берёт клетку и шаркающей походкой направляется к лестнице. От свежего воздуха у него немного кружится голова, щёки слегка порозовели, но он доволен удачно начавшимся утром и хорошей погодой.

В квартире Степковского, не считая прилепившейся к стене ласточкиным гнездом кухни, есть небольшая гостиная, которая служит Алфею Казимировичу кабинетом, и крохотная спальня, куда с трудом уместились железная кровать и тумбочка старинной ручной работы. Нет ни телевизора, ни радиоприёмника, все стены заставлены шкафами с книгами. Каждые пятнадцать минут бьют часы, тоже старинные, в футляре из красного дерева, украшенном умной и загадочной мордой какого-то диковинного зверя.

Одиночество Алфея Казимировичу и полубеспомощная старческая жизнь не наложили видимого отпечатка на его жилище. Комнаты всегда чисто прибраны, полы вымыты, окна протёрты — это заботы дворничихи, которая всю чистоту справляет за небольшую плату. Она же делает для Степковского мелкие постирушки, в этом для неё хлопот совсем немного, потому что Алфей Казимирович телосложение имеет сухое и никогда не потеет.

Всем ваннам и душевым Алфей Казимирович предпочитает баню, готовиться к ней начинает ещё в пятницу, тщательно проглаживает постельное бельё, пришивает к кальсонам оторванные завязки и пуговицы. Моется он долго и истово, подолгу, завёрнутый в простыню, лежит на клеенчатой кушетке в предбаннике и дремлет. Румянцева возмущает то, сколько воды тратит Алфей Казимирович на своё небольшое, высушенное годами тело, сам он только парится и окатывает себя одной шайкой воды. На этой почве у них серьёзные расхождения. Поэтому один ходит мыться в субботу, другой — в пятницу.

Кроме бани и регулярного посещения продмага, у Алфея Казимировичу почти нет других внедомашних дел. Всё время он проводит в кабинете, сидя на скрипучем кресле с прямой спинкой и жёсткими подлокотниками. На столе перед ним лежит раскрытая книга. Но читает Степковский всё реже и реже. Чаще всего он отрешённо смотрит в окно, половину которого занимает железная крыша соседнего дома, а в другой виднеется всегда без солнца северная часть неба.

Долго бодрствовать Алфей Казимирович уже не может, время от времени он неожиданно засыпает так глубоко и крепко, что его сон похож на внезапное беспамятство. Услышав храп хозяина, Димка начинает беспокойно возиться в клетке и стучать клювом по железу. Но сон продолжается недолго, Алфей Казимирович просыпается так же внезапно, как и засыпает. Во рту у него сухо, и Степковский не помнит, что было с ним.

Он стар, так стар, что пережил всех родных. Никого у него нет, уйдёт Алфей Казимирович из жизни, и пресечётся его фамилия. Когда-то он думал, что это страшное несчастье — пережить жену, детей, всех родственников и жить в старости, как на вокзале, дожидаясь поезда, который никак не приходит. Сейчас Алфей Казимирович ничего не думает, а терпеливо ждёт отправки. Суета, страдания и другие человеческие заботы отступились от него, разум его, готовясь к неизбежному, мало-помалу пустеет, выветривается всё временное, то, чем снабжала его жизнь, чтобы он смог держаться на её поверхности, а теперь всё это стало окончательно лишним и обременительным.

Алфея Казимировича не занимают больше размышления, которыми он достаточно насадил свой мозг в молодые и зрелые годы, он теперь стал более чувствителен к теплу и холоду, к шуму и тишине, к пасмурным и солнечным дням, к ветру и безветрию. К людям он уже не тянется, ему достаточно одного Димки, который так же безгласен и терпелив, как хозяин.

— Что вы, Алфей Казимирович, сидите в своей скворечне целыми днями!.. — бурля энергией, восклицает иногда Румянцев. — Шли бы лекции читали, молодёжь просвещали. Или в газету писали. Беспорядков не оберёшься!.. Если бы я умел писать, как вы, я бы показал этим небо с овчинку. А вы напишите раз в два года заметку, мол, наблюдайте затмение, и опять молчите. А что затмение?.. Обычное дело. Там всё по закону. Тут беспорядки, тут! — стучал он палкой об асфальт.

Разные они люди, очень разные. Была бы возможность, разбежались бы в разные стороны, да бежать некуда. Помолчат, подуются друг на друга и опять сойдутся во дворе.

Не отвечает Степковский на упрёки соседа. Да и что отвечать? Разве можно жизнь свою в словах обсказать, когда уже рукой подать до её окончания?..

Все свои годы Алфей Казимирович проработал в институте, где начинал читать курс лекций по астрономии. Начинал он молодо и резво, замахивался даже на диссертацию, однако ничего из этого не вышло. Слишком уж широко мыслил, а время было непростое. Где уж не поскользнуться, если тема его исследования касалась астрологии как одной из форм осмысления космоса. Конечно, он раздраконил астрологов за их явные заблуждения, но на беду свою слишком уж много места уделил изложению их взглядов. В монографии присутствовала и оправдательная для средневековых мракобесов мысль, что их ошибки были неизбежны в силу определённых исторических условий и неистовой религиозности. Мысль, что у каждого времени есть свои ошибки, Степковскому не простили. Он был заклеймён, понижен в должности, ему с сомнением доверили место смотрителя университетской обсерватории. Эту должность он занимал более сорока лет, довольствуясь беспрепятственной возможностью смотреть на небо, сколько захочет. Это его вполне устраивало.

Привычка думать об огромных расстояниях, невероятных массах космических тел и грандиозных катаклизмах, которые во Вселенной случаются очень часто, имела то важное для Степковского следствие, что он на свою неудачу особого внимания не обратил. Ему вполне достаточно было видеть звёзды, чтобы чувствовать себя счастливым. Глядя в необъятное небо, населённое бесконечным множеством миров, Алфей Казимирович понимал ничтожную малость даже самого великого человеческого тщеславия перед вечным и стройным течением миропорядка. Он не мог представить себе ничего разумнее и законнее, чем Вселенная, в которой Земля — всего лишь далёкая провинция.

Не в силах постигнуть первопричину самодвижения Вселенной, Степковский оставил за собой счастливое право восхищаться красотой и обдуманной устроенностью мироздания. В переполнявшей его радости, несомненно, было что-то языческое, завещанное пращурами чувство безмерного удивления, восторга и страха, которое согревало и освещало

душу безвестного городского звездочёта на протяжении всей жизни.

Впрочем, фамилию Алфея Казимировича можно было встретить на последней странице областной газеты. Затмения, о которых он извещал горожан, относились к разряду самых незначительных новостей, обычно заметки набирались мелким шрифтом и загонялись куда-нибудь в угол. Заголовок всегда был один и тот же: «Наблюдайте затмение». После него не полагалось даже точки, хотя Алфей Казимирович в рукописи всегда ставил восклицательный знак и постоянно спорил об этом с завождем новостей.

— Наблюдайте затмение! — говорил Степковский газетчику.
— Наблюдайте!.. С восклицательным знаком!

— Выпал при наборе, — отвечал, потешаясь над нелепым звездочётом, завождем. — Я точно помню, что ставил.

— Эх, молодой человек, молодой человек!.. — укоризненно говорил Алфей Казимирович. — Разве так можно?..

Молодой человек с годами постарел, облысел и обрюзг от сидячей работы, но восклицательных знаков не ставил и затмениями не интересовался.

Сейчас Степковский лишь изредка пишет заметки в газету и не ведёт дневника, который в порыве юношеской запальчивости велеречиво озаглавил как «Хронограф сомнений, размышлений и открытий моей жизни».

Эта толстенная, страниц в пятьсот, канцелярская книга, каких уже сейчас не делают, заполнена почти полностью каллиграфическим почерком с витиеватым наклоном букв в левую сторону. В последнее время Алфей Казимирович читает только её.

Большая часть дневника занята размышлениями о добре и зле, которые одолевали его в молодые годы. Они были высокопарны, многословны и, как со временем оказалось, пусты.

Давно уже своих прежних восторженных чувств Алфей Казимирович не помнит, они попросту отмерли со временем, как

отмирают у старого дерева когда-то плодоносящие ветви. С прошлым Степковский связан не чувствами, не сопереживанием, не сожалением об упущенных возможностях — нет! Его память похожа на систему координат прожитого им времени, где запечатлены не чувства, а положения когда-то теснейшим образом связанных с ним людей. Люди приходили и уходили, он любил их, они любили его, потом наступал момент, и люди исчезали бесследно, а Степковский продолжал жить. И если посмотреть на линию его судьбы, то снизу она густо разрасталась ответвлениями, потом их становилось всё меньше, и наконец была видна только одна истончившаяся линия его жизни.

...От страницы к странице строптивные мысли Алфея Казимировича шли на убыль. Этому способствовала его женитьба на хорошенькой аптекарше, которая терпеливо ходила на вечера в городской парк, где перед войной Степковский читал просветительские лекции по воскресеньям, когда зажигались звёзды. В те времена образованная публика поголовно увлекалась вопросом: есть ли жизнь на Марсе? Поэтому Алфей Казимирович невольно оказывался в центре внимания и был модным мужчиной, хотя ему уже стукнуло сорок лет и на макушке обозначилась лысина. Он носил парусиновый костюм и парусиновые туфли, которые старательно начищал зубным порошком. Круглые очки и борода с усиками делали паркового астронома довольно импозантным.

Аптекарша Дуся чаще других заговаривала со Степковским на марсианские темы, и понемногу их разговоры приобрели земное направление. Втянутый в поле Дусиного притяжения, Алфей Казимирович неизбежным образом женился.

Дуся оказалась очень земной женщиной, всяких философских завихрений в её отягощённой двумя тяжелейшими косами головке не существовало, но она была очень тепла, уютна, домовита, как, пожалуй, любая неиспорченная русская женщина. Вскоре у них появилась маленькая Клава.

...Неожиданно молодо и звонко бьют полдень старинные часы. Степковский медленно поднимается с кресла, подходит к ним, открывает тугую дверцу деревянного футляра и ключом заводит часовую пружину.

Сегодня Алфею Казимировичу предстоит совершить ещё одно немаловажное дело: написать заметку в газету. Он берёт с массивного мраморного прибора ручку и по привычке ощупывает перо указательным пальцем. Вещи служат Степковскому долго, и это стальное перо ещё остро и упруго.

На составление заметки уходит около часа. Степковский, несколько раз перечитывает её и кладёт в потёртую кожаную папку.

Заметив, что хозяин закончил работу, Димка оживляется и стучит клювом. Алфей Казимирович приносит ему свежей воды, потом идёт на кухню и начинает варить кашу.

После обеда во дворе уже почти шумно. Появились две детские коляски, девчонки, придя из школы, пользуются сухой погодой и чертят мелом классы на асфальте, пацаны в дальнем углу пинают обшарпанный волейбольный мяч, а в сухом бурьяне за сараем гудят пьяницы. Всё это каким-то привычным образом уживается друг с другом, воспитывает в людях терпение и выносливость к существованию в битком набитом доме.

Когда Алфей Казимирович появляется во дворе, держа под мышкой кожаную папку, к нему, пыхтя и сморкаясь, устремляется Румянцев. Он угадал, куда идёт Степковский, и с ходу берёт быка за рога.

— Беспременно уважьте, Алфей Казимирович! Беспременно! Я одну минутку.

Уважить соседа Степковскому никак не хочется, но он, поморщившись, останавливается и терпеливо ждёт, пока Лев Фёдорович вернётся с пачкой писем.

— Вот! — горячо размахивает Румянцев письмами. — Полюбуйтесь на беспорядки! Вы думаете, это хаханьки? Нет! Они ошибаются. Здесь сто восемьдесят семь кубометров воды в

сутки. Питьевой, заметьте, а не технической. Ну, я их припеку, припечатаю на все четыре лопатки!..

— А вам хоть раз удавалось заткнуть один кран? — вдруг спрашивает Степковский.

— Это, в каком смысле?

— В таком, что вода, известно, вещество текучее. Вы её в одном месте затыкаете, а она в другом вдвое сильнее хлещет. Все-то дырки разом не заткнёшь.

— Вы это бросьте! — начинает кипятиться Румянцев. — Умный человек, а чёрт знает что говорите! Этак, знаете, до чего можно договориться.

— Давайте ваши кубометры, — примирительно говорит Степковский и усмехается.

Улица встречает его пронзительным сквозняком, шумом машин и толчеей народа. Алфей Казимирович поглубже втягивает голову в плечи, пересекает улицу и выходит на бульвар, тоже продуваемый ветром, но почти безлюдный. По краям бульвар обрамлён чугунной оградой, и вообще он очень старый, даже Степковский не помнит, когда его закладывали.

Деревья на бульваре уже несколько раз обновляли, но сохранилось ещё несколько очень старых лип, и возле них в былые годы часто сиживал Алфей Казимирович, когда были живы Клавочка и Дуся. И сегодня он не проходит мимо привычной скамейки, садится на её жёсткий ребристый край, папку кладёт на худые острые колени и смотрит на землю, усеянную тусклыми осенними листьями.

Смерть дочери и жены потрясла Алфея Казимировича своей очевидной нелепостью и злонамеренностью обыденного случая. Это случилось не с тридцатью другими пассажирами рейсового автобуса, который перевернулся на плохой дороге, а именно с его Дусей и Клавой, а этого Степковский никак не мог понять. И Алфей Казимирович, похоронив жену и дочь, внутренне потух, омертвел, мысль его потеряла способность к самовозгоранию и самодвижению. Вернувшись с похорон, он спросил себя, что же ему остаётся делать, на что надеяться, во что верить, но не нашёл ответа.

Постепенно боль утраты размылась временем, и Степковский безропотно принял единственное, что ему осталось — молчать и ждать, не спрашивая себя, почему ты молчишь и чего ждёшь.

В редакцию Алфей Казимирович заходить не стал. Он бросил письма в почтовый ящик и побрёл по набережной.

От реки пахло близкой зимой и неизбежностью большого холода. Вниз на юг, сверкая белизной, плыл теплоход. Порывом ветра до Алфея Казимировича донесло музыку. Это был вальс, удивительно нежный и грустный.

У Степковского защемило сердце. Он сел на холодную скамейку и посмотрел на робко вспыхнувшую в небе первую вечернюю звёздочку.

— Боже мой!.. — вслух подумал Алфей Казимирович, — ведь это так просто и никто не мог догадаться, что звёзды — это...

Договорить он не успел: ему не хватило одного слова.

Непорочное зачатие

- 1 -

В последнее время Илью Петровича Зудина всё чаще стали одолевать тягостные подозрения, что Ася ему изменяет. Будучи человеком строгого мышления, он исследовал эту проблему со всех сторон втихомолку, не говоря ни слова жене, которая вроде бы ни в чём не изменилась, только стала не в меру хохотлива и привязчива к нему в часы его вечерней работы над рукописью.

— Какой ты у меня красивый и ещё совсем молодой, Илюшенька! — ласково говорила Ася, ероша седую шевелюру мужа.

Илья Петрович мрачнел, морщился и молчал, поскольку ему начинало казаться, что жена говорит всё это не искренне. Молодость... Какая молодость, когда тебе почти пятьдесят?

И сегодня он вспомнил об этом, когда все мыши, которых подвергали удару ультразвуком в лаборатории, сдохли. Время подходило к обеденному перерыву, но он не пошёл в свой кабинет, а легко, как это часто делал, повернулся на крутящемся стуле к окну и закрыл глаза. Сотрудники лаборатории, эти правые и левые руки, глаза и уши Ильи Петровича, решили, что шеф обдумывает очередной ход в сложнейшей схватке с природой, которую он вёл на протяжении многих лет, и вышли черед дальнюю дверь в коридор. Вскоре защёлкал по теннисному столу упругий шарик, и раздалось могучее ржанье Вадика Воронцова над очередным анекдотом из серии «очевидное-невероятное».

«Надо будет сделать ему внушение, — подумал Илья Петрович. — Вадик, несомненно, талантлив, но у него нет такта. Всю свою жизнь ему предстоит играть второстепенные роли, быть добротным приращением к другому, более целенаправленному и основательному уму».

Иногда Зудин подумывал о том, что его протеже презирает науку, а это в его глазах было смертным грехом.

Себя Илья Петрович, несомненно, числил себя в премьерах. И он имел на это право. Давным-давно ему посчастливилось догадаться, что слава добывается на лабораторном столе, что самые острые, самые жгучие человеческие страсти бурлят возле какого-нибудь дохлого мышонка, а удача идёт к тому, кто ставит решительно и крупно.

Свои карты Илья Петрович не крапил, играл честно. Это способствовало его популярности. Иногда бывал бит, бит жестоко, несправедливо. Но он умел ждать, затаиваться до подходящего момента, когда в исследованиях соперничающих с ним учёных наступал застой, а наверху немедленно требовали явить граду и миру что-нибудь на уровне зарубежных аналогов. И уж тут-то Илья Петрович не дремал, он обнародовал полученные его лабораторией результаты, которые отличались всегда оригинальностью, выбивал помещения, вырывал оборудование, выискивал и брал к себе нужных людей, гнал

взашей дурней и активно выступал в печати, ибо известности не чурался.

Затем два-три года о Зудине не было слышно. Он ложился на дно, мастерски дурачил начальство, которое изредка навещалось к нему в лабораторию, и гнал свои разработки. Плановые же задания лаборатории вёл старичок с двумя лаборантками пенсионного возраста, которые пришли в науку ещё в те времена, когда она пыталась сеять «разумное, доброе, вечное». Старичок был безгласен, терпелив и аккуратен. К продукту его труда никто не придирался.

Черед два-три года упорного труда зудинская лаборатория снова гремела в биологическом мире. Но всё-таки купоны он стричь не умел. Проходило три-четыре месяца, и Илья Петрович, оставив дожёвывать свои идеи, как он говорил, «высоколобым телкам», вновь шёл напролом.

— Собственно, что мы знаем?.. — наставлял Илья Петрович своих аспирантов. — Ничего мы не знаем, и не вздумайте говорить кому-нибудь, что наука знает много. Что сделано, делается и будет делаться — не более как подготовка к осаде того, что именуется полным знанием. Вообразите себе кузнечика и великую китайскую стену, которую он пытается перепрыгнуть. Вот так-то ...

«Собственно, ничего такого не произошло», — размышлял Илья Петрович. И вдруг болезненно вспоминал, что Ася моложе его на целых пятнадцать лет.

Познакомились они в те незабвенные времена, когда Зудин горячо и шумно праздновал свою первую победу. Он доказал перспективность применения ультразвука в диагностике некоторых заболеваний, был гром, был Юпитер с молнией в руке, в образе одного академика, который поддержал Зудина против маловеров. Курульные кресла зашатались, два-три почтенных кумира были низвергнуты; всё это было в таком далёком прошлом, что вспоминая об этом, Илья Петрович не испытывал и тени былого восторга.

Отмечали успех в холостяцкой однокомнатной квартире Зудина под брызги шампанского и тосты, в которых молодой кандидат провозглашался надеждой науки. Все говорили, главным образом, о нём, причём в степенях превосходных. Был и школьный учитель Зудина, который всё порывался назвать его Илюшей, но ему не давали говорить, заглушая заздравным шумом. Учитель смутился, сник, грустно скривившись, опрокинул две стопки водки и незаметно исчез, унося в сердце свербящий груз растерянности и обиды.

Илья Петрович смотрел на своих расхोдившихся коллег и думал, что, в сущности, все они — конченные люди, которые уже достигли или достигнут в скором времени своего потолка, замкнутся в узком кругу, будут играть в картишки, сплетничать о начальстве и лгать себе и другим, что они двигают науку в светлый завтрашний день.

Что такого дня не будет, Илья Петрович знал точно. Напряжение ума, с которым он совершил, в общем-то, незаурядное открытие, родило ещё одно открытие, которое поразило Зудина ничуть не меньше, чем то, о котором теперь трубили на весь учёный мир. Илью Петровича поразила тьма, потрясла бесконечность неизведанного. Он барахтался в этой темноте и бесконечности много лет, и конца этому барахтанью не было видно. И ему всё чаще приходила в голову мысль, будто Кто-То по ту сторону дразнит его, мучает, изведывает его характер исследователя. У Зудина стала всё чаще возникать мысль, что Кто-То его нарочно втягивает в схватку, в которой у него нет ни малейших шансов победить. На этот раз Кто-То просто сыграл в поддавки, и у Зудина не было сытой удовлетворённости победителя, он чувствовал, что, по большому счёту, остался в дураках. Эта мысль окончательно испортила ему настроение, и Илья Петрович, не слушая очередной тост, вышел на балкон.

Тогда-то Ася и спросила его: «Вам плохо, да?»

Потом выяснилось, что она имела в виду другое, но Илья Петрович понял её вопрос по-своему и начал говорить о себе, о работе, о том, что мучило его в те минуты.

Как ни странно, в свои восемнадцать лет Ася всё поняла, скорее даже не поняла, а поверила его убеждённости и горячности, что всё так и есть на самом деле, как он говорит, думает и делает, и самозабвенно влюбилась в Илью Петровича.

— Милый мой, любимый мой человек, — сказала она ему в ту ночь. — Я буду любить тебя всю жизнь!

Жизненный опыт давал право Илье Петровичу на лёгкую недоверчивую усмешку, но он сдержался, покоренный её чистотой и непосредственностью. Ему вдруг впервые за последние годы стало по-настоящему тоскливо и неуютно от того, что он не может уже больше стать таким наивным и простодушным, как она. — «Мой поезд идёт полным ходом, а её только-только разводит пары...»

...Из коридора вновь донеслось могучее ржание Вадика Воронцова. — «Балбес», — раздражаясь, подумал Илья Петрович и взглянул на часы. До обеденного перерыва оставалось всего десять минут.

— Скажите, пусть идут на обед, — сказал Зудин старичку, который корпел в углу над плановым заданием.

Старичок взглянул на Илью Петровича поверх очков, пожал плечами, аккуратно снял нарукавники и поплёлся в коридор.

Выждав, когда смолкнет стукотня в коридоре, Илья Петрович прошёл в свой кабинет и встал возле окна. Ему было нехорошо, в левой стороне груди он ощущал неприятную тяжесть, будто на плечо положили груз, рука слегка холодновато немела.

— Устал, — подытожил Илья Петрович. — Чертовски устал.

Он сбросил с себя оцепенение, прошёлся по кабинету, потом снял и повесил на спинку стула пиджак. «Хорошая порция гимнастики и всё пройдёт», — подумал Зудин. Но заниматься гимнастикой ему не пришлось. Зазвонил телефон.

— Слушаю, — устало проговорил Илья Петрович в трубку. Он знал, что звонит жена, а разговаривать с ней ему не хотелось.

— Илюша, ты не забыл, что нам сегодня к Тамириным?

— Не забыл. Вообще я сейчас занят.

— Хорошо, милый, — пропела жена, — хорошо...

Предстоял глупейший вечер: нужно было идти на фуршет, посвящённый приезду из Парижа Виолетты Генриховны, но этим приглашением Илья Петрович не мог пренебречь. Тамарин занимал пост председателя Совета директоров крупной фармацевтической компании, которая обеспечивала заказами зудинскую лабораторию, и, благодаря им, она ещё держалась на плаву, а сам Зудин числился научным консультантом фирмы, получал завидную зарплату и часто выезжал за рубеж на различные конференции и симпозиумы ведущих биологов.

Тамарин явно покровительствовал Илье Петровичу, они сблизились, и как-то Пётр Сергеевич попросил Зудина взять под свою опеку своего племянника Вадика Воронцова. Новый аспирант был ленив и самонадеян, но Илье Петровичу приходилось его терпеть как креатуру своего патрона.

Тупая боль в груди не унималась, и Зудин решил приготовить кофе.

— Всё от нервов, — сказал он сам себе. — Да ещё и сегодняшняя полублажная, полубессонная ночь. Надо же так мучить, так выворачивать себя наизнанку.

Он налил себе кофе в тонкую чашечку из китайского фарфора и стал пить осторожными глотками.

Через несколько минут Зудин убедился, что от кофе ему не полегчало, а, наоборот, на душе стало пакостнее и горше. Внезапно выплыла хлипкая мыслишка о смерти, о физико-химическом превращении, процесс которого Илья Петрович представлял себе гораздо лучше, чем абсолютное большинство снующих по улице людей. Обычно Зудин думал об этом на свежую голову и вполне отдавал себе отчёт, что Кто-То вряд ли откроет тайну смерти, даже самому рискованному игроку. Но сегодня к мысли о смерти примешивалась какая-то обидная жалостливость к себе, которую Зудин не мог терпеть, ни в себе, ни в других людях.

Когда в его присутствии заходил разговор о бессмертии, о душе и прочей чертовщине, Илья Петрович утихомиривал

спорщиков вольтеровской фразой, которую всегда произносил чуть нараспев и с насмешливой интонацией:

«Когда султан посылает корабль в Египет, заботится ли он о том, хорошо или худо корабельным крысам?»

Корабельными крысами признавать себя никому не хотелось, и разговор неизменно переходил в плоскость реального.

— А, как мерзко вчера всё вышло! — подумал Зудин, откидываясь в кресле.

Вчера вечером они с Асей прогуливались возле дома. Погода стояла тёплая и сухая, и во дворе было много детей.

— Какой красивый мальчик! — сказала Ася, останавливаясь возле мальчугана на велосипеде. — Очень на тебя похож в детстве, помнишь ту фотографию, где ты в коротких штанишках?

Зудин вздохнул и плотнее взял жену под руку. Он понимал, что ей хочется ребёнка, и как раз это злило его, потому что в её словах он услышал явственный упрёк себе. Тогда-то и вылетели эти жуткие и грязные слова.

— Ты идёшь на поводу у инстинкта, — сказал он. — Затем, тобой наверняка движет и зависть, иметь то, чего у тебя нет. Эти мысли ложны. Я тебе хочу сказать, что ты вправе иметь ребёнка, и я разрешаю тебе это. С моей стороны не будет ни упреков, ни ревности. Но, прошу тебя, не увлекайся и соблюдай порядочность.

— Ты что, Илюша, — запротестовала Ася. — Да как можно подумать об этом!

— Не спорь, пожалуйста, — продолжал Илья Петрович. — Права иметь ребёнка я тебя не лишаю. Ты вольна поступить, как хочешь. Но прежде, чем иметь ребёнка, ты должна решить вопрос, который не приходил в голову самому господу богу. Сможешь ли ты создать жизнь такую, чтобы она была счастлива и не прокляла тебя впоследствии? Я не хочу, чтобы когда-нибудь родной великовозрастный балбес сказал тебе, что не просил воспроизводить его на белый свет.

— Что ты говоришь, Илюша, — мягко сказала Ася. — Ты устал, утомился, вот и мысли разные беспокоят. Пойдём лучше в кино.

Они сходили в кино, и в затемнённом зале, перед мельтешащим красивой неправдой экраном к Зудину пришло чувство, что жена ему не верна. Ему стало горько от догадки, что звонит она ему на работу каждый день не потому, что беспокоится о нём, а просто выкраивает себе время для свиданий с каким-нибудь мускулистым пустоплясом.

И сегодня после звонка жены эта мыслишка опять было шевельнулась в нём, но он подавил её усилием воли.

— Чему быть, того не миновать, — пробормотал он, глядя в окно.

- 2 -

Как биолог Зудин понимал, что такое жизнь, неоднократно наблюдая её движение там, куда до него редко кому удавалось заглянуть и увидеть, как из небытия, из тьмы возникает тонкая и хрупкая ниточка живого и чувствующего, как легко сломать, изуродовать, исковеркать её и как трудно сохранить этот едва дышащий и неокрепший росток. Кто-То по ту сторону день и ночь вот уже немыслимое количество лет работал над воспроизведением жизни, создавая бесчисленное число её проявления, но всё это совершалось втуне от человеческого разума, которому оставалось только восхищаться этой могучей и прекрасной двигательной силой природы. Признать это восхищение и довольствоваться только им означало для Зудина признать своё поражение. «Познай самого себя» — это изречение расшифровывалось им как призыв к вторжению в конечное звено природного круговорота, но чем ближе подбирался он к решению этой задачи, тем медленнее становилось продвижение вперёд. «Если раньше я мчался на самолёте, то теперь завидую скорости улитки...»

Остервенение, с которым работал Илья Петрович, вызывало у его коллег зависть. Многие называли его фанатиком. «Зудинская

одержимость» — эта формулировка получила прописку в монографическом манускрипте одного дотошного социолога, которого интересовали стыки наук и возможность просочиться сквозь эти стыки к материальным благам.

Но никто, пожалуй, кроме Аси, не знал истинной причины работоспособности Ильи Петровича и его пристрастия к своему делу.

Когда-то Зудин был жестоко оскорблён. Это было во времена студенческой молодости, на одной из глухих железнодорожных станций, где он почти сутки ждал пересадки и познакомился от нечего делать с бойкой рыженькой официанткой. Словно затмение нашло на Илюшу Зудина, он много выпил, кобенился деньгами в проплёванном вокзальном ресторанчике, заказывал шампанское, словом, гусарил. Рыжая после смены угостилась зудинским вином и повела его к себе домой. Эта пьяненькая, хохотливая и доступная женщина была у него первой.

Через несколько часов они расстались. Оглушённый пережитым, Зудин на перроне поцеловал официантку в вялые губы и уехал в институт. Всю дорогу его распирало дурацкое чувство гордости от случившегося, и он самоуверенно полагал, что теперь знает женщин насквозь.

Раскаяться пришлось очень скоро. Зудин почувствовал себя плохо, но страшнее всего был стыд. Первой была мысль о самоубийстве, но покончить с собой было выше его сил. Он занялся самолечением, болезнь ушла внутрь, затаилась, а через полгода Зудину пришлось лечь в больницу.

— Ну и дурак же ты, Илья Петрович! — заявил врач, ощупывая распухшие колени Зудина. — И что же ты, студиоз блудливый, сразу не появился? Я бы тебя за неделю сделал годным к употреблению.

Через месяц при выписке из больницы Зудину сказали, что детей у него не будет. Он выслушал врача, пошёл в институт и оформил свой перевод в другой город.

Пережитое сделало характер Ильи Петровича ещё более замкнутым. Он полностью всего себя отдал работе, которой только и жил, подгоняемый азартом преследования. Но то, чего

он хотел добиться, никак не давалось ему в руки. Кто-То изобретательно уходил от него, годы шли, надежды таяли...

— Если она мне изменяет, я ничего не смогу поделать, — подытожил свои размышления Илья Петрович. — Впрочем, ей ведь не поздно по её возрасту и забеременеть. Когда это произойдёт, то у меня будет два варианта. Первое — я отец, гм, довольно пожилой отец чужого ребёнка. Второе — перспектива одинокой старости...

Неприятный сухой комок подкатил к горлу. Илья Петрович понимал, что необходимо было что-то решать и решать незамедлительно. Но ничего путного на ум не приходило. Зудин встал и подошёл к окну. Над городом клубилась сиреневая дымка, внизу по проспекту мчались автомобили и спешили люди. Каждый из них, наверняка, был обременён какой-то целью и смыслом, но с высоты пятого этажа вся эта беготня и спешка казалась смешной. Куда нам плыть?.. Зудин закрыл лицо руками и услышал неизвестно откуда-то возникший мотив, сначала еле слышный, потом всё более громкий и призывный. Илья Петрович почувствовал, как высота дохнула на него из открытого окна, поманила его к себе. Он испугался и отступил к стене. Ему вдруг захотелось вжаться в эту тёплую стену, растечься по ней невидимым тончайшим слоем, но быть, всегда быть.

- 3 -

Поговорив с мужем по сотовому, Ася стёрла с лица улыбку и положила телефон в сумочку. «Он явно что-то заподозрил, — подумала она. — Но не могу же я в этом деле просить у него совета».

Вокруг колготилась толпа, шумели машины, но Ася шла по улице, ничего не замечая вокруг. Возле здания женской консультации она остановилась, её внезапно окатила волна страха и неуверенности. Мимо, спустившись с крыльца, прошла, явно на последнем месяце беременности, молодая женщина. Она, переваливаясь как утка, с боку на бок, тяжело ступала по

земле, лицо было опухшим, покрытым жёлтыми пятнами. Ася заворожено посмотрела ей вслед и прошептала: «Господи, сделай так, чтобы у меня всё было нормально!»

За последние три месяца ей много чего пришлось пережить, и решение, которое привело её, в конце концов, сегодня на приём к гинекологу, далось Асе ценой душевных мук, угрызений совести и горьких слёз.

А началось всё обыденно просто, со случайного разговора, начавшегося в квартире Тамириных с Виолеттой Генриховной, которая пригласила её в свою комнату, чтобы продемонстрировать покупки, сделанные в столице. Она одну за другой доставала и показывала гостье вещи, Ася непритворно восхищалась вкусом хозяйки, и той это определённо понравилось, она отвыкла от общения с простодушно-доверчивыми людьми и прониклась к новой знакомой почти материнскими — разница в их возрасте была значительной — чувствами. Виолетта Генриховна достала из итальянского шкафчика, где у неё хранилась бижутерия, сафьяновую коробочку и щёлкнула золотой застёжкой.

— А ну-ка, примерь, милочка!

Вспыхнув от смущения, Ася взяла кольцо из белого золота с рубином и надела на указательный палец.

— Прелесть! — невольно выдохнула она.

— Тогда прими на память, — сказала Виолетта Генриховна.

— И не вздумай протестовать! Я не люблю, когда со мной спорят.

— Оно же безумно дорогое, — пролепетала Ася.

— Ерунда. Мой Тамарин достаточно состоятелен, чтобы тратиться на женские капризы. К тому же, я уже достаточно стара, чтобы носить броские украшения.

— А вот это неправда! — живо воскликнула Ася. — Я не знаю и не хочу знать, сколько вам лет, но выглядите вы, ну, просто прекрасно. У вас такая молодая кожа и удивительно ясные и чистые глаза...

Виолетта Генриховна вспыхнула, заулыбалась и впрямь помолодела, будто её спрыснули живой водой. В порыве благодарности она обняла Асю и прошептала ей на ухо:

— Спасибо, милочка! Ты такая прелесть.

С этого дня они стали видаться часто, а когда Тамарин и Зудин уехали в Швейцарию к своим хозяевам, эти встречи стали ежедневными. Виолетта Генриховна до обеда была занята в организованном ею городском фонде защиты бездомных животных, и сразу из своего офиса заезжала за Асей домой. Они обедали в каком-нибудь ресторане, разговаривали, затем смотрели городскую газету, выбирая чему посвятить вечер. Местный бомонд ждал приезда на гастроли скандально известного певца и танцора Бориса Задова, был страшный ажиотаж с покупкой билетов, но Виолетта Генриховна решила этот вопрос одним телефонным звонком.

Концертный зал был полон, но они вошли в него по особому входу, предназначенному для сильных мира сего, поднялись на лифте и очутились в просторном холле, где, ожидая начала концерта, прогуливались десятка два господ сановного вида с супругами. Тамарина была здесь среди своих, к ней то и дело подходили представительные мужчины и почтительно здоровались.

— Кто это? — любопытствовала Ася по поводу белобородого и краснолицего старика, который неожиданно ловко поцеловал Виолетте Генриховне руку. — Я, кажется, его где-то видела.

— Конечно, видела, милочка! Это мэр Отступников. Не понимаю, а он зачем на концерт припёрся. Вот этому, что с ним рядом, здесь как раз место. Для него сегодня праздник всех голубых!

Ася недоуменно посмотрела на Тамарину.

— Что за праздник?

— Восхитительно! — воскликнула Виолетта Генриховна. — Какая ты простушка, милочка. Но поговорим после. А сейчас пойдём вдыхать миазмы гей-арта!

Концерт Бориса Задова Асе не понравился. Кумир строил из себя томного чародея, пел тусклым лишённым окраски голосом нечто унылое и беспредметное, вихлялся, и со своего второго ряда она заметила, что у звезды мёртвые, ничего не выражающие глаза опустошённого человека. Публика между

тем бесновалась, особенно неистовствовали с десяток молодчиков в кожаных куртках и с бритыми головами.

По гламурным журналам Виолетта Генриховна знала жизнь эстрадного закулисья и просветила Асю, воспитанную на тургеневских героинях, о современных королях порока и тузах разврата.

— Какая гадость, — побледнев, сказала Ася, ставя дрожащей рукой чашку с кофе на китайский столик.

— Такова селяви, — усмехнулась Тамарина. — Недавно английская королева благословила своим присутствием свадьбу двух гомосексуалистов, один из них, кажется, даже возведён в рыцарское достоинство.

— Что же они так и будут жить как муж и жена? Детей-то у них не будет, — сказала Ася и задумалась.

— А сколько нормальных семей бездетны, — ответила Виолетта Генриховна и тут же спохватилась. — Прости меня, Ася, болтушку, я не хотела тебя обидеть.

— Я не обиделась. Почему я должна обижаться? — сказала Ася, но в её голосе задрожали слёзы.

— Ах, я дура! — сказала Тамарина. — Дались нам эти гомики. Я сейчас.

Она достала из буфета бутылку дорогого вина и наполнила бокалы. Выпив вина, Ася не удержалась и расплакалась, а затем рассказала всё о себе и муже.

— С каждым может случиться то, что произошло с Ильёй Петровичем, — рассудительно сказала Виолетта Генриховна. — Но ведь есть выход, в Москве и за границей сейчас это дело поставлено на поток.

— Нет, и я и Илюша против, — запротестовала Ася. — Что до меня, то я не уверена, что этого ребёнка признаю своим. Потом сама процедура. Я ведь всё-таки не корова, а человек.

На следующий день Виолетта Генриховна позвонила Асе после обеда, сказала, что ей не удается, и попросила приехать. И действительно, гостя застала хозяйку на диване в халате, а напротив неё сидел молодой человек.

— Познакомься, Ася, — слабым голосом произнесла Виолетта Генриховна. — Это Вадим, мой племянник. Кстати, он работает в лаборатории Ильи Петровича.

Проводив взглядом беременную женщину, она поднялась по ступенькам крыльца и вошла в женскую консультацию. Последний раз Ася была здесь лет пять назад, когда у неё случилась задержка с месячными, и она обратилась к врачу, питая в душе надежду, что случилось невозможное. Но чудо не произошло. Гинеколог, весьма мужиковатая особа, деловито осмотрела её и произнесла, сдирая с рук резиновые перчатки:

— Вам повезло, мадам. Тревога была ложной.

До сих пор Ася помнила, с какой смертельной обидой она вышла из врачебного кабинета, еле сдерживая слёзы, и, выбежав на улицу, закурила, не стесняясь окружающих. Сегодня она со страхом подумала, а что если повторится то же самое? Нет, с отчаянием сказала она сама себе, этого ей не пережить. Ася не знала ещё, что в таком случае произойдёт, но, наверное, что-то ужасное и непоправимое.

Возле окошечка в регистратуру никого не было. Она подала паспорт, регистраторша долго искала её медицинскую книжку, наконец, нашла и протянула талончик на приём к врачу.

Здание консультации было старым, столетней давности, с мраморным полом и, поцокивая каблуками, Ася подошла к кабинету, где на стульях сидели несколько женщин. Она заняла очередь, села на стул, почему-то достала телефон, недоуменно на него посмотрела и спрятала в сумочку.

Дверь кабинета отворилась, из него вышла женщина весьма роскошного вида, а за ней и провожатый — человек в ослепительно белом накрахмаленном халате. Доктор поцеловал холёную руку, мельком глянул на очередников и, не спеша, удалился.

— Какой лизун! — сказала сидевшая рядом с Асей женщина и хрипло рассмеялась.

Ася искося, не поворачивая головы, посмотрела в её сторону. Соседка была явно не из того круга, где вращалась она сама:

загорелое обветренное лицо рыночной торговли, такие же руки, с грубо подстриженными, будто обкусанными, ногтями.

— Доктор хороший, — сказала женщина. — Но за аборт берёт крупно.

Ася недоуменно на неё посмотрела.

— Сто баксов, — сказала женщина и хихикнула. — Ты в который раз залетела?

— Я вас не поняла, — пробормотала Ася и вдруг почувствовала, что краснеет.

— Что тут непонятного. Я вот в девятый раз скоблиться пришла.

— В девятый раз! — поразились Ася. — Ведь это ужасно!

— В первый раз действительно страшно, — сказала женщина.

— Да и потом не сахар. Мужики — все сволочи!

От продолжения неприятного разговора Асю спасла беременная женщина, которая заняла за ней очередь, и она уступила ей свой стул. Ася подошла к окну и простояла у него, пока её не окликнули, и она, потупившись, быстро вошла в медицинский кабинет.

— Не волнуйтесь, — сказал, доктор, — безболезненно и много времени не займёт.

Ася сняла с себя часть одежды, легла на кресло и закрыла глаза. Она изо всех сил старалась быть спокойной, но внезапно возникшая дрожь начала сотрясать всё её тело, от пяток до головы.

— Одевайтесь, — услышала она весёлый голос доктора. — Поздравляю вас, вы беременны.

— Это точно? — спросила Ася, неловко слезая с кресла.

— Моя информация точная, сказала щелка замочная, — пошутил доктор — В моём заключении сомневаться не стоит.

Пока медсестра оформляла ей карточку беременной, Ася нервно мяла в руках сумочку. Наконец, решилось: достала деньги и положила на край стола.

Доктор протянул ей визитку.

— В следующий раз звоните, чтобы не стоять в очереди.

Ася, не чуя под собой ног от радости, что невозможное свершилось, сбежала с крыльца и быстро пошла по улице, не

отдавая себе отчёта, куда она идёт и зачем. Опомнилась только тогда, когда почти уткнулась в невысокую чугунную ограду набережной. Ветер с реки, влажный и прохладный, коснулся пылающего лица и привёл её в чувство. Она увидела скамью, села на неё, достала из сумочки сигареты и зажигалку, но не закурила, а бросила их в мусорную урну. Всё, подумалось ей, нужно решительно отказаться от вредных привычек — курения, шоколадных конфет, чтения фантастики до третьего часа ночи, крепкого кофе по утрам, но, прежде всего, отказаться от Вадика, забыть его так, как будто его никогда не было. Он взбалмошный, и мало ли что может прийти ему в голову, бедняга, кажется, решил, что близкие отношения между ними это всерьёз и надолго.

Надо сохранить в тайне от Вадика причину их знакомства, чтобы он не начал мнить себя благодетелем или, ещё хуже, не разболтал о своём отцовстве. Конечно, Вадик умён, образован, но пустоват и легкомыслен. Обо всём этом Ася размышляла холодно и отрешённо, чего с ней раньше не случалось, но теперь ей было что хранить и защищать — новую зародившуюся в чреве жизнь её, только её, ребенка.

Собственно, Ася никогда не была такой уж наивной простушкой, за которую её принимала Виолетта Генриховна. Она многое видела и понимала, но в силу врождённой деликатности, не совалась раньше других обнародовать своё мнение, что принималось другими за недалёкость ума, хотя это было совсем не так. Увидев у постели мнимобольной Виолетты Генриховны её племянника, она не подала вида, что раскусила этот спектакль, и принялась присматриваться к Вадiku Воронцову.

Заочно она уже была с ним знакома. Как-то Илья Петрович вернулся с работы не в духе и под давлением Аси рассказал, что Тамарин возложил на него неприятную обязанность быть опекуном своего родственника, весьма великовозрастного балбеса, которому в наше-то время пришлось в голову стать кандидатом наук, и теперь Зудину придётся им заниматься.

Вадик не производил впечатления балбеса, это был высокий спортивного телосложения парень, лет около тридцати, с

большой копной светлых волос, зелёными глазами и твёрдо очерченными губами и подбородком.

— У Вадика в научном журнале вышла большая статья, и он прямо-таки атаковал меня, требуя это отметить, — слабым голосом произнесла Виолетта Генриховна. — Не знаю, что делать, выручи меня, Ася. Моя машина в вашем распоряжении.

Ася не заставила себя долго упрашивать, хотя просьба Тамириной ставила её в довольно щекотливое положение.

— Жаль, что Илья Петрович в отъезде, — сказала она, напоминая о своём муже — Он бы за вас порадовался.

— Конечно, он был бы удивлён! — весело воскликнул Вадик. — Ведь старик, по правде говоря, считает меня тупицей.

Виолетта Генриховна рассмеялась и погрозила племяннику пальчиком.

— Не забывайся, Ася — жена твоего научного руководителя. Постарайся ей понравиться, чтобы она замолвила Илье Петровичу за тебя словечко.

Вечер они провели в загородном ресторане. Вадик так ненавязчиво и пристойно ухаживал за Асей, что через час они уже были на ты, а во время медленного танца она ощутила, что в ней начинает просыпаться нечто такое, что заставило её смутиться и отстраниться от кавалера. «Неужели я способна увлечься другим мужчиной?» — спросила она себя, и эта мысль побудила Асю взглянуть на Вадика более пристально и изучающе, и признать, с некоторым душевным трепетом, что он обаятелен и красив.

Засиживаться в ресторане они не стали. Едва Ася намекнула, что ей пора домой, как Вадик потребовал счёт и расплатился, дав официанту щедрые чаевые.

— Надеюсь, мы ещё увидимся, — сказал Вадик, когда они прощались возле подъезда её дома.

Она не ответила, закрыла за собой дверь, и на её лице вспыхнула улыбка.

Виолетта Генриховна вопреки своей привычке знать всё, о вечере, проведённом с Вадиком, Асю не спрашивала, она готовилась к выставке кошек и была вся в хлопотах. Тамарин и Зудин вернулись из командировки, и жизнь в обеих семьях

потекла по проторенной колее, но Ася нет-нет, да и вспоминала о Вадике и задумывалась. Вадик не только оставил зарубочки в её памяти, но и пробудил в ней отчаянную и крамольную мысль, которую она гнала от себя, но всё-таки никак не могла от неё избавиться.

И тут, будто подглядев Асины переживания, вдруг позвонил Вадик. Она взяла трубку и, услышав, что он приглашает её прокатиться на речном трамвайчике по Волге, внезапно осевшим от волнения голосом согласилась на встречу, но пролепетала, что скоро должен вернуться с работы Илья Петрович и времени для прогулки у неё нет. Ерунда, заверил её Вадик, сегодня у шефа заседание учёного совета, а дальше запланирован банкет, который состоится за городом в том самом ресторане, где они уже были. Закончив разговор, Ася задумалась — то ли она делает?.. Но опять задолдонил телефон, и Илья Петрович сказал ей то, что она уже знала: учёный совет, банкет в загородном ресторане, нужные встречи с московскими коллегами.

Купальный сезон на Волге уже начался, и пассажиров на трамвайчике было много. Ася и Вадик едва в него втиснулись, но это не испортило впечатление от поездки, была прекрасная погода, вода в реке ещё не цвела, они стояли на верхней палубе возле бортового ограждения и смотрели, как мимо них медленно проплыла береговая линия пляжа, затем судно вошло в основное русло реки и, сопровождаемое гомоном ослепительно белых чаек, направилось к большому острову.

Поначалу Ася чувствовала себя несколько скованной, но множество весёлых людей вокруг, и, главное, сияющий простодушной улыбкой Вадик, повлияли на неё самым благоприятным образом, и, когда трамвайчик приткнулся к береговой эстакаде, она храбро прыгнула на качающийся дощатый настил и не почувствовала даже страха от вида плескавшейся внизу воды.

Вадиду остров был хорошо знаком, они прошли мимо большого пляжа, дальше начался сосновый лес, редкий и светлый, и Ася спросила:

— Куда ты меня ведёшь? Там же никого нет.

— К сожалению, от людей здесь не спрячешься, — рассмеялся Вадик. — Увы, остров густо населён, настоящий Тайвань, но я не хочу, чтобы через меня переступали все, кому не лень.

Место, куда они пришли, и правда было обитаемым, рядом расположилась семейная пара с двумя детьми, а на мелководье стоял по пояс в воде рыбак в большой соломенной шляпе.

— Это тебя устраивает? — спросил Вадик, бросив спортивную сумку на белый песок.

Ася засмеялась и побежала к воде, сняла платье и отшвырнула его в сторону. Поёживаясь, она сделала несколько осторожных шагов вперёд и ойкнула от неожиданности. Подкравшись, Вадик подхватил её на руки и побрёл по мелководью. Ася не вырывалась и только тихонько пискнула:

— Ой, я не умею плавать!

— Не беда, — сказал Вадик. — Я тебя научу.

Они долго барахтались в воде, пока Ася не озябла, и Вадик, подхватив на руки, вынес её на горячий песок, а сам разлёгся рядом, раскинув в стороны ноги и руки.

Ася лежала, закрыв глаза, с самым безмятежным видом, но её голова была занята одним, какую выстроить линию поведения в отношениях с Вадиком, чтобы суметь пройти по краю пропасти, не свалиться с неё и остаться при своих интересах. Она совсем не имела опыта баловства с мужчинами, но внутренний голос подсказывал, что нужно быть настороже. «Нужно относиться ко всему, что произойдёт, — говорила Ася себе, — как к эксперименту со взрывчаткой — осторожность и ещё раз осторожность. И ни в коем случае нельзя спешить, всё должно произойти там, где я захочу и когда я захочу, а сегодняшняя встреча — всего лишь прелюдия к самому главному в моей жизни поступку».

Рядом зашуршал песок: Вадик придвинулся к ней ближе. Ася открыла глаза и посмотрела на него, и в его глазах прочитала нечто её беспокоившее.

— Я хочу купаться, — сказала она и устремила к реке.

Они опять стали барахтаться в воде, несколько раз Вадик довольно плотно прижимал её к себе, поднимал на руках, но Асе

это не казалось опасным, и она веселилась, пока после очередного купания он не поцеловал её так жадно и долго, что у неё перехватило дыхание.

— Кругом люди, — сказала она, освобождаясь от его объятий.

— Увы, — возразил он. — И рыбак, и семейка с ребятишками нас покинули.

Ася вскочила на ноги, огляделась, схватила платье и быстро оделась. Вадик за ней наблюдал с весьма кислой гримасой.

— К чему этот номер? — сказал он и потянулся к своим штанам. — Я тебе кажусь опасным? Но зачем другим люди уединяются, как не за этим?

Ася опомнилась, портить отношения с ним ей не хотелось. Вадик стал занимать всё большее значение в её планах, и она довольно удачно изобразила растерянность и душевное волнение.

— Это так неожиданно, — пролепетала Ася. — Конечно, я поступила необдуманно, приехав сюда...

Вадик понял, что поторопился форсировать события и примирительно произнёс:

— Извини меня, Ася. Впрочем, и ты кое в чём виновата.

— В чём?

— Ты слишком вкусна, чтобы тебя не скушать.

Ася на мгновение задумалась, решая, как ей реагировать на высказывание Вадика, и звонко рассмеялась.

— И с какой же садовой культурой ты меня сравнил?

— Ягодой малиной, — выдохнул Вадик и притянул Асю к себе.

— Пора домой, — наконец сказала она, почувствовав, что он снова начинает заводится. — Ты меня всю изломал, медведь!

К пристани речной трамвайчик подошёл, когда стало смеркаться.

— Я тебе позвоню, — сказал Вадик, усаживая её в такси.

Она в ответ весело улыбнулась.

— Звони.

Не успело такси отъехать и ста метров, как в её трубке тренькнул телефон. «Неужели Илья», — с ужасом подумала Ася, торопливо достала трубку и нажала клавишу.

— Ася, я от тебя без ума, — раздался голос Вадика. — А ты?

— Я тоже, — торопливо ответила она и отключила телефон.

«Я ему не соврала, — подумала Ася. — Я действительно без ума, потому что решилась на это».

Возле подъезда своей пятиэтажки Ася торопливо рассчиталась с водителем, выскочила из машины и бросилась вверх по лестнице, с замиранием сердца надеясь, что мужа ещё нет дома, и она успеет к его приходу принять душ. Ася открыла дверь квартиры, прислушалась и перевела дух. Илья Петрович ещё не вернулся. Она повесила сумочку на вешалку и подошла к зеркалу. Как не береглась, следы поцелуев заметными отметинами засосов остались. Проклиная Вадика, но ещё больше себя, Ася торопливо помылась под душем и надела, укутав шею, шарфиком, махровый халат.

— Интересно, — подумала она, придиричливо осматривая себя в зеркале, — поймёт или не поймёт Илья, что я была с другим мужчиной?

Илья Петрович явился домой во втором часу ночи, осторожно разделся и на цыпочках подошёл к кровати.

— Ты спишь?

Ася что-то пробормотала, а Илья Петрович, укладываясь в постель, привычно доложил жене о самом важном, что с ним произошло в минувший день.

— Я бы не поехал на банкет, — сказал он, подтыкая под себя одеяло. — Но приехал сам Лев Константинович Игонин, ты его знаешь, академик и прочее. И он меня взбудоражил своим предложением. Представляешь, в Мытищах, а это всё равно, что Москва, организован медико-биологический центр на деньги частных инвесторов. Так вот, Игонин предложил мне взять там лабораторию. Ты меня слушаешь?

Ася откликнулась невнятным бормотанием.

— Назвал и оклад, не скажу какой, но цифра капитальная, да именно капитальная. Дадут беспроцентный кредит на покупку квартиры, а это, знаешь, тоже не пустяк. Кстати, дом для

сотрудников вот-вот сдадут. Спрашивается, стоит ли здесь сидеть? Все умные люди давно по границам разъехались или в Москву. Что скажешь?

Утром Ася благоразумно не встала с кровати и притворилась спящей. Илья Петрович потоптался на кухне, сварил себе кофе и ушёл на работу. Она, услышав щелчок дверного замка, соскочила с кровати и подошла к окну. Через некоторое время она увидела мужа, который, отсверкивая лысиной, по бетонной дорожке шёл к гаражу.

Вода в чайнике была ещё горячей, и, выпив натошак чашку сладкого кофе, Ася расчётливо проанализировала своё поведение с Вадиком и нашла, что, в основном, вела себя правильно. Главное, выдержала первый натиск, отрезвила его, хотя, укорила она себя, в какой-то момент голова у тебя закружилась. Но теперь Вадик вряд ли решится на столь активные действия, а мне нужно выбрать подходящий момент, чтобы это свершилось.

К выполнению самого главного пункта своего плана Ася была ещё не вполне готова. Для этого нужно было собраться с духом, найти в себе силы переступить через собственное я и занять оправдание своему греху, ведь то, на что она намеревалась пойти, и было грехом предательства.

«Я же не только для себя это сделаю, но и для него тоже. Для него невозможность иметь ребенка стала пунктиком. Нет-нет, да и заговорит об этом, да ещё с такой злобой и обидой на всё, что становится за него страшно. Я Илюшу люблю, я ему всегда была и, кроме этого случая, буду верна впредь. А это необходимая операция, без которой не обойтись, чтобы моя жизнь продолжилась совершенно в другом качестве — матери, а Илюши — отца. Разве это грех? Разве меня не оправдывает то, что, хотя ребёнка ещё нет, а я уже всем своим существом люблю его, фактически он для меня уже есть, он живёт во мне, в моём сердце и я это чувствую. И когда это произойдёт, я буду любить не Вадика, а своего будущего дитя, оно и есть моё оправдание...»

Из задумчивости Асю вывел резкий телефонный звонок. «Это Вадик», — испугалась Ася.

— Я звоню из машины, — раздался в трубке голос Ильи Петровича. — Мы со Львов Константиновичем едем в наш загородный филиал. Вернёмся часикам к шести вечера. Постарайся приготовить к этому времени фуршет на четверых.

Она положила трубку на телефон, посмотрела в зеркало и стала быстро приводить себя в порядок. Покончив с макияжем, Ася вошла в спальню, сняла с кровати бельё и заменила его новым. Затем достала из буфета бутылку французского шампанского, подержала в руках и поставила обратно.

Раздался дверной звонок. Ася криво усмехнулась и пошла открывать. На пороге стоял Вадик с букетом орхидей, потный и красный.

— Я тебя ждала, — сухо сказала Ася и, повернувшись, пошла в спальню. — Ванная комната справа.

- 4 -

Виолетта Генриховна после успеха своего персидского кота Зевса на московской выставке, где тот стал первым призёром, получила сразу несколько приглашений участвовать в кошачьих вернисажах в нескольких столицах Европы и посетила Стокгольм, Рим, Мадрид и свой любимый Париж, где нанесла безумными тратами на тряпки и бижутерию такую ощутимую пробоину банковскому счёту своего супруга, что обычно снисходительный и покладистый Пётр Сергеевич взбунтовался и потребовал возвращения супруги домой.

Обременённая парижским багажом, с Зевсом на руках разгневанная Виолетта Генриховна явилась в город и устроила мужу порядочную трёпку, завершившуюся согласием простить мужа, после перечисления на свой банковский счет кругленькой суммы на иголки и булавки. Но победа всегда кажется неполной и окончательной, если она должным образом не отпразднована, поэтому Петру Сергеевичу пришлось потратиться на собственную капитуляцию — устроить фуршет в своём загородном поместье для самых значительных лиц города. На нём Виолетта Генриховна, переполненная европейскими

новостями, намеревалась просить звездой первой величины и окончательно убедить своего Тамарина, что за её красоту и ум он должен платить по-крупному и не мелочиться.

Ася чувствовала себя не готовой к встрече с Ильёй Петровичем и уехала к Тамариным на такси. До этого она почти два часа готовилась к выходу, долго выбирала платье, перетормошила весь шкаф, пока нашла нужное, затем перевернула все свои коробки с бижутерией и остановила выбор на матовом жемчуге, который выгодно подчеркивал её смуглую шею. Много хлопот доставило небольшое жёлтое пятнышко на щеке, первый звоночек о том, как она будет выглядеть во второй половине беременности. Но такой пустяк не испортил её настроения, Ася ещё не вполне освоилась со своим новым положением, и её переполняли столь сложные чувства, что она не была способна их объяснить даже самой себе. Единственное, что она отчётливо понимала, было то, что она уже не одна, и в ней трепещет, ещё почти не ощущаемая ею новая человеческая жизнь.

Услышав адрес, таксист проникся к Асе должным уважением, не докучал разговорами и, подъехав к воротам (кованое железо, бронзовое литьё) особняка Тамариных, быстренько выскочил из машины и открыл пассажирке дверцу. Охранник знал Асю в лицо и пропустил без задержки в усадьбу, занимавшую по меньшей мере пять гектаров соснового бора, часть которого была освобождена от деревьев и превращена в большую поляну, на которой стоял дом с примыкающей к нему открытой верандой, а рядом находился ухоженный пруд с купальней и несколько летних домиков, раскрашенных в канареечные цвета.

Ася увидела Виолетту Генриховну сразу, она дирижировала на веранде действиями двух официантов, занимающихся сервировкой столов. Тамарин и колоритный белобородый мужчина, в котором Ася узнала мэра Отступникова, и незнакомый генерал в белой с золотыми погонами рубашке сидели возле пруда вокруг столика на тонких стульях и о чём-то заинтересованно беседовали. Недалеко от широкого мраморного крыльца стояли несколько неизвестных Асе мужчин и среди них Вадик Воронцов, который, увидев её, дёрнулся, приподнимая

для приветственного жеста руку, но, отвернувшись, Ася быстро прошла мимо, к веранде.

— Как я соскучилась о тебе, милочка! — вскричала Виолетта Генриховна, увидев гостью. — Мы ведь только успели поговорить по телефону. Ты прекрасно выглядишь, а я о тебе вспоминала, думаю, как там моя Ася. Пойдём, я кое-что тебе покажу.

Большая комната с окном во всю стену выглядела как филиал парижского магазина дамского платья и белья. Коварная Тамарина, чтобы уязвить жён местных олигархов, приглашённых вместе с мужьями, устроила выставку своих приобретений, перед которой дамы почувствовали, как они обойдены Виолеттой Генриховной, и поклялись, каждая перед собой, что мужьям так просто их скупердяйство не пройдёт. Злились и на Тамарину, но умело скрывали это улыбками и фальшиво восторженными фразами.

— Ну, как? — сказала Тамарина, приглашая движением руки познакомиться с покупками. — Кое-что тут я приобрела и для тебя.

Эти слова произвели на остальных дам весьма неприятное впечатление: хозяйка собиралась преподнести Асе подарок, а их проигнорировала. Это было уж слишком, и они, поджав губы, не сговариваясь, покинули комнату.

— Вот это как раз для тебя, милочка, — сказала Тамарина, указывая на короткое, без рукавов и с глубоким вырезом платье, сшитое из двух, похожих на лепестки бутона кувшинки, розовых кусков прозрачного шёлка. Ася сняла платье с вешалки, посмотрела и повесила обратно.

— Не понравилось? — удивилась Виолетта Генриховна.

— Да что вы! — вздохнула Ася. — Платье — прелесть, но оно мне ни к чему.

— Что-то я не пойму тебя, милочка! — начала возбуждаться Тамарина. — Рассказывай!

— Я только что была в женской консультации. Так вот, я беременна.

— Вот так раз! — всплеснула руками Виолетта Генриховна. — Такое известие, а ты молчишь.

Ася с восхищением смотрела на Виолетту Генриховну, та ни чем не обнаружила, что тоже как-то причастна к этому событию. Ведь ни кто другой, а она свела её со своим племянником.

В комнату заглянул официант и доложил хозяйке, что всё готово. Виолетта Генриховна взяла со стола пульт и нажала на какую-то кнопку. Тотчас откуда-то сверху мелодично зазвенели колокола, призывающие гостей на веранду.

— Кажется все в сборе, — сказала Тамарина, поднимая рюмку.

— Кроме губернатора, — заметил банкир Щукин, и гости рассмеялись. Мэр Отступников был с главой региона в страшных контрах, он и присутствующие здесь демократы первого призыва окончательно расплевались со своим коммунистическим прошлым и подозревали в губернаторе тайного сталиниста, и, изо всех сил, стучали об этом в администрацию президента России. Губернатор был об этом осведомлен и вредил своим недоброжелателям, как только мог.

В доме Тамариных на фуршетах всегда предлагали вина тонкие, закуски изысканные, так было и на этот раз. Однако у богатых и властных людей свои причуды, тот же Отступников предпочитал всем напиткам простую водку, а закускам малосольный огурец с пупырышками. Этим мэр подчеркивал свою близость к народу и широко рекламировал свои привычки, а так же тот факт из своей биографии, что до четвёртого класса он ходил в школу в лаптях. Губернаторская пресса над этим дешёвым пиаром потешалась, но электорату мэр нравился, и он дружно за него голосовал на выборах.

Выпив и закусив, гости распределились на группки. Дамы окружили Виолетту Генриховну и с самыми разными чувствами слушали её восторженное повествование о Париже и прочих европейских столицах, где ей посчастливилось побывать. Более молодые гости сгруппировались возле Вадика Воронцова, а вокруг мэра собрались те, кто представляли собой городскую власть и капитал. К ним и примкнул опоздавший Илья Петрович на правах друга хозяина дома.

Ася заметила появление мужа и нахмурилась, когда-то да надо будет объясниться с ним начистоту, но как он воспримет

известие о её беременности и своём отцовстве, не взбрыкнёт ли, не станет ли требовать всей подноготной или промолчит — вот вопросы, которые тревожными звоночками вспыхивали в ней один за другим. Беспокоил её и Вадик, он не сводил с неё глаз, и Ася опасалась, как бы он не выкинул прямо здесь какое-нибудь дурацкое коленце. С того самого дня, когда он так нагло и так кстати заявился к ней домой, воспользовавшись отсутствием Ильи Петровича, они виделись несколько раз. Ася болезненно переживала своё грехопадение, но Вадик самонадеянно решил, что получил её в бессрочное пользование и продолжал настойчиво добиваться продолжения свиданий. Похоже, Вадик так и не понял, для чего был ей нужен, но его ещё никогда не бросали любовницы, эту инициативу он всегда брал на себя, и тут такой удар и от кого — интеллигентной дамочки, почти тургеневской героини.

Вадик покинул свою компанию и направился к Асе. Она это увидела и, опасаясь скандала, пошла вглубь дома. Он догнал её, повернул к себе, обнял и попытался поцеловать. Ася отчаянно сопротивлялась, наконец, ей удалось пнуть его по голени, Вадик ойкнул и ослабил хватку. Она вырвалась, и, пробежав анфиладу комнат, оказалась на крыльце. Вокруг было темно, лишь веранда светилась ярким светом, и от неё по дорожке медленно шёл Илья Петрович.

— Ты не озябла? — спросил он.

— Нет, я только вышла, — ответила Ася, стараясь унять охватившую её нервную дрожь.

— Я что-то неважно себя чувствую, — сказал Илья Петрович. — Поеду домой. Ты останешься?

— Нет, я с тобой. Мне тоже нужно отдохнуть. Сегодня такой суматошный день!

Охранник открыл им ворота и Зудин, не торопясь, повёл машину к городу. Они молчали, каждый думал о своём. Илья Петрович достал сигарету и щёлкнул зажигалкой. Это звук заставил её вздрогнуть.

— Не кури, Илюша, — сказала Ася. — Это мне теперь вредно.

— Почему теперь? — спросил Зудин, выбрасывая сигарету на обочину.

— Я была сегодня у гинеколога. Так вот, я беременна.

Илья Петрович издал звук, похожий на скрежет зубов, и, что есть силы, сжал рулевое колесо.

— Это точно?

— Смотрел лучший в городе специалист.

Зудин резко остановил машину и, глядя прямо перед собой, произнёс жёстко и членораздельно:

— Это счастье, что ты забеременела. Наше общее счастье. Но я не хочу больше ничего слышать об этой семейке, особенно о Виолетте Генриховне и Вадике. К сожалению, придётся проститься и с Петром Сергеевичем. Я получил официальное приглашение в Мытищи. Надо сменить обстановку. Ты согласна?

— Конечно, согласна, Илюшенька, — сказала Ася, едва сдерживая рыдания. — Я тебя люблю, понимаешь, люблю тебя...

Свидание

- 1 -

Над облупленным куполом старой деревянной церкви кружили чёрные птицы. Впритык к храму стояла школа, и во дворе шумела ребятня, высыпавшая из классов на перемену. Стояло бабье лето, было тепло и безветренно, и душа радовалась покою, воцарившемуся в природе на переломе осени и зимы.

Храм стоял на взгорке, был хорошо виден издалека и, выйдя из дома, баба Маня привычно отыскала на голубом фоне неба его тёмный силуэт, трижды перекрестилась, затянула покрепче узелок чёрного платка, поправила верёвочки запячного мешка и пошла по улице. Подходя к церкви, она услышала вороний благовест над куполом и снова перекрестилась. Заботы, тяготившие её, враз стали легче, потому что здесь она уже не

была одинокой семидесятипятилетней старухой, а чувствовала тепло сочувствия к своей жизни, идущее от ветхого сельского храма.

Школьный сад трепетно сгорал в пламени русской осени. Он был запущен, неухожен, а оттого прекрасен в эти яркие дня. Сухо шелестел ржавый бурьян, листва яблонь была багряна, пламенели гроздья рябин и лишь дубки у церковной ограды были ещё зелены и свежи.

Подойдя к паперти, баба Маня снова перекрестилась и вошла. Убранство храма было бедно, во всем сквозило безнадежное сиротство, щелястые полы скрипели, и тихонько пройдя мимо старушек, клавших поясные поклоны перед иконами, она стала высматривать батюшку.

Отец Герасим вышел из своего закутка. Одет он был в цивильное платье, волосы заплетены в косичку, на ногах сияли начищенные хромовые сапоги. Баба Маня пересекла ему дорогу у выхода.

— Что, матушка?.. — Спросил отец Герасим, беря старуху под локоток. Они вышли из храма и сели на скамейку. Священник был немолод, сердце имел доброе и, слушая свою прихожанку, участливо вздыхал.

История, случившаяся с бабой Маней, была обыкновенной и грустной. Напасти, обступившие её, возникли не вчера, а мучили уже тридцать лет. Сначала погиб муж. Поехал на охоту и замёрз в воде. Лодка-самоклейка прохудилась, он побрёл к берегу, да так и остался в камышах, впаянным в осенний лёд. Именно тогда в горести она впервые прикоснулась к Богу в поисках утешения. Стала блюсти посты, ходить в церковь и перестала гнать брагу.

Одна беда привела за собой другую: вскорости сгорела от рака лёгкого дочь, и баба Маня осталась доживать век с внуком. Митька вырос, отслужил в армии и, не успев жениться, стал самым забулдыжным пропойцей. Из механизаторов попал в скотники, потом в тюрьму за кражу подсвинка. Вернулся, снова запил и сейчас находился на принудительном лечении. Отец Герасим знал подноготную жизни бабы Мани, но молчал и внимательно слушал. Он был верующим человеком и не удивлялся разнообразию кар, посылаемых богом на людей. Это

помогало ему жить в согласии с собственной совестью и давало силы утешать обиженных и страдающих.

— Что же ты надумала делать? — Спросил отец Герасим. Старуха вскинула на священника выцветшие глаза и достала из кармана ватной фуфайки письмо.

— Вот письмо прислал. Ругается, что на свидание не еду. Грозит. Вырастила на свою голову!.. Ты прочти, прочти, батюшка...

Отец Герасим взял письмо. Из безграмотных фраз он понял, что тот требует приезда и грозит в случае отказа разделить бабкин дом, а причитающуюся ему половину продать.

— Ерунда! — сказал отец Герасим, возвращая прихожанке письмо. — Дом без твоего согласия разделить нельзя. Да что делить? У тебя же кухня да горница...

— Я всё-таки думаю ехать к нему, — всхлипнула баба Маня. — Как посоветуете?..

— А далеко это самое заведение? — спросил священник.

— Электричкой — километров двести...

— Сообразуйся со своим здоровьем, — сказал отец Герасим, поднимаясь со скамейки. — Что тут больше скажешь...

Ничего особенного не посоветовал батюшка, но после разговора с ним на сердце у бабы Мани стало поспокойнее. Она и сама собиралась ехать к своему непутевому внуку, но теперь это желание ещё более окрепло, и бабка, выйдя из ограды церкви, направилась к магазину. Был день привоза хлеба и на крыльце сельмага, ожидая открытия, толпились старухи и пацаны. Баба Маня заняла очередь и, отойдя в сторону, села на деревянный ящик из-под водки.

Был полдень, жарко светило солнце и, привалившись к бревенчатой стене сельмага, старуха задремала. Сквозь сон она слышала, как в глубине сруба со скрипом и шуршанием работают жуки-точильщики, а на крыльце разговаривают люди, но всё это было бесконечно далеко от неё, и, очнувшись, она подумала, что хорошо бы так вот остаться навсегда — отдалённой от мира, но слышащей и чувствующей его сквозь занавес небытия. Смерти она не боялась, потому что в жизни

грешила мало, по мелочам, и ещё была крепка и не утратила желания жить.

Бабы разговаривали о бывшем председателе колхоза Максиме Волынкине и его смерти, непонятной и страшной. Баба Маня его знала, на одной улице выросли, жизнь прошли бок о бок. Максим председательствовал после войны лет десять, потом пришли другие, пограмотнее, поразговорчивее. Волынкин руководил просто: с утра брал в руку берёзовый дрючок и по дороге в правление стучал по ставням. За ним, помешкав, и народ тянулся. Бывало кое-кого и в поле палкой охаживал. И прозвище ему дали — Максим Палкин.

В пятьдесят четвёртом его сняли, уже после смерти Сталина, поставили председателем сельсовета. Тоже власть, да не та. И запил Максим. Куролесить начал. То баб в очереди за керосином по росту построит и начнёт командовать, то своему псу похороны под оркестр устроит, словом, чудил.

Эти феодальные замашки не привлекали внимания районных властей до поры до времени, ибо в кабинетах Волынкин исправно щёлкал каблуками и не тянул с налогами и поставками. Сорвался он на другом. Церковь в селе была закрыта, но кое-какой несознательный актив имелся — красноармейки-вдовы, старухи. А верховодил ими конюх Власов, мужик башковитый и заковыристый. У него в доме была и организована «преступная акция», как называли её на бюро райкома, а проще — грандиозная пьянка, во главе которой под божницей сидел Максим Волынкин.

Несознательный актив расстарался: на столе было столько выпивки и закуски, что при виде этого богатства у председателя по-волчьи вспыхнули глаза. Налили по первой, по второй и начали взхлёб возвеличивать Максима. Особенно напирали на то, что он есть окончательная и последняя власть. Максим пил водку стаканами и одобрительно щерился, показывая жёлтые прокуренные зубы. Когда Максим накачался и начал икать, Власов медленно и с издёвкой сказал:

— Власть-то власть, а супротив районных гавриков пустое, хоть и «говорящее» место...

У Волынкина налились кровью глаза, он рванул воротник своего кителя-сталинки и прохрипел:

— Да я!.. Они!.. Тараканы!.. У меня печать!..

— Успокойся, батюшка! — подбежала к Волынкину хозяйка и подала полный стакан водки на блюдечке. Максим хряпнул поднесённый стакан водки, икнул и упал лицом в тарелку с грибами.

Остальное было делом техники. Подписи жителей под заявлением с просьбой открыть церковь были собраны. Власов достал бумагу, потом положил Волынкина на лавку, вынул из чернильного мешочка, привязанного к ошкуру галифе, сельсоветскую печать, дыхнул на неё перегаром и шлёпнул на заявление.

Во дворе уже наготове стояла лошадь под седлом. Витюшка, сын Власова, через полчаса добежал до станции и отправил письмо куда надо, пока местные власти не очухались и не перехватили депешу.

Две недели всей деревней Волынкина поили. Только очухается, протрёт глаза, его за стол — и до поросячьего визгу. Погрузят на телегу и в следующий дом.

Наконец, нагрянули, кому следует. Волынкина с должности вышибли, ходили по дворам, уговаривали назад бумагу затребовать, но старухи и бабы твёрдо стояли на своём. Так и пришлось открывать церковь. Приехал отец Герасим, и храм с той поры не пустовал.

Волынкин после такого конфуза пьянку прикрутил, да что толку. Должностей с печатями ему больше не давали, приткнулся в ту же конюховку, где работал Власов, и спорил до хрипоты с ним, что Бога нет и быть не может. Раз даже в церкви во время обедни хотел диспут устроить, да старухи намяли ему бока и вытолкали взащей.

В последние годы жизни Волынкин уже никуда не ходил, сидел дома, а в тёплые дни — на завалинке, всё в том же защитного цвета суконном кителе, в белых бурках, опершись на берёзовую суковатую палку. Никто с ним рядом не присаживался, не разговаривал, даже соседи обходили его

стороной, отворачиваясь от тяжёлого пристального налитого старческой слезой взгляда.

Недели полторы назад по селу прошелестел слух, что старик Волынкин закрылся в бане. Приехали из города сыновья, внуки, но старик баню не открыл. Забил изнутри дверь и окошко, лёг на полок и умер. Как он там умирал, никто не знает, но говорили разное. Сыновья изрубили дверь в щепки, вынесли отца и положили в гроб. И теперь он стоял в горнице, а люди говорили о Волынкине уже в прошедшем времени, стоя возле магазина в очереди.

Наконец пришла продавщица, сняла замок, откинула тяжёлую полосу железа с дверей. Баба Маня дождалась своей очереди, набила заплечный мешок жёсткими кирпичами хлеба, взяла килограмм маргарина и пошла домой. Твёрдые углы буханок больно давили старушечью спину, но она терпеливо таскала мешок, цепко ощупывая взглядом дорогу под ногами. Издали её можно было принять за горбатенькую побирушку, но в деревне никто не удивлялся этому, здесь все старухи ходили с заплечными мешками, и в них постоянно хоть что-то да было. Не заходя в избу, баба Маня положила мешок на лавку в сенях, достала одну буханку хлеба, замочила её в воде, накрошила, в таз и дала курам. Другой живности баба Маня не держала, силы стали не те, что раньше, колхозная работа выпила, иссушила её, в чем только душа держалась. Ела мало, молочка выпьет, хлебушка со сладкой водичкой пожует — и ладно.

Налив курам воды, баба Маня вышла за калитку к поджидавшей её Семёнихе, тоже одинокой и богомольной старухе.

Они уже виделись возле магазина и, не сговариваясь, пошли к дому Волынкина. Там стояла машина с оградкой в кузове, и толпились люди.

— Надоть, какую смерть принял! — вздохнула Семёниха. — Калякают, будто пять суток на полке мёртвым лежал.

Баба Маня промолчала, ей не хотелось говорить об умершем. Как бы человек ни умер — он умер, и таинство смерти всегда ошеломяло, открывая неизвестный и бездонный мир. Старухи были счастливы тем, что у них был Бог. Исчезни он, и они сразу

бы оказались на краю обрыва жизни без защиты и сожаления. И Бог для них был чем-то вроде забора, которым они отгородились от страха смерти.

Кончина исказила лицо бывшего председателя до неузнаваемости: нос заострился, кожа стала жёлтой, скрещенные на груди пальцы рук были тонки и прозрачны, вставные челюсти вынули изо рта, щёки провалились и подбородок задрался вверх. Всё это баба Маня охватила одним взглядом, проходя мимо гроба.

Она вышла во двор и подошла к старухам. Те шепотком обсуждали Волынкина. Им было что вспомнить, но говорили только о хорошем.

— За веру пострадал, — говорила высокая чёрная старуха, держа в руках венок с неживыми цветами. — С председателей его из-за этого сняли. Большим бы мог человеком быть...

Старухи сочувственно молчали.

Похороны были недолгими, поминки трезвыми. Максима Волынкина проводили только близкие и деревенские богомолки.

- 2 -

У калитки бабу Маню остановила соседка и отдала ей пяток яиц.

— Под крыльцом нашла, — сказала она. — Твоя чёрненькая курица навадилась класть. А то я гляжу, что это наш Бобик цепь рвёт, кидается. Вышла, а она шмыг — к тебе.

— Спасибо, спасибо, — пробормотала старуха и попросила:

— Ты своего Витюшку подошли, мы её поймаем. Мне к Митьке завтра ехать, ему и отвезу эту шалопутную в гостинец.

Войдя в дом, баба Маня первым делом проверила, не ушло ли тесто, которое она с утра замесила в кадушке. Тесто уже подходило, и она, набрав щепочек, стала растапливать русскую печь. Огонь взялся сразу, широко и жарко, чуть запахло дымком от сухой смолы. Из своего потайного места выбрался кот и начал выделывать вокруг её ног восьмёрки.

— Погоди, — сказала баба Маня. — Вот уж Витюшка придёт. Потроха никто у тебя не отнимет...

Витюшка пришёл не скоро, уже дрова прогорели, и в печи жарко золотились и вспыхивали угли.

Баба Маня крошками хлеба подманила кур, Витюшка быстро сцапал чёрную, кричащую благим матом курицу, и на колоде для рубки дров топором отчекрыжил ей голову.

— Ну, я пошёл!..

— Иди, Бог с тобой...

— А ты чо, к Митьке собралась?..

Витюшка был одногодок внука. Вместе с Митькой, бывало, гуляли, но ум не пропивал.

— Передавай привет!..

Сосед ушёл, а старуха занялась курицей и пирогами. Работа делалась, но как-то скучно. Баба Маня тыкалась из угла в угол, забывала, где что лежит и управилась только к полуночи.

На столе горкой лежали пироги с капустой и картошкой. Она взяла один, съела и не почувствовала вкуса. Видно, откушала своё. Лежат пироги, а едоков нет. Раньше-то вмиг бы ушли, успевай только из печи вытаскивать.

Баба Маня вспомнила покойного мужа, вздохнула и перекрестилась. Худого от него она никогда не видела. В войну ей завидовали бабы, он был ранен в финскую, и на фронт его не взяли. Но кто знает, где повстречаешь смерть. У каждого к ней своя тропка. Нашлась своя и у Егора.

В лунные ночи старуху мучила бессонница. Хотя в избе было натоплено, и она лежала на кровати под ватным одеялом, всё равно ей было зябко. Холод шёл изнутри отжившего своё тела, и даже кот, прежде любивший спать у хозяйки под боком, теперь не лез под одеяло, а устроился на печке.

Луна светила ярко и печально. Баба Маня ворочалась на скрипучей кровати и думала о том, как мгновенно пролетела жизнь. Ведь будто вчера это было: ей годиков пять-шесть, она смотрит, свесившись головой с печки, как мать, подоив корову, сцеживает молоко. В хате темно, в углу сидит свечной огарок, и мать, заметив проснувшуюся Маньку, вздыхает:

— О, господи!.. И чего не спится раноставке...

Этот кусочек воспоминания, как осколок разбитого зеркала, вспыхивал в памяти бабы Мани, отсвечивая другие. Она помнила клички коров и лошадей, которые были у них в семье, помнила аэроплан, севший в деревне на лугу по случаю агитации на какой-то займ. Помнила отца, но как-то странно, без лица, только руки, подбрасывавшие её вверх, и тяжёлый звериный запах от полушубка. Зимой отец ставил петли на колонков и горностаев. Приходил из лесу, и Маняшка сразу кидалась к нему за гостинцем от лешего. Отец расстёгивал полушубок, на пол сыпались звериные тушки, которые он хранил за пазухой, чтобы не замёрзли, доставал недоеденную горбушку хлеба и отдавал дочери. Маняшка подпрыгивала от радости и уплетала пропахший потом и звериным духом хлеб за обе щеки.

Отец пропал из-за своей доброты и отзывчивости в первое колхозное время. На первых порах организовали в деревне три колхоза. Поделили землю и начали, как это водится, пакостить друг другу. То чужие коровы на посевы забредут, то хряк прибьётся к чужому стаду и пропадёт. Озлобились председатели друг на друга, войну объявили. Но, как говорится, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. В тот злополучный день отец на берегу старицы смолил лодку. К этому месту как раз и причалили два охотника, которые по приказу своего председателя перестреляли чужих свиней на овсах. Берег топкий, глинистый и крутой. Взялись мужики свиней из лодки таскать и не могут, утопи в глинистой жиже. Тут-то отец и вывернулся со своей подмогой.

— Подождите, ребята! — крикнул он мужикам. — Я вам сейчас настил сделаю...

И сделал. Принёс три фугованные доски, верёвки, и выволокли свиней на бугор.

Взяли его за покушение на колхозную собственность в составе банды. Председателя, как организатора, расстреляли. Охотникам и отцу дали по десять лет, и ушёл он навсегда. Ни письма, ни извещения о смерти. Правда, был слух, что в лагере помер, а к властям баба Маня не обращалась.

Старуха пошевелилась на кровати и открыла глаза. Она не отдавала себе отчёта, почему последний год во сне ли, наяву жизнь перелистывает перед ней одни и те же страницы. Ей почему-то никогда не вспоминалась поездка в Москву на ВДНХ, которой её наградили за рекордные удои, а лезли в голову какие-то несерьёзные вещи вроде вечёрок и гаданий под Рождество.

Морозы в тридцать девятом году ударили рано, и возле деревни на старице зимовали пароход с баржей. Кто постарше из команды, уехали в город к семьям, осталась молодёжь, отбойные ребята в клёшах и бушлатах. После двух-трёх драк они перемирились с местным и стали ходить на вечёрки в клуб. В деревне их называли пароходскими.

Весёлая была зима. Когда танцев не было, собирались вечеровать то у одних, то у других. На такие вечёрки девки ходили с прялками. Собирались чаще у хромоногой Матрёны, сорокалетней бабы, которая гнала втихаря брагу и принимала на постой всяких уполномоченных из района. Старались побыстрее шерсть испрядь и заводили игры и песни. В разгар веселья начинали перебрасываться частушками.

*У Матанюшки беда:
С пароходским зналася,
Пришла полая вода —
С животом осталась...*

Семёниха тогда была азартной плясуньей и певуньей. И вырядиться любила, чтоб на зависть всем. Она и ввела всех девок в конфуз.

Последними пароходами в деревню завезли партию промтоваров, и среди прочего странные и невиданные в этих краях изделия из шёлка на узеньких тесёмках. Если одеть, то получалось, что плечи и руки наголе, совсем как в иностранных фильмах. Первой купила платье Семёниха, пришла на вечёрки, за ней и другие побежали в сельмаг. Скоро все девчата щеголяли в шёлковых комбинациях, подхваченных в талии цветными лентами.

Обнаружила скандальную несуразность учительница. Она собрала девчат в клуб, объяснила им для чего эта вещь и как её

надо носить. Кто-то из подростков подслушал воспитательную беседу и разнёс по деревне. То-то хохоту было. А девочкам пришлось снова надевать свои домотканые платья.

Баба Маня в девушках была тихой, в круг на вечёрках никогда первой не высовывалась, ей и ходить на посиделки не хотелось, но Семёниха — страшно вспомнить, столько лет прошло! — тянула её за собой. И она, завернув шерсть в платок и подхватив прялку и веретено, шла к Матрёне, садилась в угол и, краснея, слушала озорные припевки и шутки.

В избе то и дело бухала дверь. Целоваться выходили в сени. Там в покосившихся и щелястых сенях назначались свидания и происходили свадебные сговоры. Влетали в избу раскрасневшиеся, а в избе — дым коромыслом от самокруток, визг девчат, стукоток подмёток, забивающий звуки хриплой гармонии.

На Рождество девочки гаданье устроили. Убежали от парней во двор к Семёнихе. Та нырнула в хлев и вывела оттуда упирающегося старого мерина. Завязали коню глаза, распахнули ворота и стали по очереди на него с табуретки садиться. Кому замуж выходить в новом году, того лошадь должна была без понуканий вывезти за ворота. Но мерин был битой скотиной и знал, что без тычка спешить некуда, стоял, упершись копытами в снег, и тяжело, будто наработавшийся мужик, дышал, не замечая, как на его спине егозятся девки.

С хохотом мерина загнали в хлев и решили бросать через ворота обувку с левой ноги, чтобы узнать, в какой стороне суженый живёт.

— С нецелованной начнём!..

И первой к воротам подтолкнули Маню. Та поупиралась, сняла валенок, встала босой ногой на полено и бросила чёсанок через ворота.

За забором раздался жеребьячий гогот. Парни выследили девок и застукали за гаданьем.

— Давай следующая! Чичас поймаю....

— А Егору-то чёсанок по лбу!..

— А вдруг с хромой ноги Матрёны...

Прокаленный морозом снег жёг ступню.

— Эй! — закричали девчата. — Отдайте валенок, обморозится Манька!

Валенок мягко шлёпнулся посреди двора. Гармонист завёл «Подгорную».

Девки вышли со двора и всей гурьбой пошли к Матрёне. Маня шла, спрятавшись среди рослых девчат, пунцовая от смущения. А парни выглядывали её среди других и подначивали Егора.

— На масличную свадьбу гулять будем!

Так и вышло. Солнце стало пригревать, сугробы с южной стороны начали покрываться маслянисто блестящей коркой подталого снега, когда они с Егором расписались в сельсовете. Родня помогла, и свадьба была не сиротской, с тройкой, с лентами, по-старинному. Егор в бушлате и клёшах, она, чуть оторопелая от гостевого шума и гама, так и остались на фотографии заезжего фотографа.

Лёд сошёл, пароход отвалил от берега, оставляя на глинистом откосе не одну рыдающую деваху, а Егор прочно обосновался в доме и поступил работать на лесопилку механиком. По тем временам это была видная должность, с твёрдым окладом и прочими «номенклатурными» возможностями.

Она на сносях была, когда Егора взяли на финскую. Вернулся он на костылях с простреленной пяткой. Рана была вроде пустяковой, но долго гнила и не заживала пяточная кость, и на Отечественную его не взяли.

В сорок втором совсем голодно стало. У баб, мобилизованных на лесоповал, пилы из рук выпадали, а лоси ходят вокруг, да подстрелить некому. Привезли на делянку Егора. Обосновался он в шалашике и, подкараулив, завалил матёрую лосиху-корову. Потом ещё одну. Тем мясом и спаслись тогда бабы на лесной работе.

Вспоминая мужа, баба Маня никогда не думала о том, что он умер. Ей всегда казалось, что он находится в дальнем бессрочном отъезде, и они непременно когда-нибудь встретятся. За жизнь она не цеплялась, но и не торопила смерть. Ей хотелось, чтобы все свершилось своим раз и навсегда заведенным порядком, ведь уходить из жизни она собралась не в

какую-то ледяную бесприютность, а в живую, освященную добротой и вечностью, потусторонность. Это все представлялось ей, как переход через невидимую завесу, которая в свой срок раскроется и вберет ее в себя, как сухая земля вбирает упавшую с неба первую каплю дождя.

- 3 -

Утро было мгlistым, сырые пласты тумана лежали на земле, с почерневших от обильной росы крыш сочилась влага, а деревня уже жила своей заведённой испокон веков жизнью. Во дворах позвякивали подойники, взмывали коровы, блеяли овцы, а на конце уличного порядка, давая о себе знать, щёлкал бичом деревенский пастух.

До станции было километров шесть, и баба Маня, стараясь не ступать на скользкую от росы траву, спешила на сверток, чтобы не опоздать к молоканке, которая по утрам возила молоко на станцию.

Ради поездки она оделась по-праздничному, будто в церковь. Надела чёрную шерстяную кое-где побитую молью юбку, кофту, плюшевую жакетку, а на голову повязала тёплый платок.

На свертке возле бидонов и мешков стояли бабы и старухи, постоянно ездившие торговать на станцию. Баба Маня поздоровалась с ними и стала чуть в сторонке, чтобы избежать ненужных расспросов. Заплечный мешок она не сняла, а прислонилась к старой придорожной берёзе, чтобы было легче стоять.

Лязгая разбитым железным нутром, подошла молоканка. Бабы, не спрашивая разрешения, стали забрасывать в неё мешки, ставить бидоны, потом дружно полезли в кузов со всех сторон.

Рыжий вислоносый шофёр с улыбкой смотрел на эту суматоху и покрикивал:

— Быстрее! Быстрее! А то молоко скиснет!..

Баба Маня поставила ногу на скат, дотянулась до шершавого края борта, уцепилась за него, но подтянуться не смогла, мешал враз отяжелевший заплечный мешок.

— А ты куда вырядилась? — удивленно спросил шофёр, узнав бабу Маню. — На свадьбу собралась или на богомолье?

— К Митьке... Ты бы помог забраться, а то сил никаких нет.

— Куда тебя в кузов такую нарядную! Садись в кабину, если мужиков не боишься...

— Да я уж давно отбоялась, — обрадовалась баба Маня и засеменила к кабине.

Мотор взревел, машина дёрнулась, в кузове зазвенели молочные бидоны, и на обочинах замелькали тёмные ели и берёзы с голыми сиротскими вершинами. Спустившись со взгорка, дорога пошла по стлани, через болото, по бревенчатому настилу. Машину трясло, словно она ехала по стиральной доске, и баба Маня, вцепившись в поручень, едва держалась на сидении.

— Во, дорога! — крикнул шофёр. — Хорошо хоть пять вёрст, а то бы не молоко привозил на станцию, а чистую сметану. Ты держись! В третьем годе вёз одного я приезжего с портфелем. Его как кинуло на ухабе, что голову не удержал и шею сломал. Я перепугался, думал, обвинят меня, мол, гнал машину. Оказалось, инспектор народного контроля по области. Ну, ему гипсовый воротник и домой. А мне путёвку дали бесплатную в Болгарию.

Старуха почти не слышала шофёра. Она хотела, чтобы скорее кончилась болтанка. Ей было плохо, в груди часто стучало изношенное сердце, к горлу подкатывал неприятный комок. Не часто приходилось ездить ей на машине, да ещё по такой дороге. В городе за свою жизнь была всего два раза. Но тогда их, передовиков, гуртом возили, а теперь нужно было во всём разобраться самой, и её беспокоило, как она сядет в поезд и доберётся до места.

Стлань кончилась, дорога пошла на сухой песчаный бугор, за ёлками мелькнула труба маслозавода и через несколько минут они были у вокзальчика — большой срубленной из круглого леса избы. Баба Маня достала потёртый кошелек, но шофёр от неё отмахнулся.

— У меня постоянная клиентура, — кивнул он на прыгивавших из кузова баб. — По очереди каждую субботу

пузырь ставят. Мы с соседом после баньки его шарахнем и весь расчёт.

В низеньком зале, где пахло дымом и потом, баба Маня высмотрела окошко кассы, взяла билет на проходящий поезд и села на жёсткую скамью. Народа было мало, но постепенно зал наполнялся людьми, и от многолюдья старухе вдруг стало неуютно, потому что никого вокруг она не знала, это были чужие лица, даже говорили они по-другому, не так, как говорят в их деревне.

На неё как будто сквозняком пахнуло опасностью, и баба Маня крепко сжала в руке кошелёк с деньгами.

— Щей! Щей хочу!.. — раздался визгливый женский голос, и толпа качнулась, расступаясь перед высокой костлявой старухой в грязном ватнике и калошах, привязанных к ступням бельёвой верёвкой. Баба Маня сразу узнала блаженную Грушу, которая не раз бывала у них в деревне, собирала милостыню возле церкви, потом исчезла.

— Щей хочу!..

Все отводили глаза от бессмысленного взгляда побирушки, в котором светилась неуютная пустота, и поворачивались к ней спинами.

— Иди сюда, Груша! — позвала баба Маня и начала развязывать мешок с гостинцами. — Щей нет, не обессудь. Ты вот пирога испробуй.

Блаженная схватила пирог мосластой грязной пятернёй, и он сразу провалился в её беззубом рту. Люди, поняв, что Грушу можно не бояться, стали поглядывать на неё и шушукаться. Она сразу почувствовала возросшее к ней внимание и вытянулась во весь рост. Что-то раздражало Грушу в окружающих её людях, она напряглась и двинулась к скамье, где сидела молодая модно одетая женщина и читала книгу.

Та, несомненно, чувствовала приближение Груши, сопровождаемое передвижкой узлов и чемоданов, но глаз не поднимала, вцепившись в книгу побелевшими от волнения пальцами. Груша встала перед ней, несколько раз стукнула суховатой палкой в цементный пол, повернулась и пошла к выходу.

— Высоко бес поднимет и бросит! — кричала блаженная. — Высоко бес поднимет и бросит!..

Люди, освобождённые от присутствия старухи, враз заговорили, выражая своё отношение к случившемуся. Молодая женщина тёрла платочком покрасневший носик и беспомощно озиралась по сторонам.

— Уела-таки! — сказал сидевший рядом с бабой Маней пожилой мужчина. — В прошлом году она председателя райисполкома перепугала. Вошла к нему в кабинет и давай бесами грозить...

— А давно ли на неё находит? — поинтересовались любопытные, чувствуя, что мужчина знает Грушу.

— Дети у неё сгорели. После войны это случилось. Вот и сошла с круга. Зимой в милицию идёт ночевать, летом — где придётся.

— А что её не заберут в дом престарелых или в психушку?..

— Она безвредная. Да и документов у неё нет. А без документов куда пойдёшь?..

Приближение поезда почувствовалось сразу по внезапно вспыхнувшей суматохе. Вместе со всеми баба Маня вышла на перрон и встала к железному столбу, чтобы меньше толкали.

В вагон она вошла после всех и присела на первое попавшееся свободное место. Вагон был общий, задымленный, пропахший кислятиной человеческого пота, на мутных стёклах висели скомканные грязные занавески. В её отсеке сидели мужики и пили пиво.

Старуха мельком глянула на них и уставилась в окно. Поезд дёрнулся, мимо поплыл вокзал, деревенские бабы со своим нехитрым товаром, тепловоз хрипнул и начал быстро набирать скорость. И только сейчас, глядя в мутное окно на мелькавшие деревья, столбы, летевшую вспять землю, баба Маня поняла, что она действительно едет и через несколько часов встретится с Митькой. Они не виделись полгода, и баба Маня часто вспоминала его, но не здорового, зачастую пьяного оболтуса, а маленького, с чертами покойного мужа, мальчишку, который любил сидеть у неё на коленях, задавал смешные детские вопросы, плакал из-за двойки в тетрадке. Этого давнего, уже

ушедшего из действительности Митьку, она любила до сих пор, для неё он как бы не вырос, не повзрослел с того времени, когда они остались вдвоём, вместе спали на одной кровати. В Митьке она видела не внука, он был для неё сыном, непутевой, но родной плотью.

Бывало, она строила планы, что вырастет Митька, обзаведётся семьёй, и в доме станет веселей и уютней. Не вышло. Отгорело всё это, отболело. Митька не на девок заглядывался, а на бутылки. Пожил, правда, с одной разведённой, так та пьянь похлеще Митьки оказалась. Пришла к бабе Мане в дом и украла туфли, которые старуха себе на смерть приготовила. Митька, правда, дал любовнице по шее и бросил её, но туфли пропали, а баба Маня не один десяток яиц в закупку унесла, пока сбила деньги на другую обувь.

Сейчас ей уже не хотелось большой семьи. Ей хотелось одного — чтобы её оставили в покое, чтобы она могла дожить остаток дней с таким же облегчением, которое чувствует хлебороб, дожиная своё поле. Но кто об этом знал? Кто об этом догадывался, кроме неё самой?..

Она и раньше, когда была молодой, не отличалась общительностью, а с годами стремление отойти от людей, стать более незаметной проявлялось всё сильнее. Ей всегда казалось, что люди излучают опасность, что от них следует ожидать подвоха, и потому с испуганной настороженностью глянула на молодого парня, который, допив своё пиво, видимо, от скуки спросил её:

— Куда наладилась, бабуля?..

Баба Маня сделала вид, что не слышит и отвернулась к окну.

— Бабуля! Куда едешь?.. — снова повторил парень,

— Да отвали ты от неё, Серёга! Чего старуху пугаешь...

Парни ехали с шабашки, говорили о коровнике, о каком-то Тюрине, который им не уплатил обещанные пятьсот рублей.

— У них всегда так. Как работать — давай, давай! А как расчёт — то денег в банке нет, то кассир заболел...

— Да хрен с ним, с Тюриным! Месячишко отдохнём — и опять возьмём шабашку...

— Только без меня. Я зимой не шабашу...

— Ну, тебе-то!.. Опять мотыля поедешь мыть?..

— А чо? Килограмм мотыля — два денег...

— Возьми меня...

— У нас своя артель, всё притерто...

— А ты, Серёга, так и решил машину брать?..

— Возьму...

— А по мне, так лучше выиграть. Куплю лотереек на сто пятьдесят рублей, и вперёд Серёги на машине буду ездить...

— Конечно, ты счастливый. Гошка топор уронил на тебя с крыши, а не попал по кумполу...

— Слушай, инженер! Ты лучше расскажи про корзинку. Мужики не слышали...

— Да, случай был. Счастливый. Я тогда начальником цеха на заводе, на «Приборке», работал. Прихожу после работы домой, жена меня встречает с улыбкой, шнурки на ботинках развязывает. В квартире вкуснятиной разной пахнет. Молодец, говорит жена, наконец-то ты за ум взялся, а то всё свехурочные, дежурства, конференции. Я ничего не понимаю, только вижу — в прихожей корзина стоит, большая такая, ведер на семь-восемь. Это, спрашиваю, откуда? Как, удивляется моя, откуда? Зашёл человек, поздоровался, поставил корзину и ушёл. Я — к корзине. А там — коньяк, чешское пиво, буженина, мандарины, шоколад, кофе и прочее, прочее.

Это разве не твоё, спрашивает жена. Но я-то понял, в чём дело. Моё, говорю твёрдо, разгружай, а корзину на балкон. Месяц жили по высшему разряду. Утром икорка, кофе. Вечером коньячок пригубишь...

— И чья же корзина была?

— Это через год открылось. Наверху у меня жил один начальник, ну, неважно какой. А корзину ему из района привезли. Шофёр двери спутал и ко мне её затащил...

Мужики захохотали.

Баба Маня слышала разговор и поняла только одно, что эти мужики народ хотя и городской, но безвредный. У них в деревне тоже постоянно обитали строители. Клуб достроили, магазин, про них говорили, что большие тысячи загребают, а своим заработать не дают. И эти, видать, из таких же, только уж очень

шумные. А она никогда не любила шума и не понимала, как могут люди кричать, когда на это нет никаких причин. Озорство, хотя уж и не маленькие.

Пришла проводница, сгребла пустые бутылки из-под пива, мужики пошли курить в тамбур. У бабы Мани засосало под ложечкой, она достала из кармана плюшевки ржаной сухарик и положила в рот. Сухарик таял на языке, старуха глотала горьковато-сладкую слюну и неприятная тяжесть в желудке растворилась.

«Господи, — вздыхала старуха. — Думала ли, что придётся в казённый дом ехать, элтепе проклятое!.. Дожить бы уж как-нибудь. Кто приберёт только... Сирота я...».

Баба Маня уголком платка вытерла наслезанные глаза. Она не любила и избегала жалеть себя, но иногда это чувство просыпалось в ней и точило душу. Чтобы как-то облегчить её, старуха закрыла глаза и зашептала молитву.

- 4 -

К вахте лечебно-трудового профилактория баба Маня попала под вечер. Десяток осыпавшихся тополей, асфальтированная дорога, одноэтажное кирпичное строение вахты, железные ворота, кирпичные стены с колючей проволокой по верху, разбегавшиеся в обе стороны — всё это выглядело строго и неудобно. Баба Маня взошла на невысокое крылечко и потянула за ручку двери. Вахта была заперта, а в мутный глазок ничего не было видно. Кнопку звонка старуха не разглядела, а стучать в дверь поопасалась и села на кирпичную ступеньку.

Минут через пятнадцать дверь с лязгом отворилась и мимо бабы Мани, клацая стальными подковками сапог, прошёл военный.

— Милочка! — вскинулась вслед военному баба Маня. — Как тут войти?..

— А вы кнопку звонка нажмите, вам и откроют, — бросил через плечо военный и пошёл дальше.

Баба Маня нашла кнопку, нажала на неё и, сжав от волнения губы, уставилась в глазок. За ним что-то мелькнуло, лязгнул запор и на пороге появился прапорщик.

Он недовольно поглядел на старуху и сразу всё понял.

— Ты что, мать, не вовремя приехала? Свидания только по воскресеньям у нас.

— Так я письмо от Митьки получила, срочное, — заторопилась баба Маня. — Дом на соседей оставила — и сюда...

— Какое срочное, — пробурчал прапорщик и взял скомканный конверт.

— Таких срочных они на дню по десять раз пишут, — хохотнул он. — Вот от начальника — тогда срочное. А что у тебя в мешке?

— Пирогов напекла, курочка...

— А самогонку не привезла?..

— Что ты, оборони господь! В жизни этим не занималась...

— Не занималась, а Митька здесь! Тут таких Митек с тыщу будет. Где я тебе твоего Митьку достану? Может, он на работе...

Баба Маня просительно смотрела на начальника, и он смягчился. Пошёл звонить по телефону, искать внука в толпе своих клиентов, а бабу Маню завёл к себе и усадил на кушетку, обитую клеёнкой.

В окне она увидела большую заасфальтированную площадку, двухэтажное здание, у которого курили одетые в чёрные хлопчатобумажные костюмы люди, а дальше стену, за которой синело просторное осеннее небо.

Пришёл прапорщик с бумажкой в руке.

— На работе твой Митька, мамаша. На кирпичном заводе. Это недалеко, с полкилометра будет. Вот я на бумажке написал, как его найти. Деньги у тебя есть?..

— Есть, — неуверенно сказала баба Маня.

— Ну-ка, покажи...

Прапорщик взял потёртый гомон, пересчитал деньги. — Шесть с полтиной... Билет сколько стоит?

— Рублей пять...

— Запомни, мать. Денег ему не давай ни копейки, если даже ещё есть, я всю ночь буду дежурить, приду, проверю. Если он после тебя хмельной будет, сидеть ему тут до звонка. Поняла?..

Старуха, клятвенно обещала не портить внука. Прапорщик вывел её на крыльцо и показал дорогу на завод.

День потускнел, тяжёлая, похожая на скалу туча, набитая первым снегом, заслонила западную сторону неба и надвигалась на посёлок. Сразу стало холодно, острый пронизывающий ветер гнал по дороге пыль, обрывки бумаги и шумел в зарослях спелой полыни на обочинах.

Проходная на заводе была пуста, ворота открыты, их перегораживала ржавая железная труба. Баба Маня огляделась по сторонам, пролезла под трубой и подошла к приземистому кирпичному строению, возле которого на стопке кирпича сидел и курил мужик, одетый в брезентовое рваньё и коротко, по щиколотку, обрезанные валенки.

Мужик посмотрел на бумажку, написанную прапорщиком, и сказал:

— Это из другого отряда. Ищи с той стороны, вторая печь там. Иди по цеху и как раз упрёшься...

В цеху было пыльно и холодно. Баба Маня брела по бордюру, сторожко оглядываясь по сторонам. Вдруг откуда-то из темноты что-то завизжало, засвистело. Она отпрянула к стене, а мимо неё с воем промчалось какое-то сооружение, высекая из проводов, протянутых наверху, трескучие искры. Сооружение, скрежеща тормозами, остановилось, с него соскочил чумазый человек, рванул на себя вагонетку с кирпичами и скрылся в ходке обжигальной печи.

«Господи! — со страхом подумала баба Маня. — Перепугал до смерти...»

Бетонный бордюр кончился. Она перелезла через неглубокую траншею, на дне которой лежали рельсы, и оказалась на площадке, где какая-то баба складывала в кучу деревянные полки.

— Мне бы на вторую печь, — спросила она.

— Иди дальше, через сушилку, формовку. Не успеет рассветать, как придёшь...

— Чой так далеко?..

— Кому как, — засмеялась баба. — А ты кого ищешь?..

— Внук у меня тут...

— Элтепешник, — догадалась баба. — Ты погоди, вон лафет идёт, я тебя до формовки доведу.

Подошёл лафет, баба закатила на площадку вагонетку с полками, поставила старуху рядом с лафетчицей, сама встала на край рамы. Лафетчица крутанула баранку и, набирая скорость, они поехали в мутную от пыли сушилку. Двери многих камер были открыты, из них тянуло жарким угаром и дымом.

«Каторга! Чисто каторга!» — с ужасом подумала старуха, которая до этого ни разу не была на кирпичном заводе.

Она с опаской посмотрела на едущих с ней женщин. Неужели и они осуждены здесь работать, как её Митька?..

Проезд между сушильными камерами расширился, и они попали на сравнительно светлое и просторное место, где было много людей, работавших вокруг двух прессов. В основном это были тоже женщины.

Из горловины пресса тёк окутанный паром глиняный брус, от которого отсекались кирпичи и ложились на деревянные полки. Затем механические руки подхватывали эти полки, передвигали и поднимали в высоту. Единственный возле пресса мужик снимал эти полки на высокую рогатую вагонетку и закатывал её на лафет, который наклонялся и проседал под тяжестью сырых кирпичей.

В формовочном цеху было шумно, часто молотил пресс, потолок подрагивал и гудел от работы каких-то машин, которые были установлены наверху, и баба Маня, сойдя с электролафета, не знала в какую сторону идти. От езды, шума и гари у неё кружилась голова, хотелось поскорее выбраться в какое-нибудь тихое и безопасное место.

— Погоди! — крикнула ей в ухо укладчица полок. — Сейчас поедem!

Она столкнула вагонетку с полками, подкатила к прессу, попила воды, выдернув откуда-то резиновый шланг. Бабе Мане тоже хотелось пить, но она сдержалась и присела на шаткую скамейку возле подъёмника. Но сидеть ей не пришлось, подошёл

электролафет. Путаясь в полах юбки, она втиснулась в железную клетку рядом с какой-то девчонкой. Укладчица полок закатила пустую вагонетку, и с визгом и воем, рассыпая по сторонам трескучие искры, они помчались вдоль сушильных камер.

Очутились они опять в пустом и сравнительно тихом помещении, где лежали груды полков.

— Иди теперь вокруг печи — сказала укладчица. — С той и с другой стороны выгружают кирпич. Где-нибудь найдёшь...

— Спасибо, спасибо, — поблагодарила её баба Маня и пошла вдоль печи.

Она уже не шарахалась от электролафетов, которые возили высушенный кирпич в печь. Из открытых дверей на неё потянуло холодом. Она выглянула на улицу и увидела, что небо плотно, без единого просвета заволкло тучами, накрапывал мелкий дождичек, и быстро темнело.

«Снег будет, — с огорчением подумала баба Маня, — а я чисто девка в туфли вырядилась. Нет бы, хоть резиновые сапоги надеть».

У открытого ходка она остановилась, перешла рельсы по железному мостику и заглянула в печь. Три девки в драных платьях ловко хватали кирпичи с низкой вагонетки и ставили их клетками и ёлочками до самого свода печи.

— Девчата! — обратилась к ним баба Маня. — А где тут Митька?..

Девки посмотрели на старуху с мешком за плечами, прыснули, а одна, побойчее, спросила;

— А ты ему кто будешь?..

— Внук он мне...

— Слава богу, хоть не свекровка, — как-то непонятно для бабы Мани сказала деваха и закричала, — Митька! К тебе бабушка приехала!..

Послышались мягкие шаги, из-за крутого поворота печи вышел Митька.

— Здорово, бабуля! — спокойно сказал он, будто они расстались сегодняшним утром.

Старуха заторопилась к внуку, заплакала.

— Внучек! Митенька! Куда они тебя, ироды, упекли! Что за провинности у ребёнка!..

Баба Маня повисла на внуковой шее, а тот отстранялся от неё, смущённый слезами и всеобщим вниманием.

— Погоди, баб Мань, погоди! — повторял он, отступая к своду печи. — Измажу тебя всю, я ведь в робе...

Баба Маня, плача, отступила от внука и стала вытирать лицо уголком головного платка.

— Пойдём отсюда, — сказал Митька и потянул её за собой. — Посиди чуток, скоро молоко привезут. Я тебе сейчас местечко сооружу...

Внук положил на стопки кирпичей доску и усадил на неё бабу Маню.

— Здесь тепло и сухо. Сегодня большой жары нет. На остывании много рядков...

— Мить, ты бы покушал. Я пирожков привезла и курочку...

— Некогда сейчас. Вот ужин привезут, тогда и поем...

С Митькой на выставке кирпича работали ещё двое мужиков. Так же, как он, коротко стриженные, исхудавшие, мосластые. Нагружали на вагонетку, поставленную на небольшое возвышение, двое. Хватали горячие, присыпанные блёклым пеплом кирпичи, и швыряли их, не глядя, на поддон. Когда он наполнялся, в ходок заходил третий, спускал тормоз, и вагонетка с воем вырывалась из печи на разгрузочную площадку. Там стоял на одной ноге высокий башенный кран, составлявший поддоны в ровные ряды.

От обожжённых кирпичей на бабу Маню веяло сухим баннм жаром, а из открытых ходков тянуло с улицы холодом. Она сидела на доске, держа на коленях мешок с гостинцами, и смотрела, как Митька, забравшись под самый свод печи, бросал оттуда кирпичи.

«Окаянная работа, — думала баба Маня. — Лучше уж коровники чистить. Тут долго не поработаешь...»

И правда, работа была однообразной, нудной, выматывающей душу. Обычные работники на неё уже не шли, только элтепешники работали, да люди, которым некуда было деваться. На них только и держалось кирпичное производство. Но баба

Маня об этом не знала, она видела лишь одно, как мается её единственный внук.

Работа застопорилась. Мужики прыгнули с подставленных под ноги кирпичей.

— Сколько времени до конца смены? — спросил Митька у напарника.

— Часа три с половиной...

— Да, дела!.. Если б час другой, а то придётся нам начинать свар ломать. Как ты считаешь, Рыжий?..

— Докурим. Спешить некуда...

— погоди, бабуль! Мы сейчас придём...

Вернулись они втроём, с ломами и бутылками молока. С улицы затащили поддон, поставили на кирпичи, и получился стол.

— Ну, давай, бабуль, пироги!..

Баба Маня с неохотой развязала мешок. Ей хотелось, чтобы Митька ел один, но деваться было некуда, и выложила на шершавые доски деревенские гостинцы.

— Пирогов-то! — удивлённо сказал Рыжий. — Ты как это, бабушка, дотащила их? Вроде и смотреть не на что, а смотри-ка, донесла... И с капустой, и с картошкой, и с молитвой!..

Мужики с жадностью ели пироги, запивая молоком, а старуха смотрела на них и вздыхала. Для неё, уже прожившей свою жизнь, они были страдальцами, и она дала себе слово, вернувшись домой, поставить им в храме свечу.

— Что-то рано вы сегодня шабашите...

В печь вошёл начальнического вида с явно очерченным брюшком человек в синей куртке и шляпе. Митька прожевал пирог, икнул и сказал:

— Свар, Иван Матвеевич!..

— Так, берите ломы — и вперёд!.. К победной цели... А это к кому? — он кивнул на бабу Маню.

— Ко мне, — сказал Митька. — Взяли восемь тысяч уже.

— Всего-то, — протянул мастер, доставая записную книжку. — На прогрессивку надо вытянуть.

— А на кой нам прогрессивка? — буркнул третий выставщик со свёрнутым на сторону носом. — Упираемся, как папы карлы,

а к чему?.. Мне ещё год мантулить, как за растрату.

— Что ж тебе деньги не нужны?..

— А на кой они? Всё равно утром — рыба, в обед тухлые щи, вечером опять рыба...

— Тебе же деньги на книжку идут...

— Слушай, Иван Матвеевич, взрослый ты мужик, а как ребёнок! — сказал Рыжий. — Мы не пьём, стало быть, деньги нам ни к чему.

— Так уж не пьёте... Сегодня с формовки слесаря увезли, в лоскуты пьяный...

Так — то слесарь! — засмеялся Митька. — У него шабашки, он — «интеллигент».

— Вкатят этому «интеллигенту» интересный укольчик, враз успокоится.

Мужики заскучили, они знали, что такое высокотемпературный режим, все через него проходили, и теперь боялись его пуще карцера.

— Ладно, — сказал мастер, заметив, что мужики притихли. — Берите лом и ломайте свар. И осторожней с этим делом. — Он щёлкнул себя по горлу.

— Тьфу ты! — сплюнул в горячую пыль кривоносый мужик, когда мастер ушёл. — Пьёт, как насос, жрёт, как удав, а туда же с советами...

— Вы ешьте, ешьте, — заторопилась баба Маня, заметив, что мужики намереваются закурить. Она испугалась мастера и только-только пришла в себя.

— Хорошо, бабуля! — отмахнулся Митька. — Остальное в зону возьмём. Сиди, грейся...

Покурив, мужики взялись за ломы. Кривоносый залез под свод, просунул в щель между обгорелыми кирпичами лом, крикнул и обрушил на дно печи большой ком сваренной намертво глины. Кирпичи были обгоревшими, отливали синевой — вспухшие и разорванные не смиренным вовремя жаром.

Закалённое железо высекало из свары искры. Понемногу ком распадался на большие, уже неразъёмные куски. Их бросали на поддон и выкатывали тележку на площадку. Баба Маня всегда любила смотреть, как работают мужики, строя дом или на

косьбе, но эта работа не пробуждала у неё интереса. Наоборот, она беспокоилась и ждала, что вот-вот случится какое-нибудь несчастье.

Но мужики не спешили. Эта работа оплачивалась, конечно, по нарядам, и они, обрушив вниз свар, особо не напрягались, считая, что что-то должно остаться и другой смене. Правда, в ходок изредка заглядывал мастер, поторапливал, но без заводного напора, видимо, тоже понимал, что смена сорвана, и большего добиться нельзя. Мастер исчез и мужики, бросив ломы, взяли из мешка ещё по одному пирогу.

— А к завтраму опять напечёшь пирогов? — улыбаясь, спросил Рыжий.

Баба Маня беспомощно развела руками.

— Можно прямо здесь в печи. Вон Митька жениться собирается, так если на весь отряд печь, так только здесь...

Митька чуть с кулаками на Рыжего не бросился.

— Ты, обормот ржавый! — закричал он, брызгая слюной. — Опояшу ломом, чтобы хлебoreзку не раскрывал!..

Рыжий, цапнув пирог, отступил за вагонетку. Но Митька уже успокоился и, повернувшись к бабе Мане, нехотя сказал:

— Сошёлся я тут с одной. Здесь, на садке работает. Из-за этого и насчёт дома писал.

— А что дом, — тихо сказала старуха. — На тот свет с собой не заберу. Живите...

— Да, понимаешь, баб, у неё ребёнок. А так она хорошая.

— А что ребёнок?.. Живите...

— Клавка! — закричал Митька. — Иди сюда!..

Жена — не жена, баба Маня не знала, как её назвать, оказалась крупной, вровень с Митькой, молодой бабой. В рабочем платье оценить её было трудно, но бабе Мане понравились широкие Клавины ступни, она любила, чтобы у человека были надёжные подпорки.

Клава, не жеманясь, взяла кусок пирога и встала рядом с Митькой.

— Может, по половинке освободят, если не сорвусь, — сказал внук. — Сколько до конца смены?..

— С час осталось, — ответила Клава.

— Ты бабулю возьми с собой переночевать. Поезд-то утром...

— Да я на вокзале перебуюсь, — попыталась сопротивляться баба Маня.

— На вокзале милиция заберёт, — пошутил Митька. — Ведь документов у тебя нет.

— Я в душ пораньше уйду, — сказала Клава. — Митю проводим и пойдём ко мне.

Мужики ещё раз взяли за ломы. Выкатили с десятков вагонеток ломанного свара и ушли в душ. Баба Маня, подрёмывая, ждала.

Первой пришла Клава. Баба Маня едва узнала её. Клава была одета в светлый плащ, сапоги на каблуках, от чего стала ещё выше. На голове у неё была шляпа с широкими полями.

Пришли мужики, в тюремных фуфайках без воротников, чёрных рабочих костюмах, кирзовых сапогах и чёрных зимних шапках. Они тоже помылись в душе, и на вымытых лицах проступила синеватая бледность, свойственная всем, кто живёт взаперти.

— Пошли что ли, — сказал Митька, забирая у бабы Мани мешок с пирогами. — Ты, бабуль, больше не езд.

— Слушай, Митенька, — задала баба Маня давно заготовленный вопрос. — А если я помру, тебя на похороны отпустят?..

— Ну вот! — махнул рукой внук. — Завела! Живи и радуйся!..

На улице было темно, ветрено, шёл крупными хлопьями мокрый снег. Разогретые работой и душем мужики сразу скукожились, втянули головы в плечи и засунули руки в карманы штанов.

Возле проходной на освещённой мотающимся из стороны в сторону фонарём площадке кучкой стояли люди и слышались слова команды:

— Разберись по пять человек!..

— По пятёркам становись!..

Мужики бестолково толкались, начальники злились. Митька обнял бабу Маню и трижды поцеловал в обе щеки. Старуха заплакала.

— Береги себя, Митенька! Мне бы только тебя дожидаться, ничего больше не надо.

Мужики, разбираясь на ходу по пятёркам, пошли через проходную. Митька, махнув рукой на прощанье, нырнул в толпу, а баба Маня и Клава, пропустив их мимо себя, пошли с освещённого места в тугую, круто замешанную на белом снеге, осеннюю темноту.

Серый в яблоках

Человеческая память во многом причудливо избирательна. С годами многое из неё вымывается, но не всё. Что-то в ней отпечатывается ярко, лежит всегда на поверхности и, чуть углубись в себя, сразу предстанет перед глазами, а что-то оказывается размытым, потерянным почти навсегда. Это глубинная, потаённая память, лежащая близ дна нашего сознания. И в потаённых её уголках остаются едва мерцающие блики и отсветы былого. И они иногда без всякого зова вдруг начинают смущать мою душу пока ещё смутной тревогой и томлением о чём-то бесконечно дорогом и близком. И внутри меня проскакивает электрическая искорка, и из темноты минувшего выплывает и начинает дразнить моё обоняние нечто вроде запаха спелой полыни, в изобилии росшей в Копае, земляночного пластяного царства, где я жил в бесконечно далёком детстве.

Но вот уже в полынный настой примешивается запах конопли, непроходимые заросли которой были на задах и тянулись бурьяном до тощего березняка. И я уже ввявь вижу нищий посёлок, приткнувшийся к старице Иртыша, большой спокойной воде, где летом сияло разноцветье кувшинок и хорошо брали, даже на наши самодельные крючки, чебаки и ерши. За старицей был луг. Весной его заливало половодье, и тогда вода тянулась так далеко, что даже острым ребячьим взглядом невозможно было охватить всю эту сияющую цветами радуги водную гладь.

Зимой старица, пока не выпадал снег, представляла из себя ровное зеленоватое стекло, на котором мы катались на коньках, распахнув, как можно шире, полы больших родительских телогреек. Ветер нёс меня по льду на прикрученных ремешками снегурках, и от скорости захватывало дух, увлажнялись глаза, и в эти мгновения я был по-настоящему счастлив. Накатавшись, я любил, лёжа на льду, рассматривать, что происходит в позимнему дремлющей старице.

В медленном течении родников извивались тёмно-зелёные водоросли, вставали, как бы вскипая, со дна пузырьки воздуха, неторопливо проплывали щуки, стремглав кидавшиеся в заросли от малейшего шороха. Это был таинственный завораживающий душу мир, но существовал он недолго, начинали идти снега, налетала пурга и река, и посёлок, и лес, и бурьян — всё окутывала, укрывала пушистая и слепящая глаза белизна и начиналась зима...

А полынь всё также пахнет, вспоминая остро, и к ней уже примешивается запах пыли из-под колёс грузовиков с флягами и автоцистерн, доставляющих день и ночь из окрестных деревень молоко на завод, где делали сгущёнку. Обветренные, пахнущие бензином шофёры часто останавливались возле землянки Корпачихи, брали у неё бражку и пили тут же из пивных алюминиевых кружек.

Это были наши посёлковые мужики, и почти всех я знал. Они, молча, пили, потом закуривали и начинали разговор. Кругами я медленно приближался к ним, они не обращали на меня внимания и толковали о дорогах, запчастях, зарботке, выжиге завгаре... Нам, ребятне, толпившейся вокруг, нравились машины, здоровенные громоздкие ЗИС-151, фляговозки с рыкающими моторами, с загнутыми на бамперах металлическими рогами-захватами.

Как я завидовал Генке Полеву, своему однокласнику!..

Его отец был шофёром, и он самодовольно поглядывал на меня из машины, пока отец куролесил с друзьями. Иногда Генка пускал меня в кабину, но за руль садиться не разрешал, да мне было довольно и малого — сидеть, раскачиваться на пружинном сидении и глядеть вокруг.

Шофёры в посёлке были людьми заметными. Они первыми начали строить пятистенки-насыпухи, казавшиеся среди землянок хоромами, первыми покупали ламповые радиоприёмники, а у нас с мамой не было даже электричества. В углу хрипела картонная радиотарелка, а вечерами горела керосиновая лампа-десятилинейка.

Шофёры пили брагу, разговаривали, но особого накала их компания достигала тогда, когда к их кружку подкатывала одноколка с Алмазом в упряжке, и пожарный ездовой Тимоха Брагин резко осаживал жеребца перед мужиками. Алмаз фыркал, поводил огненными глазами из стороны в сторону, норовил наступить на гуляк. Те недовольно отстранялись.

— Ну, ты, убери жеребца!

— А я что сделаю? — щерился Брагин, привязывая вожжи к ограде. — Вы раздражаете благородное животное своим бензинным духом.

— Тридцать лет как благородиев нет. Ты что последнего себе запряг?

— А что? — говорил ездовой, привязывая вожжи к ограде. — У него, как положено благородию, родословная. А вы кто?.. У Алмаза родословная, дай Бог каждому, хоть бы тебе...

Брагин подначивал старшего Полева, который недавно получил новую машину и, подвыпив, спорил, что обставит теперь на дороге любого водителя.

Мужики переругивались, а я смотрел на Алмаза, серого в яблоках жеребца из заводской пожарной охраны. От него крепко пахло потом, новой кожей сбруи в медных начищенных бляхах. Ему не стоялось на месте, и он то слегка оседал на круп, то натягивался весь, как струна, готовый оторвать привязь и умчаться на зады, где в поле, отдыхая перед ночной сменой, паслись рабочие лошади.

Между тем Тимоха выпивал кружку браги, сворачивал «козью ножку» и говорил, обращаясь к Полеву:

— Так это твоя железяка?.. — и кивал на «ЗИС».

— Ну, что с тобой, Тимоха, говорить? — сразу заводился Полев. — Ничего ты в колбасных обрезках не понимаешь. Ты — конюх, понял?.. А я — шофёр!.. Чувствуешь разницу?.. Вот

пришлют пожарную машину, и все ваши коняги на колбасу пойдут. А тебе, Тимоха, лопату в руки дадут. Ты же только и умеешь, что вожжи дёргать да орать «ну», да «тпру».

— Это ещё доказать надо! — взрывался Тимоха. — На колбасу! Да твоя железяка триста метров проедет и заглохнет. Или не заведётся. А мы с Алмазом в один момент добежим. У нас брат скорость чемпионская, не то, что у твоего утюга!..

Полев в ответ презрительно хохотал и, улучив момент, прокрадывался к своей машине. Резкий сигнал заставлял всех врасплох, Алмаз резко отшатывался от ограды, трещал штaketник, и Тимоха еле-еле успевал перехватить жеребца.

Этот спор или игра между шофёром и ездовым продолжалась бы долго, но кто-то из мужиков надоумил их устроить гонки, чтобы выяснить кто скоростнее, Алмаз и «ЗИС».

— Да я шестнадцать вёрст до Любина за полчаса прошёл! — бахвалился Брагин. — А твой утюг в первой лыве сядет...

— Да он у тебя на первой версте сдохнет! — отвечал Полев. — Это техника, дурень, а не твойдохлый мерин!

Дальше — больше, разошлись спорщики, удержу нет никакого. Готовы были сейчас же езду наперегонки устроить, да больно нетрезвы были, спьянились с бражки, в которую Корпачиха для крепости под низ бочонка подкладывала листья самосада.

Разошлись они, вроде забыли о споре. Но через неделю опять съехались и опять схватились уже всерьёз.

— Ладно! — не выдержал Полев. — Давай хоть завтра. Вон на задах дорога. Я тебя вмиг обставлю.

— Конечно обставит, — согласились мужики, — если на километров десять, а вот километра на два... Тут Алмаз за себя постоит, он пахтой с мала отпоенный, вон — чисто бес на привязи!

— Ну, Полев на два километра сдрейфит, — подковырнул Тимоха.

— Чёрт с тобой! На два так на два! Проигравший ставит ящик водки, на всех!

Тимоха скривился от возможного расхода, но смолчал. Зато мужики обрадовались, зашумели: уж они-то выигрывали в любом случае.

Гонки устроили на Троицу. За неделю до этого события все посёлковские только о том и говорили, кто победит. Народ как бы надвое в мнениях раскололся. Те, кто помоложе, стояли за Полева, за технический прогресс. Люди постарше поддерживали Тимоху Брагина.

А сколько споров, сколько разговоров об этом было! Где сойдутся двое-трое, и сразу обсуждать — кто верх возьмёт, кто (а это не последнее дело) ящик водки выставит. У мужиков во рту от жданки пересохло, да и мы, пацанва, измаялись, пока дождались этого забега.

И вот в воскресенье на задах, на бугре, где мы играли в лапту, собрался народ. С одной стороны подъехал Полев, надевший ради такого торжественного случая гимнастёрку с орденами, с другой — Тимоха на свежевыкрашенной красной краской двуколке, в чистой рубаше. Алмаз был тоже прибран по-нарядному: в гриве голубые и зелёные ленты, медь сбруи была выдраена золой и ослепительно горела на жарком солнце.

Шумно, но единодушно выбрали судью — степенного и хозяйственного мужика — Максима Киреева. Он был ходатаем по всем посёлковским делам перед начальством, и общество ему доверяло.

— Ну, вот что, мужики! — сказал Максим, — дорогу мы мерить не будем. Начнёте вон от той кривой осины и до этой кучи земли. Тут как раз километра два будет. Как, годится?

— Согласны, — сказали Полев и Брагин.

— Ну, с Богом! Как фуражкой махну, так и начинайте!

— Погодь, погодь, — сказал Тимоха. — А как начинать? Пусть он свой утюг сначала заведёт, а потом едет.

— Не пойдёт, — отказался Полев. — Тебе Алмаза заводить не надо. Хлыстанёшь вдоль спины, и всё.

— Ну и что? У меня жеребец всегда в исправности. А если твои железяки не забренчат, то так тому и быть!

Все вокруг зашумели, заколготились, поддерживая ту или другую сторону. Затруднился принять окончательное решение и

Максим. Он поглядывал по сторонам и неторопливо курил, явно выжидая, что всё обзаведётся само собой.

— Так я не согласен! — орал Тимоха. — Твоя техника ненадёжная, рассказывают, с американского «студебеккера» слямзали наши. А мой Алмаз русских кровей, будёновский. Да он этот утюг без разбега перепрыгнет!

— Ладно, чёрт с тобой! — нехотя согласился Полев. — Поехали!

Максим заплёвал окурком и снял с головы фуражку. Все стали искать места, с которых можно было бы лучше увидеть вот-вот готовую начаться потеху. Мы с Генкой устроились на развилке старой берёзы.

Сверху мне было хорошо видно окрест: и старицу, и дымящую трубу завода, и берёзовую рощу, и просёлок, на котором должно начаться соревнование. Вокруг было пусто, только на свежей траве паслись кони-работяги, для которых по случаю воскресения был тоже выходной, как и у всех посёлковских мужиков и баб.

Двуколка и машина встали у кривой осины. Теперь всё внимание было обращено на Максима. Он забрался повыше на взгорок, помял в руке фуражку и резко взмахнул ею вверх. Толпа затихла, потом все загомонили:

— Пошли! Пошли!

Пока Полев давил на стартер и переключал рычаги, Алмаз резвой иноходью рванул вперёд, да так споро, что на Тимохе сзади запузырилась рубаша. Жеребец был так красив, так силен, что симпатии большинства враз перекинулись к нему. Даже те, кто стоял за Полева и за автомобилизацию всей страны, восторженно вопили:

— Алмаз! Алмаз!

Жеребец явно побеждал на первой половине дистанции. Он мчался с такой скоростью, что спицы одноколки слились в один круг, выбрасывая подковами ошмётки чёрной земли, и ленты победно трепетали. Разрыв между машиной и Алмазом был не меньше тридцати метров, и мне хорошо было видно, как Полев с угрюмым лицом сжимал баранку, газуя до отказа. За мчавшимся «ЗИСом» поднимался шлейф сухой пыли.

— Догоняет! Догоняет! — восторженно завизжал Генка.

Толпа зрителей затихла. Полев настигал Тимоху, через мгновение настиг, и они пошли вровень друг с другом.

— У, чёрт! — выругался Максим. — Сбоит Алмаз...

И правда, с жеребцом творились что-то неладное. Он замедлил бег, начал взбрыкивать, мотать головой, будто норовил сбросить с себя упряжь. Тимоха, приподнявшись в двуколке, огрел его вдоль спины арапником и сделал это совершенно напрасно. Алмаз резко затормозил, поднялся на дыбы, потом ударил по двуколке, да так, что от неё отлетело сидение, а за ним кувыркком вылетел Тимоха и покатился по траве.

Все замерли, а жеребец ещё несколько раз ударил по двуколке и, покрывая ржанием всю округу, попёр, что он неё осталось, к пасущимся рабочим лошадям. Конюх, приглядывавший за ними, кинулся, было, ему навстречу, размахивая бичом, но в последний момент сумел сообразить, что это смертельная опасность, и спрятался за дерево.

Взбешённый Алмаз ворвался в мирно пасшийся табун и напал на большого гнедого мерина, которого, видимо, принял за вожака, мерин и голову не успел поднять от земли, как Алмаз грудью сшиб его с ног. Лошади кинулись бежать врассыпную, а Алмаз помчался за саврасой кобылой, оттесняя её от остальных лошадей. Его могучее призывное ржание напоминало визг механической пилы, погружаемой в твёрдое сухое дерево. Кобыла остановилась, и Алмаз пал на неё всей мощью своего жеребьячьего естества.

— Да, — подвёл итог состязанию Максим, надевая фуражку.

— Ты, Тимоха, по всем статьям проиграл.

Пожарный ездовой понуро молчал, а мужики брали его в круг, обступая со всех сторон, чтобы он не улизнул ненароком. Тимоха обречённо вздохнул и начал искать в карманах штанов кошелек с деньгами.

— Тут никакой обиды не должно быть, — рассудительно сказал Максим. — Конечно, машина — вещь неживая. Может Алмаз и быстрее, но природа подвела. Одно слово — жеребец! Что ему зазря мимо кобыл проходить. Ему своё жеребьячье дело надо править. Он — хозяин! Мужик! Да...

А у нас во дворе

Тот самый, может быть самый разнесчастный день в его жизни, начался для Горобцова самым обыкновенным образом. Он проснулся полшестого утра на четвёртом этаже панельного дома возле своей миниатюрной и весьма привлекательной жены Светы. Протерев шершавой ладонью лицо, глянул на неё и стал осторожно подниматься с кровати. Будильник должен был вот-вот затренькать, и Горобцов перевёл стрелку на половину восьмого, когда время просыпаться жене. Она работала рядом с домом в поликлинике и за полчаса успевала собраться и дойти до своего рентгенкабинета.

Трёхкомнатная квартира была загромождена вещами, почти все они были новыми, купленными в угарный 1991 год, когда всё сметалось с прилавков. С тех пор прошло уже девять лет, а они — морозильная камера, стиральная машина, коробка с телевизором, ящики с мебелью — так и стояли в коридоре невостребованными. Горобцов по утрам спросонья натывался на острые углы доперестроечных изделий советской промышленности и чертыхался. Много раз он заговаривал с женой на предмет продажи этих запасов, но та резонно отвечала, что у них есть дочка. И это всё её. Однако дочка замуж не спешила, окончив один институт, поступила в другой. Всё это влетало в копеечку, но Горобцов без особого труда преодолевал это препятствие. Получая военную пенсию, работал и неплохо зарабатывал.

Он покопался в холодильнике, достал пару яиц, сделал яичницу, сварил кофе. Поел и заторопился на выход: захотелось курить, а дома он этого не делал, всегда курил на лестничной площадке или на балконе.

На улице закурил и закашлялся. «Чёрт, — подумал он, — и курево надо бросать, а что останется?..» Вспомнилось, что жена всё чаще начала отворачиваться к стенке и сразу засыпать, а он ворочался, покряхтывал, поглаживал свою ненаглядную, но та безмятежно спала. Поговорить об этом напрямую он стеснялся, только наберётся духу, как жене приспичит, а после этого какой

разговор. Мужик он был ещё в силе, видный, на него заглядывались, и соседки и бабёнки на работе.

На остановке автобуса на первый рейс собрался народ, все знакомые, из одного квартала.

— Привет, Юра, — поздоровался с Горобцовым сосед, тоже отставник. — Не слышал, говорят, что пенсию добавляют.

— Догонят и ещё добавят, — буркнул Горобцов. Он недолюбливал бывшего гэсэмщика, на службе ему приходилось с ними сталкиваться. Один раз заправили вертолёт какой-то дрянью, чуть не гробанулся. Правда, среди них попадались и нормальные ребята, не жмотничали, а спиртиска у них всегда был.

— Добавят, это точно, — продолжал сосед. — Президент армию не бросит. Куда он без армии?

— Не бросит, а кинет.

Горобцов махнул ручкой и отошёл в сторону. Подполз, громыхая железными внутренностями, автобус. Горобцов быстро юркнул в дверь и плюхнулся на жёсткое сидение. Через пару сотен метров дороги начинался мост через Волгу. Собственно, это уже была не река, а огромное зацветшее и закисшее водохранилище. «Лещ пошёл», — подумал он, увидев столпившиеся лодки на том месте, где ещё было течение. Рыбаки были как будто рядом, но Горобцов знал, что до них было далеко, а высоту он чувствовать умел, научился за два десятка лет лётной работы.

Автобус погромыхивал на сочленениях моста и мыслями Горобцов вернулся к привычному — к деньгам. «Странное дело, думал он, раньше семье требовалось от него кое-что ещё, кроме денег, а теперь только одно: деньги, деньги, деньги!..»

Благоразумие удержало его от занятий бизнесом, это было хлопотно и небезопасно. Горобцов несколько лет после увольнения проработал слесарем на ТЭЦ, а сейчас — в частной фирме. Зарабатывал он больше своей пенсии, жена, рентгенолог, получала мизерную зарплату, но его денег хватало на всех.

Иногда, когда жена с дочкой его чем-нибудь допекали, он говорил:

— Вот сдохну я, что вы будете делать, как и на что жить?

В ответ на эти слова жена возмущённо фыркала, дочка поджимала губы, но Горобцов усматривал в их негодовании лишь правоту сказанного им. Жизнь вроде бы шла нормально, однако что-то в семейных отношениях исчезало, выветривалось, что ли. И его всё чаще тянуло хряпнуть стакан водки и уйти из дома во двор, где он подолгу бродил между домами, попыхивая дешёвыми сигаретами. Накурившись до дурноты, Горобцов возвращался домой и смирно ложился спать.

Частная фирма выпускала дорожные указатели, и заказы у неё были всегда. Горобцов занимался вырубкой табличек из металла, наклеивал на них светоотражающую плёнку. Два художника, шрифтовика, делали надписи. Это были молодые парни, которые начинали рабочий день с бутылки и заканчивали тем же. Горобцов на работе не пил и не опохмелялся, поэтому хозяин был доволен.

Когда он вошёл в мастерскую, художники уже приканчивали первую утреннюю бутылку.

— Привет, Юрий Иванович! — поприветствовали они его. — Будешь?

Горобцов махнул рукой и пошёл переодеваться в спецовку. По дороге к его ногам припал здоровенный рыжий кот, выпрашивая завтрак.

— Сейчас! Сейчас!

Он достал из целлофанового пакета несколько штук мойвы и положил на железный лист. Кот захрустел костями и, жадничая, поволок рыбу куда-то в угол.

— Ты куда, Чубайс! — крикнул Горобцов. — Хапаешь, хапаешь и всё норовишь утаить. Вот суконка с когтями.

Но Чубайс не оглянулся, он своим звериным нутром чувствовал, что добычу нужно надёжно припрятать.

На рабочем участке уже вовсю шла привычная утренняя разборка. Хозяин фирмы Наиль Шалимович, степенный, начавший уже грузнеть господин лет пятидесяти, стыдил художников.

— Вы ни как не можете понять, что здесь ваше последнее место работы в жизни! Постоянной работы. Если я вас выгоню, вам одна дорога — шакалить! Нет, разве я вам плохо плачу?

— Нормально, Наиль Шалимович! Мы просто вчера перебрали.

— Не знаю, что с вами делать. Вот у меня сейчас на подходе заказ на маслозавод. Как вас туда посылать? Опозорите, утонете, захлебнётесь в водке.

— Мы завтра завяжем.

Хозяин хмыкнул и подошёл к Горобцову. Тот уже знал, о чём будет разговор. Несмотря на свой внушительный вид, Наиль Шалимович любит поплакаться ему в жилетку на тяжёлую жизнь предпринимателя, в первую очередь на налоги.

— Опять новость, Юрий Иванович!

— На этот раз, наверно, приятная, — усмешливо ответил Горобцов, надевая рабочие рукавицы.

— Какая приятная. Скажешь тоже. Митинговать пойдём, весь малый бизнес города. Возьмём в осаду мэрию. Как выборы, бегут к нам. Залезут во власть, начинают из предпринимателей соки давить. Ты слышал о вменённом налоге?..

— Да откуда? Я у вас даже подоходного налога не плачу. Я, собственно, здесь не существую. Ни трудовой книжки, ни соцстраха.

— А что тебе от этого плохо?

— Да нет, у меня пенсия. А что за налог?

— Сам толком не знаю. Одно знаю — платить надо. А я не хочу платить. И так везде платить: за железо плати, за свет и тепло плати, за аренду плати, за бензин плати...

— Да, не позавидуешь, — сказал Горобцов. — Может, бросите это безнадёжное дело, Наиль Шалимович?

— У меня же пенсии нет, как у тебя. Терпеть приходится.

«Вот хитрый татарин, — беззлобно подумал Горобцов. — За три года, пока я здесь работаю, построил трёхэтажный коттедж, купил две иномарки, а всё веником прикидывается». Он не завидовал своему хозяину, тем более, что многие из тех, кто

поначалу ударились в бизнес, разорились, кто-то был искалечен братвой, выстояли немногие.

Его сосед, бывший полковник, занялся перепродажей запасных частей к автомобилям. Всё шло у него тип-топ, «Ауди» новую купил, всякие кухонные машины, телевизоры, видики. Жена иногда ставила его в пример, когда поругивалась с Горобцовым. Но однажды среди ночи соседка позвонила к ним в квартиру и попросила Свету помочь: мужу стало плохо. Горобцов тоже зашёл в их квартиру, на ковре возле дивана, с которого он свалился, орал благим матом бизнесмен:

— Я разорён! Я разорён!

Его, как сейчас говорят, кинул компаньон и крепко кинул. Но самое поучительное было в том, что они долго вместе служили, дружили семьями.

— А вот я не разорён, — довольно сказал Горобцов, когда с женой вернулся в свою квартиру. — И на хрена ему бизнес, детей у них нет?

В мастерской пахло ацетоном. Горобцов подошёл к электрошитку и включил вытяжной вентилятор, посмотрел на часы — полдвенадцатого. В титане у них всегда был кипяток. Он взял фарфоровую кружку, насыпал в неё две чайные ложки растворимого кофе, сахару, залил кипятком, вышел во двор и сел на скамейку возле вкопанного в землю и набитого окурками ведра.

В ветках тополей и акаций оживлённо чирикали воробьи, листья дерева шумливали под порывами налетавшего ветерка, сырая от вчерашнего дождя земля пахла плесенью. Из зарослей сухой прошлогодней травы выбрался кот Чубайс, забрался к Горобцову на колени и заурчал.

— Ну что, рыжий? — сказал Горобцов. — Скучно, брат, одному?.. Надо тебе кошечку принести, есть в нашем доме одна бродячая особа. Вот и заживёте вдвоём.

На дорожке раздались тяжёлые размеренные шаги. И, не оборачиваясь, Горобцов точно знал, что это Звонцов, отставной майор, завгар табачной фирмы. Звонцов любил проводить с

Горобцовым политбеседы и отлавливал его для этого, где только можно.

— Привет, капитан!

— Здравия желаю, вашебродь!.. — Горобцов привстал со скамейки.

— Сиди, отдыхай, — Звонцов, тяжело дыша, опустился на отполированную брезентовыми штанами спецовок доску. — Жарко сегодня, минералочки ребятам заказал, скоро подвезут. Ну, как дела, капитан?..

— Какие у меня дела. Это всё по вашей части.

— И не говори, Юрий Иванович! Выборы в Госдуму на носу, много дел. Организацию надо укреплять...

— Вы ещё не сбежали от жириновцев?

— Как можно! Это единственная партия, у которой есть будущее. Владимир Вольфович — народный вождь. Это тебе не какой-нибудь комуняга. Он наведёт порядок! Всех воров и бандитов к ногтю!.. Слушай, Юрий Иванович, вступай в ЛДПР, я тебе, хоть сейчас, билет выпишу.

— А рекомендации?

— Так я ж тебя знаю. А я — районный координатор партии. — Звонцов приосанился. — У меня на учёте четыреста партийцев.

— Подумать надо...

— А что думать! Вот мы на день танкистов организуем выезд на природу. Шашлыки будут, водочки возьмём, деньги у нас есть. Будем там проводить приём в партию.

— Здорово! А бабы будут?

— Будут! Женщины нас поддерживают. Ну как, вступаешь?

Горобцов снял Чубайса с колен и встал со скамейки.

— Знаешь что, майор, — сказал он. — Я за свою жизнь на какую только грязь не наступал, вспомнить стыдно.

— Ну, это ты зря оскорбляешь! — запротестовал Звонцов. — Смотри, как бы не пожалеть потом!

Горобцов пожал плечами и пошёл в мастерскую. Разговор с майором его позабавил. В армии он умудрился не вступить в партию. Был комсомольцем, а в партию не рвался. Серым,

незаметным офицером дослужился за двадцать лет до старшего лейтенанта. Капитана ему уже присвоили вдогон, после увольнения. В части его так и звали — «карьерист». Но это Горобцова ничуть не беспокоило. Таскал на тресе мишени и частенько попадал в ситуации, откуда звёзды на погоны не светили, и уволили его из-за трагического происшествия. Тащили мишени, а та возьми и оборвись. И ведь как точно рухнула на землю. Точнехонько на сортир, где в позе «орла» сидел солдатик. Того, естественно, в лепёшку...

Наиль Шалимович пришёл в мастерскую после обеда, когда Горобцов уже переоделся в чистую одежду, чтобы ехать домой.

— Юрий Иванович! Ты мне нужен. Тут дельце неплохое подвернулось — на маслозаводе вентиляцию отремонтировать. Ну, как?..

Горобцов задумался. Он уже бывал от фирмы в командировках. Иногда это было выгодно, иной раз пролетал, поэтому спросил:

— Как оплата, жильё, кормёжка?..

— Хозяин завода мой родственник. Получишь вдвое больше, чем здесь. Еда и ночлег за их счёт...

Ещё раз уточнив, что нужно сделать и к какому сроку, Горобцов согласился.

Во дворе возле дома было шумно, но это был радостный шум детворы, которая своими играми заслонялась от непонятного им мира взрослых. Идти сразу в квартиру не хотелось, и Горобцов сел на скамейку возле своего подъезда и стал смотреть на девочек лет семи-восьми, которые прыгали через резинку. Что это за игра, в чём был её смысл, он понять не мог, но девочки относились серьёзно, если что не так, то спорили, причём очень забавно, копируя взрослых, быть может, своих матерей или старших сестёр. Мальчишки спорят и ругаются между собой не так, у них, как правило, отсутствует связная мысль, одни сумбурные крики. У девочек в споре сразу видны логика, доказательства, ссылки на прошедшие события. Это было видеть и слышать довольно забавно, однако наталкивало на мысль, что

в тоже время эти девчонки невольно оттачивают свою диалектику, чтобы затем применять её к своим мужьям. И это верно: редко-редко муж переспорит жену, да и то, если поднесёт к её лицу решающий аргумент — кулак.

В квартире никого не было. И неслыханное чудо — из крана в ванной шла горячая вода. Он быстро разделся и встал под душ, впервые за всё лето. Котельная завода работала от случая к случаю. Зимой над ней еле дымилась труба, а летом котлы гасили и объявляли месяцев на пять, до морозов, ремонт. Жители ворчали, но исправно платили, послушно голосовали за очередного лгуна, которому втемяшилось в башку стать отцом города, то бишь мэром.

После душа Горобцов сварил себе кофе, прочитал программу телевидения на сегодня и тут обратил внимание на почтовый конверт, упавший в узкий промежуток между двумя холодильниками. Он нагнулся, мизинцем вытащил его, обхлопал об стол и посмотрел на адрес отправителя. Он был незнакомый, из Москвы, вместо фамилии красовалась изящная завитушка. «Интересно, — подумал Горобцов, — кто это пишет жене из столицы». Он распечатал письмо.

Уже первая строчка как бы окатила кипятком: «Любимый Светлячок! Вот это да, — подумал он. — Это что за хреновина!..»

Письмо было от бывшего одноклассника жены, какого-то Андрея. Они вместе окончили десять классов, десять лет сидели за одной партией, потом Света поступила в мединститут, а Андрей уехал в Москву, окончил энергетический институт, зацепился за студентку москвичку и стал столичным жителем. При коммунистах у него всё шло нормально. Он побывал в двух загранкомандировках. Обарахлился, купил кооперативную квартиру, защитил кандидатскую, стал доцентом. Как следовало из письма, новые времена основательно его подкосили: Андрей попытался заделаться «челноком», но проторговался. В семье начались неурядицы. Его жена, оставив ему дочку двадцати лет, усккала в Штаты и живёт там припеваючи. Далее Андрей сообщал, что тогда-то он будет в городе, и назначал Свете

свидание на всем известном месте «под часами» в полдень. Кроме этого, в письме было много всяких намёков, что чувства Андрея к Свете не остыли.

Горобцов посмотрел на отрывной календарь — как раз сегодня. Он скрипнул зубами, смял письмо, но затем одумался, бережно разгладил бумагу и положил в конверт. Затем сунул его на прежнее место между холодильниками.

Он прошёлся по кухне, зачем-то заглянул в шкаф и захохотал так громко, что кошка, дремавшая на стуле, вихрем выскочила в коридор. Горобцов пошёл за ней следом, случайно посмотрел в зеркало, увидел в нём лохматого мужика с искажённой физиономией и слезами на щеках. Он забежал в ванную, открыл холодную воду и сунул голову под ледяную струю.

Первым чувством было ощущение неизбежной катастрофы. Ему неоднократно приходилось испытывать подобное во время полётов. В Афгане его вертолёт рухнул на камни, и когда Горобцов выбрался из обломков, попытался встать, самодельная пуля, выпущенная из древнего ружья, ударила его в бронежилет, и он метров десять кувыркался по каменной осыпи. Что он испытывал, когда вертолёт падал?.. Оторопь и бессильное желание выскочить из самого себя. Но было в том, что с ним произошло, ещё более страшное. Если вертолёт падает считанные секунды, то в семейной катастрофе Горобцову предстояло ощущать падение не дни, а месяцы и, возможно, годы. И сразу откуда-то возникла и укрепилась в нём уверенность, что ничего уже не исправить.

С ощущением разбитости во всём теле он медленно спустился по лестнице и вышел во двор. По телевизору, видимо, показывали какой-то занимательный фильм, потому что ребячьи исчезла. Только в углу двора возле стола, врытого в землю, клубился густой мат, и раздавалось шлёпанье карт. Там играли в «козла», полублатную картёжную игру, которую Горобцов презирал. Он обошёл двор, посидел на лавке, но ему было тесно и скучно быть одному. Хотелось с кем-то поделиться своим несчастьем, в конце концов, хлопнуть стакан водки, не одному же пить.

С Авдеевым он познакомился четыре года назад. Душным летним вечером, когда в квартире заедали налезшие из мокрых подвалов комары, он вышел побродить во двор и в сумерках натолкнулся на мужика в окровавленной рубашке. Это был Авдеев. Горобцов, у которого в этот день дома никого не было, привёл его домой, снял с него рубашку, бросил её в ванну, замочил в воде, дал ему свою. Потом они сидели на кухне, пили вино и Авдеев поведал ему о случившемся. История была и проста, и банальна: жена заимела любовника, и больше всего убивало Авдеева, что любовник был непомерно пузат и старше его на двенадцать лет.

— Ну что она в нём нашла? — возмущённо сокрушался он.
— Что, я её не трахаю?.. Денег у меня нет?.. Я — черныбылец, у меня шахтёрская пенсия. Я и сейчас работаю.

Тогда Горобцов посочувствовал Авдееву, но слабо и как-то посторонне. После его ухода он, засыпая, с удовлетворением думал, что его Света не такая и подобное несчастье ему не грозит.

Авдеев был дома, он встретил приятеля с газетой кроссвордов в руках.

— Ты один? — спросил Горобцов. — Можно?

— Заходи. Я уже, сам знаешь, не первый год один.

— А эта где? — поинтересовался Горобцов, имея в виду разведёнку, которая приходила к Авдееву.

— Окончательно выгнал. Надоела. Пальто кожаное купил. Сапоги. Шапку. Словом, приодел и выгнал!

Горобцов прошёл в кухню, достал бутылку и поставил на стол.

— У меня суп гороховый есть, — предложил Авдеев. — Будешь?

— Давай! Давно горохового супа не ел. Я помню, курсантом был, так этого гороха переел гору. Хорошая еда, прочная. Поешь — и полдня сытый.

Авдеев налил по полстакана водки, они чокнулись и выпили.

— Моя на алименты подала, — сказал Авдеев. — Дочке через полгода восемнадцать будет. Заплатил за учёбу, за первый курс, живёт у меня, кормлю, одеваю, деньги даю... А тут — на алименты...

— А жена живёт с этим пузатым?

— Живёт. Квартиры у них нет, там его прежняя семья. Зимой снимали, а летом вот спят в «москвиче» на сидениях

— Да, — задумчиво произнёс Горобцов. — А у меня тоже не лафа.

И долго, путано начал рассказывать о письме, найденном час назад.

— Ты не кипятись, — посоветовал Авдеев. — Ну, одноклассники, у того видишь, тоже разлад. Не говори жене ничего.

— Ты так думаешь?

— А что можешь ей сказать? Ну, письмо. Так этот балбес много, что мог написать. Он просто прощупывает почву, а ты паникуешь.

— Давай ещё по одной! — воскликнул воспрянувший духом Горобцов. — А я чуть не тронулся. Ну, спасибо, растолковал.

— Ты главное, не спеши. Спешка, она, сам знаешь, когда нужна...

Вторая стопка вместе с надеждой, которую вдохнул в него приятель, приятно опьянила Горобцова и он начал рассказывать о своей женитьбе.

— Я, знаешь, долго холостяковал. Многие ещё в училище переженились, дураки. А меня не тянуло. Молодой, здоровый, красивый, летун — это же лакомство для баб, а их у меня хватало. Прослужил я три года в Оренбурге и попал в Чехословакию. Городишко был небольшой, но чистый, уютный. Дали мне, холостяку, квартиру трёхкомнатную в центре, а внизу, на первом этаже, был ресторан. Да, пожил я там!.. Через год перед отпуском вызывает меня командир. «Вот что, лейтенант, — говорит, — я тебе добавляю своей властью ещё десять суток отпуска, но без жены не возвращайся. И не штампик о браке привози, а натуральную жену. А то ты всех здесь перетоптал».

Ладно... Приезжаю я в свой посёлок. Родители меня не знают, где посадить, где уложить. Гуляю. Но приглядываюсь. Не всерьёз вроде, но слова командира помню. Остаётся дней десять до отъезда. Пошёл в клуб на танцы, смотрю, новенькая, этакая краля, что глаз не оторвать. Подошёл, станцевали несколько танцев, проводил домой. Утром решился: надел парадную форму, прицепил юбилейную медальку и пошёл свататься. А дальше — в темпе, через неделю свадьба и поезд через станцию Чоп.

Горобцов закурил, Авдеев смотрел в окно на пустырь, где паслись козы, и вздыхал.

— Пойдём на пляж, — вдруг предложил он. — Плавки на тебе?

— На мне.

— Пошли, — и Авдеев начал укладывать в пакет полотенца, стакан, какие-то пакетики с едой. Он был запасливым мужиком, и холодильник у него не пустовал.

Волга была рядом, в полукилометре от их улицы. Но сначала они зашли в магазин. Авдеев купил бутылку водки, минеральной воды. Возле магазина торговали помидорами. Купили и помидоров, по три штуки на брата.

Волга, вернее водохранилище, была выше уровня, на котором были выстроены дома микрорайона. Воду сдерживала дамба и поэтому, чтобы попасть на пляж, им пришлось взбираться на её верх.

— Я, знаешь, с этой дамбой едва не чокнулся, — сказал Авдеев. — Когда переезжали, то всех пугали, что вот-вот её прорвёт. И вот раз, только жена загуляла, напился я всклень. Пришел домой, упал на палас перед телевизором и уснул. Проснулся от шума воды. Балкон открыт, глянул — на полу вода. Ну, думаю, дамбу прорвало. Надо выбираться. Главное — документы. Чёрт с ними, с шобанами! Встаю, хватаюсь за дверцу шифоньера, чтобы оторвать её на плавбревню, и только тут до меня дошло, что на улице ливень. А тут ещё тепловоз ташил тяжёлый состав, от него грохот! Гул! Сдрейфил я тогда сильно.

Дамбу уже несколько лет укрепляли песком и щебнем, поэтому возле моста был настоящий пляж, а на остальном пространстве — бетонные плиты, уже кое-где замшелые, уходили в воду. На них они и расположились. Рядом загорали девчата, парни, семейные пары с детьми.

— Нырнём? — предложил Горобцов.

Они с разбегу плюхнулись в воду, подняв снопы брызг. Водохранилище «цвело» густой зеленью мелких плавающих водорослей. Правда, в этот час ветер отогнал зелень от пляжа, но всё равно её было предостаточно. Она набивалась в волосы, уши, лезла в плавки. Но они не обращали на неё внимания, заплывли метров на сто, потом медленно поплыли вдоль берега.

Купались долго, пока не устали.

— Пойдём под деревья на траву, — сказал Авдеев. — Не люблю лежать на бетоне.

Они спустились с дамбы, отошли в сторону и, найдя полянку, устроились на ней. Зрелые сорокалетние берёзы и тополя шумели листвой успокаивающе и мирно. Авдеев расстелил скатёрку, достал из сумки бутылку, стакан, закуску.

— Ну, давай вздрогнем, — сказал он.

— У тебя муравей в стакане утонул.

— Такой же пьяница, как и я, грешный.

Выпили. Помолчали.

— Так ты говоришь, что не стоит обращать на письмо внимание, — сказал Горобцов. — А меня оно гложет, гложет.

— Слушай, — закулив сигарету, ответил Авдеев. — Слушай, я тебе один колымский случай расскажу. У нас на шахте все люди на виду были, жили в бараках, там ведь ничего от чужих глаз не спрячешь. Был у нас один шахтёр, детина под два метра, между прочим власовец. Как его после войны загнали на Колыму, так он оттуда ни разу на материк и не выезжал. И вот его половина сильно заболела по-женски. Врачи её послали в Кисловодск какие-то ванны принимать. Она уехала, а этот охلامон с дружками начал пить. И вот кто-то по пьянки и подкатил ему мыслишку, что он здесь на Колыме, а она там, на курорте, с чужими мужиками кувyrкается. Побежал этот бес на почту, вызвал жену телеграммой домой. Жена на порог, а он её без

разговоров начал утешить. Бил каждый день, пока не умерла. Скоро и сам сдох.

Горобцов лежал на траве и смотрел в небо. Высокие перистые облака, словно мазки, нанесённые гигантской кистью, покрывали небосвод до половины.

— Смотри, — сказал он. — Видишь перистые облака? Это обозначает, что завтра, скорее всего, будет дождь. А это грозовой фронт. Где-то километров четыреста западней уже ненастье. Верная примета... Вот так бы свою судьбу угадывать. А то каждый новый день — потёмки. Что случится с ним, никто не знает. Слушай, Авдеев, а ты любил свою жену?

Тот в этот момент пил минералку и поперхнулся. Прокашлявшись, он с укоризной посмотрел на Горобцова.

— Надо же загнул вопрос, любил... Нет, у меня всё проще было. Не скрываю, сросся я с ней, сжился. Но без всяких страстей-мордастей. А что там было любить? Баба она и есть баба.

— А у меня не всё так просто было, — сказал Горобцов. — Я говорил тебе, как женился. Не знали мы друг друга совсем. Потом уже, лет через десять, я понял, что люблю её... Даже сказал ей об этом. А сегодня такой вот едрёный случай! Понимаешь, я только сегодня из этого письма узнал, что у них было тогда всё сговорено. Собирались пожениться после института, да у него москвичка с квартирой подвернулась. А тут я вклинился. Так вот!

— Так он сейчас на этом играет? — спросил Авдеев.

— Ну да. Мол, старая любовь не ржавеет.

— Вот петух драный! — выругался Авдеев. — Смотри, как стелет.

Где-то неподалёку прокаркала ворона и снова наступила тишина, в которую узорчатой вязью вплеталось поскрипывание, позвякивание, шелестение жучков, паучков и других микроскопических земных тварей, которые пребывали на земле ещё тогда, когда человека не было даже в Божьем проекте, и пребудут, когда тот исчезнет с лица земли. В густые скобкой усы Горобцова забралась какая-то букашка. Он поймал её,

посмотрел — божья коровка. Разжал ладонь. Та, растопырив пёстрые крылья, взлетела и скоро скрылась из виду. «Раз летает, — подумал Горобцов, — значит скоро осень... Вот и ещё одно лето проходит. Моё пятьдесят первое лето».

Горобцов пялился в телевизор, на экране которого бесновалась реклама, кипя от злости и отчаянья. Был уже первый час ночи, автобусы перестали ходить, а жены всё не было. Весь вечер он простоял на балконе, встречая каждый автобус, вглядываясь в быстро наступающие сумерки, курил, и с каждой новой затяжкой всё острее ощущал безысходность положения, в котором очутился. Если бы она просто опаздывала, ему было бы легче, но он знал, почему она опаздывает, знал причину, и от этого ему было горше всего. Воображение рисовало ему происходящие где-то там постельные сцены, и он содрогался, будто прикасался вдруг к оголённому электропроводу. Поначалу он настойчиво уверял себя, что этого быть не может, что есть ещё какая-то другая причина опоздания жены. Может быть, в деревне что-нибудь случилось с тёщей, с надеждой предполагал Горобцов. Но приходил ещё один автобус, жены всё не было, и его опять клонило к худшим догадкам и предположениям.

За двадцать пять лет семейной жизни он изменил жене всего один раз, когда был в командировке на авиазаводе. Случилось это в подвыпившей компании своих офицеров и монтажниц. Спирт у летунов был, а девахи пили его как воду. Словом, проснулся в общежитии рядом с симпатичной особой лет двадцати. На другой койке храпел командир, обхватив рукой пышную подругу. Конечно, Горобцов жене тогда ни в чём не признался. Не признался бы и сейчас, но если бы жена ему тайком изменила, а не побежала, как сейчас, сломя голову на свиданье с долбаным одноклассником, изменила как баба, и он когда-нибудь узнал об этом, то было бы неизмеримо легче. Конечно, пострадал бы, поплевался, но, как говорится, с кем не бывает.

Нет, в случайность Горобцов с каждым часом верил всё меньше и меньше. Несомненно, жена пошла на свидание. На какой-то миг он пожалел, что не поехал «под часы», не захватил

их. Может быть, и письмо она так небрежно бросила, чтобы дать ему знать, а он, дубина, этого не понял. Ну, конечно, она хотела, чтобы он ей помешал, поразился Горобцов своей внезапной догадке. А может быть засуетилась от радости, вдруг злобно подумалось ему, в сердечке соловушки засвистали. Да и хорош бы он был со своим следопытством, стыдоба!..

Горобцов, несмотря на свой мирный нрав, был человеком гордым, его "я" было неприкасаемым, и наступать на него он не позволял никому, сразу же взрывался и вставал на дыбы. Поэтому бывал он и обиженным, и грустным, но жалким — никогда. В армии ему это здорово мешало, там многое построено на человеческом унижении, и Горобцову случалось посылать кое-кого на три буквы. Конечно, это не способствовало его служебному росту, так и прослужил на грани увольнения со шлейфом выговоров и прочих взысканий.

Жёстко звякнули часы в гостиной — час ночи. Дочка уже спала, и вдруг Горобцов удивился тому, что она не обеспокоилась об отсутствующей матери ни разу. Ну, нет и ладно, лишь бы её саму не трогали. Весь вечер просидела за компьютером в своей комнате. Станный человек из неё получился, иногда думал отец, какой-то схематичный, чего-то не доставало. Нет, Горобцов, конечно, любил её, маленькую тетешкал, подростка и девушку холил, лелеял, но его временами обижала её холодность, замкнутость и отстранённость от всего на свете. К тому же, она выросла неряхой: посуду после еды не мыла, своё бельё не стирала, к полу тряпкой не прикасалась. Горобцов было принялся дочку воспитывать, но за неё вступилась жена и так неприятно ощерилась, что и он плюнул на всё, и только, когда уже становилось совсем невыносимо от грязи и беспорядка, просто безадресно бурчал... Так вот дочка о матери сегодня даже и не вспомнила да и отцу слова не сказала. Странно это было, очень странно...

Горобцов разделся, выключил свет и лёг в постель. Как-то сама собой его рука двинулась в сторону, где обычно спала жена, и он ощутил запах её духов, который ему всегда нравился. В постели мысли приобрели вполне определённое направление.

Он как-то болезненно и остро осознал, чем занимается она в это время и скрипнул зубами. Закрыв глаза и будто посмотрел в калейдоскоп: изображения одно ярче другого вспыхивали в его взбудораженном мозгу так отчётливо, словно всё это происходило наяву. Горобцов соскочил с дивана и выбежал на балкон. Прохладный ветерок окатил его, и он понял, что вспотел, как мышонок, но домой не ушёл и долго стоял, курил и смотрел на звёзды. Нервотрёпный день давал знать о себе, Горобцов устал и, добравшись до постели, провалился в бездонную пропасть сна.

Проснулся он в шесть утра, заторопился было вставать, но вспомнил, что сегодня суббота, нерабочий день. Чувствовал себя Горобцов неважно: болела голова, в теле ощущалась разбитость, а во рту было сухо и погано, будто в нём ночевал кавалерийский эскадрон. Он прошёл на кухню, намешал в кружке холодной воды с вишнёвым вареньем и залпом выпил.

Извиваясь, дымок сигареты тянулся к полуоткрытой форточке, Горобцов смотрел на него и решал, что ему предпринять. Однако ничего определённого и дельного на ум не приходило. В голове крутился какой-то словесный мусор, даже всплыла откуда-то давно не слышанная мелодия «Офицерского вальса». И тут его взгляд упал на конверт, который стоймя стоял на холодильнике, прислонённый к вазе. Это было не вчерашнее письмо, то так и лежало там, где он его вчера положил. Письмо было незапечатанным.

«Горобцов! — писала жена. — Я знаю, что ты прочитал его письмо и понял всё. Поэтому повторяться не буду. Если сможешь, прости меня, но, как говорится, чему быть — тому не миновать. Я тебе никогда не изменяла, я с тобой жила, но он — моя первая и единственная любовь. Может это звучит книжному, но это так. В городе меня нет, я в Москве. Прошу тебя, только не устраивай сцен, ты всё же офицер, а не баба. И адрес мой не ищи. Дочь пока поживёт с тобой. Развод и всё прочее — через адвоката, он тебя найдёт. Пенсионное удостоверение, сберкнижка, деньги — в стенке, там, где лекарства. Довари варенье, что в эмалированном тазу:

поставишь на плиту, как закипит, то сразу выключаешь. Соседка сверху должна нам сто рублей, забери. Ну, вот и всё...»

Вот такое письмо. Горобцов прочитал его ещё раз, ещё. Особенно поразила его последняя фраза: «Ну, вот и всё!»

«Это как же всё? — растерянно думал он. — А четверть века семейной жизни, это что же псу под хвост! Нет, дорогой Светлячок, я тебе устрою, я тебе покажу!»

Однако его возмущённого клочкотания хватило ненадолго.

Мысли внезапно метнулись в сторону отчаянья: как дальше жить он просто не представлял, рушилось буквально всё, что так непросто налаживалось с годами. Что делать с дочерью?.. Знает ли она, что мать сбежала с любовником в Москву?.. Где это чёртово варенье?..

Горобцов схватил таз, выбежал на балкон и швырнул вниз, напугав облезлого бродячего пса, с визгом бросившегося в кусты.

— Ты что это вещами разбрасываешься?

Возле угла дома стоял и насмешливо улыбался Авдеев. В руках у него был пакет.

— Я думал, что ты ещё спишь, вот и решил спозаранку прогуляться. Ну, как дела?

Горобцов вяло махнул рукой.

— Заходи. Дочка ещё спит. Квартиру помнишь?

Не дожидаясь звонка, он открыл входную дверь квартиры, успел вынести мусор, пока приятель поднимался по лестнице: лифт не работал.

— Погода сегодня на загляденье: солнце, ветра нет. Пойдём купаться? — предложил Авдеев. — Мне на солнце долго нельзя находиться, а сейчас в самый раз.

Горобцов закрыл дверь, провёл гостя в кухню, достал из шкафа два стограммовых шкалика коньяка, аккуратно разлил их в гранёные стаканы и сказал:

— Куда мне купаться. Разве топиться только.

— Что, неужто так серьёзно? Я, признаться, надеялся, что всё обойдётся. Мало ли что бывает.

— Вот, прочти, — Горобцов подал ему письмо жены. — Тут и приговор, и наказание.

Авдеев достал очки, водрузил их на толстый, изрытый оспинами, нос и стал читать. Пару раз хмыкнул, затем положил бумагу на стол.

— Ну, что скажешь? — спросил Горобцов. — Полный отлуп. И что она там нашла. Может тоже, как и у твоей, пузан?

— Надо же запомнил! — рассмеялся Авдеев. — Это хорошо. Главное, голову не теряй. А насчёт пузана — хорошо! И в точку. Я тут недавно ещё с одним бедолагой, таким как мы, разговорился. Да ты его знаешь, шофёр на тюремном автобусе. Так у того тоже жена любовника заимела. И тоже здорового пузана! Повезла его знакомить с родней. Те говорят, мол, нашла себе начальника. Люди простые, по прежним понятиям живут. Среди крестьян пузатых и не увидишь. Так что мужскую способность бабы теперь определяют не по носу, а по пузу.

— Ну, давай выпьем первую в холостой жизни рюмку! — заторопился Горобцов.

— Не загадывал наперёд, — сказал Авдеев и положил в рот конфетку.

— Это почему?

— Мало ли что. Может она вернётся.

— Да я! — возмутился Горобцов этому предположению. — После того, что она сделала? Я с ней больше на одном гектаре не сяду!

Авдеев с улыбкой развёл руки в стороны. Мол, что поделаешь, вот кипятишься ты, как чайник клокочешь. А приди она сейчас, может, и на колени перед ней упадёшь. Но вслух ничего не сказал, только повторил прежнее своё предложение:

— Пойдём искупаемся.

— Да ну его к чёрту, это купание! А вот на улицу, во двор, пойдём. Душно здесь как-то.

Горобцов пошёл одеваться. Заодно заглянул в стенку, посмотрел оставленные женой документы, взял деньги. Одну бумажку положил на видное место, чтобы дочь смогла её увидеть.

Раньше всех во дворе просыпались пьяницы. Вот и сейчас, несмотря на ранний час и субботу, они кучковались у подъезда, где жила бойкая бабёнка, торговавшая левой водкой в любой час

дня и ночи. Денег у них, конечно, никогда не было, но они умудрялись всегда быть пьяными с утра до вечера.

Увидев Горобцова, от этой кучки жаждущих отделился весьма неопрятный экземпляр и направился через бурьян. Это был Толя Сапожник, который, и, правда, чинил обувь всему околотку за бутылку, а то и за стакан палёной водки. Недавно у него умерла мать, которая кормила его на свои пенсионные крохи, и теперь Толя жил впроголодь на одной водке, потому что при приёме спиртного присутствовал лишь самый необходимый минимум закуски. Толя был в общении милым и интеллигентным человеком, служил в армейском оркестре, но пенсию не выслужил, выперли его, и с тех пор, уже лет десять, он обретался во дворе.

— Здравствуй, Юрий Иванович! — громко сказал он ещё издалека, видимо опасаясь, что его не увидят и предпринятый им рейд будет совершён зазря.

— Привет, Толя! — хмуро ответил Горобцов и, глянув на грязную бороду Сапожника, заинтересовался — Ты это зачем такую куделю оттрастил?

— Это, Юрий Иванович, мой проездной в автобусе, — заухмылялся Толя, — С ней ни один кондуктор не ставит под сомнение моё социальное положение. Сразу видно — пенсионер. Надо бы ещё гвардейский значок достать, тогда совсем почёт и уважение. У тебя нет значка?

— Вроде есть где-то. А ты, что с перепоя?

— Да есть маленько. Перебрал вчера. Туфли сделал, то есть отремонтировал, вот дали бутылку.

— Поди, ничего не жрал?

— Да нет, отвыкаю.

— Пошли! — вдруг сказал Авдеев. — Мне нужно в сберкассу: дочка денег просила. Пошли и ты, Толя, давай с нами, если дел никаких нет.

В соседнем дворе вокруг железного стола толпился народ, шёл митинг. Жители протестовали против строительства автозаправки. Протестовали уже год, но стройка продолжалась,

иногда замирая на несколько месяцев. Хозяева строительства автозаправки брали народ не мытьём, так катаньем: по квартирам ходили какие-то юркие молодые люди, раздавали социальные пакетики с продуктами, во всех подъездах строители установили железные двери с кодовыми замками, которые тотчас спёрли, во дворе были отремонтированы и покрашены качели, скамейки. Наконец, началось строительство биотуалета. Однако жители не сдавались, писали мэру, губернатору, в газеты, митинговали. Вот и сегодня, в субботу, когда у губернатора шло селекторное совещание, в областную администрацию посыпались протестующие звонки.

— Мне сказали, — говорил забравшийся на стол пожилой мужик с седым ёжиком волос, — что через полчаса здесь будет заместитель губернатора, который курирует наш микрорайон. Здесь есть представители автозаправки, должна быть пресса. Просьба — обойти свои подъезды и пригласить тех, кто отлынивает от митинга!..

— Ну что, слушаем, посмотрим? — спросил Авдеев, — Глянем на демократию.

Они подошли к знакомым мужикам, поздоровались, закурили.

— Весело тут у вас, — сказал Горобцов. — Свой парламент...

— У нас тут всё есть, — похохатывая, ответил один из мужиков. — И свобода слова и коррупция.

— Это как? — удивился Горобцов.

— Да очень просто. Вчера вот мы все упились в мат. Автозаправщики привезли два ящика водки вот сюда к столику, где мы в «козла» играли, и говорят, чтобы мы за них выступили. Мы, естественно, за них.

— А кто выступать будет?

— Да я. Пора и похмеляться. Вон те парни, на «тайоте», они....

Он шустро подбежал к машине, о чём-то переговорил, затем ввинтился в толпу и забрался на стол.

— Вы чё, граждане, то есть господа! Опупели форменным образом, вам цивилизацию, свет в массы, на заправку гонять далеко не надо, под боком, а вы, ну чисто неграмотные. Опять же рабочие места... Форму дадут, комбинезоны зелёные, работай — не хочу! И рядом с домом. Не об этом надо говорить, а об отоплении. Забыли, как зимой мёрзли? Вот приедет замгубернатора, спросите его, думают ли топить котлы следующей зимой. А то возмущились заправкой, это ерунда, пусть строят!..

Мужик спрыгнул со стола и затрусил к «тайоте». Речь адвоката была оценена в четыре бутылки водки, которые позвякивали у него в сумке. Вместе с примкнувшими к нему мужиками, гордый и довольный собой, он двинулся в заброшенные сады за домом.

— Ну, здесь всё ясно! — заключил Авдеев. — Пошли, что ли...

Сберкасса работала. Авдеев получил деньги, купил две бутылки водки у бабы, которая торговала палёным зельем рядом с перекрёстком, не обращая внимания на снующие то и дело ментовские машины.

Откуда-то из кустов к ним рванула опухшая оторва — деваха лет двадцати семи.

— Мальчики! Я с вами. Мне в больницу ложиться надо, ну да хрен с ним!

В руках у неё были две полиэтиленовые сумки с тряпьем.

— А что, пошли, — раздухарился Авдеев.

И они двинулись в сторону парка.

— Я не буду с ней из одного стакана пить, — сказал Горобцов нарочно громко. — Чёрт её знает, из какого болота выпрыгнула, потом не отскоблишься.

— Да чистая я! — захохотала деваха. — Вот все анализы на руках.

И она вытащила из сумки тетрадь с историей болезни.

— Глядите! Почки заколебали меня. А этот СПИД, сифилис полностью отсутствуют. И триперка нет. Мамаю неделю под замком держала. Так что — не бойсь!

Пить расположились на лавочке под карпатскими елями напротив поликлиники.

— Я с ней из одного стакана не буду! — заявил Горобцов.

— Ах ты, зануда, — сплюнула деваха и заорала: — Дядя Кость, а дядя Кость! Вынеси аршин, только сполосни сначала мёртвой, потом живой водой!

Через несколько минут из поликлиники выполз хромой на обе ноги мужик со свёртком.

— Тебе бы, Наташка, всё орать да воду мутить, — улыбаясь, сказал он.

— Какую воду! — воскликнула Наташка. — Водку мутить будем, правда, папик?

И плюхнулась объёмистой кормой на колени Авдеева.

— Будем! — отчаянно провозгласил произведённый в «папики» Авдеев. — Надо будет, ещё возьмём.

Два пузыря прикончили в один присест. Толя Сапожник за чем-то ушёл в кусты, да там и остался. Наташка с папиком целовались. Сторож поликлиники поковылял на своё рабочее место и поманил Горобцова.

— Вы, ребята, с ней осторожнее. Нет, нет, она чистая, а вот в башке у неё муть. Уже два раза отсидела, из двух мужиков ливер вывернула. Две ходки для бабы не пустяк. Так что смотрите.

— Ну, вот что, Горобцов! — вскричал разогретый до сексуальной кондиции Авдеев. — Пошли ко мне. Вот тебе тыща, возьми на всё выпить, закусить. Пошли, Наталья!

В магазине Горобцов оглядел прилавки, которые ломились от снеди и самого разного выпивона, и ухнул всю тыщу, даже от себя две сотни добавил на баночку икры. На душе у него стало легко и беззаботно, ноги сами понесли через пустырь, за которым всеми окнами сияла на третьем этаже авдеевская квартира.

Дверь в квартиру была незаперта, из зала разносились звуки пианино.

*Скоро кончится срок наказанья,
Я с колымской тайгой распрощусь.
И на поезде в красном вагоне
Я к тебе, дорогая, примчусь.*

*Обниму я тебя как голубку,
Дорогую подругу мою.
И куплю тебе новую шубку.
И мохеровый шарф подарю.*

Горобцов, не мешая дуэту, прошёл на кухню и стал заниматься сервировкой стола. Правда, перед этим ему пришлось убрать со столешницы колготки и юбку, но это его не смутило. А тут в кухню ввалились хозяин с Наташкой. Авдеев был в одних плавках, на Наташке была крохотная до пупа майчонка и трусишки, едва прикрывавшие передок и обнажавшие пышные ягодички.

А бабеч "нормалёк", — мелькнуло в голове бывшего офицера.

Но виду он не подал, только задышал жарче и с ожесточением стал открывать банку фруктового сока.

— Вы, мужики, не представляете, какое вам счастье привалило, — сказала Наташка, хряпнув полстакана водки. — Вы представляете — девочка, бля буду, четыре года целкой была. И тут вы! Это уже не просто случай, а судьба!

— Судьба индейка, судьба злодейка! — вскричал подвыпивший Авдеев. — Всё это, Наталья, чепуха! Сегодня у нас праздник! Но ты, Наташка, молодец! Ей надо в медвытрезвителе работать. Представляешь, она меня за тридцать секунд раздела! Ты, Горобцов, почему в штанах? Ну-ка, Наталья — айн, цвай, драй!

Наталья ловко одним движением повалила Горобцова на диван и, не расстегнув даже ширинки, сорвала с него штаны. Горобцов поймал трусы на коленках и, крича, водрузил их туда, где им положено быть.

— Ну, ты даёшь! — только и сумел выдохнуть он.

— А теперь рубашечку, — пропела Наталья и сдёрнула с него рубашку.

— Что ж, — торжественно произнёс Авдеев. — Сейчас мы все равны, как в бане!

— А трусы! — пискнула Наталья.

— Это в порядке очереди, — сказал Авдеев. — Я что хочу сказать, вот у нас сейчас настоящее равенство. За это и выпьем.

Они крепко выпили, орали под фоно какие-то блатные песни, от которых Наташка начала плакать и скрипеть зубами. Мужики уволокли её в ванную, пустили душ, дали стакан водки, и она будто второй раз родилась.

— Хочу на диван, — заявила Наташка. — У тебя есть чистые простыни?

— А как же? — сказал Авдеев. — Даже глаженные и накрахмаленные.

— Тогда вперед!

На диван завалились втроём, и пошла кутерьма. Утром Горобцов толком даже не мог вспомнить или он что-то делал, или с ним что-то делали. Он лежал на скомканных простынях и пытался сообразить, где находится и где его одежда.

Дверь в комнату отворилась и в комнату нагишом в одних туфлях на высоких каблуках вошла Наташка. В руке у неё была тарелка, на ней колыхалась прозрачная жидкость в стакане, и лежал кусочек хлеба с огурцом.

— Ну, как баинькали? Ну, от вас, ваше благородие, я не ожидала такой прыти!

Горобцов покраснел. Он действительно ничего не помнил.

— Да брось ты киской прикидываться. Выпей лучше. Хозяин принимает водные процедуры. А там, между прочим, моя мамахен приползла. Так что давай по - быстрому.

Горобцов выпил водку и в следующее мгновение уже был плотно впечатан в диван.

Вымытый Авдеев хлопотал на кухне. На столе стояла водка, конфеты, печенье, чай.

Мать Натальи оказалась спокойной и очень холёной женщиной, чей возраст трудно поддаётся определению. Она пила чай с печеньем и разговаривала о болезнях дочери.

— Я ведь только на минутку в магазин зашла, купить ей сладенького, а она уж и шмыганула. Я на вас не обижаюсь. Но

вы лучше с ней не связывайтесь. Есть у ней заскок, мало не покажется.

— Кое-что и я знаю, — кашлянул Горобцов. — Да здесь собственно ничего и не было, окромя пустых бутылок.

— Не киздите, мальчики, — забормотала уже поддавшая Наташка. — Всё было, всё было, и любовь была! Вот так!

— Ладно, погуляла — и хорош, — строго сказала мать. — Ты в какую компанию попала? Они же тебе в отцы годятся!

— И правда! — захохотала Наташка и запрыгнула на колени к Авдееву, не забыв обхватить рукою за шею Горобцова. — Это — мои папики! Вот я их сейчас поцелую!

Горобцов встал из-за стола, засмолил сигарету и понял, что отсюда нужно срочно сваливать, пока дело до ножей не дошло. Авдеев сидел отключённый, Наташка всю лаялась с матерью, а сверху по трубам батарей уже стучали соседи.

— Пойдём что ли, прогуляемся, — предложил Горобцов.

Эта спасительная мысль подняла всю компанию на ноги, путаясь в обувках, они кое-как собрались и вывалились во двор, где на лавочке скучал ещё непохмелённый Толя Сапожник. Горобцов отправил его вместе с Авдеевым наверх, в квартиру, а баб повёл по дороге дальше от дома. Слава богу, они уже не помнили о его существовании и он, улучив момент, спрятался за тополь.

«Да, — отчего-то подумалось ему. — А мы, мужики, ещё своих баб хаим. А ведь вон, какие экземпляры бытуют на белом свете! Хоть святых вон выноси».

В квартире Авдеева, кроме Толи Сапожника, было уже ещё два клиента, правда, со своей водкой — Толя Собачник, известный держатель собак, и некто Самсон, которого проще было назвать мешок с матом. Толя был по какому-то случаю весь исколотый наколками, а Самсон не имел привычки закрывать рот, и оттуда летела всякая всячина: слюна, крошки хлеба, недожёванные сопли, и всё это обильно смачивалось соусом мата.

Авдеев привечал всех, когда у него был загул. И только после, протрезвев, говорил:

— Пил ведь с какими-то вурдалаками. Ну, ни одной мысли, я не говорю, чтобы умной, но хотя бы выраженной правильно. И вот так эти человечешки приноровились и проживают свою жизнь, кто за спиной у матери, кто у жены, кто живёт, чёрт знает чем. Ворует, что ли...

Компания была уже на крепкой поддаче: Самсон вопил, извергая потоки слюны, Толик распускал руки веером, кося под блатного, Толя Сапожник согласно кивал головой, а Авдеев утух в углу на стуле. Горобцов потоптался в дверях, опрокинул стопку водки и вышел из квартиры.

Был уже полдень. Солнце припекало, люди шли на пляж вместе с детьми. Домой идти ему не хотелось. Но надо было заглянуть и узнать как там дочка. О жене он не думал, знал, что куда-то уехала, то ли в Москву, то ли ещё куда, словом уехала.

«Надо идти отлѣживаться, — подумал он. — Вымыться хорошенько, улечься в чистую постель и поспать. А подумать о том, что делать можно и потом, времени для этого более чем достаточно. Нет, поеду домой к отцу, — вдруг решил он. — Давно уже не был, хотя езды-то полчаса».

Он вышел на шоссе, остановил частника и ровно через полчаса был у старого, но ещё крепкого отцовского дома. Рыкнул, брякнул цепью кобель Буран, но мигом успокоился, узнав своего. Отец ходил по двору в галошах на босу ногу, нехотя махал метлой по деревянному настилу, выскребая щепочки из пазов.

Они поздоровались, сели за стол под яблоней.

— Да ты никак с гулянки? — спросил отец, уловив сивушный душок от сына.

— Есть немного. Моя в Москву рванула с хахалем. Вот так. Холостой я сейчас, папа. Сам бог велел пропустить за это дело стакан, другой.

— Вот такие значит дела, — спокойно сказал отец. — Седина в бороду, а бес в ребро. Что думаешь делать?

Горобцов не ответил, только махнул рукой.

Отец усмехнулся.

— Сама прибежит. Вот тогда и решай. Квасу хочешь, мать только что сцедила. Может, баньку истопим? Тебе, когда на службу?

— Завтра. Я у тебя заночую.

— Этого сколько хошь. Дом ещё сто лет простоит. Ты только не продавай его после нас.

Горобцов нехотя сказал:

— Мне, может быть, сюда переселяться придётся.

— Вот и хорошо. А то одним, видит бог, скукота, да и мать плоха.

Веники были свежие, ядрёный запах дубовых листьев пропитывал тело насквозь, изгонял из него дурь и похмелье. После бани Горобцов долго сидел во дворе, пил квас, лениво смотрел на звёзды. Умом он понимал, что жизнь его сделала крутую и внезапную загогулину, но сердцем это не чувствовал. Может быть, завтра его ужалит боль, но то, что прошло, то прошло, и возврата к прежнему не будет.

Из дальних странствий...

Отмотав десять лет срока в гнилых тюремных лагерях за поножовщину в пьяной драке, Фёдор Крюков возвращался домой, хотя не получил за это время от родных ни письма, ни посылки.

«Червонец» выжал и высушил Крюкова, он выглядел на все пятьдесят, хотя ему исполнилось тридцать два года. Ввалившиеся щеки, острый раздвоенный на конце нос, мутные, ввалившиеся глаза и стриженные волосы привлекали внимание милиционеров, но Фёдор старался обходить их стороной, хотя документы у него были в полном порядке.

Ехал он с пересадками, подолгу стоял в очередях за билетом. Вокзальная теснота, бурлящее скопище людей постепенно приучили его к свободе, но всё равно он был насторожен, как

капкан, и мгновенно реагировал на брошенные в его сторону взгляды.

Уже перед домом, на автовокзале, к нему подкатил один деловой.

— Давно откинулся?..

Фёдор глянул на него — туфта, мечта губастая. И процедил сквозь зубы:

— Дальше...

— Что дальше? — не понял кент. — Колодцы, говорю, копать. Пятьдесят рублей метр...

Не отвечая, Крюков поднял с заплёванного пола чемодан и, двинув парня острым углом по колену, пошёл к выходу.

Автобус катился по асфальтированной дороге. Зима шла на убыль, осинники набухали цыплячьим пухом, небо отливало свежей голубизной, и воздух, залетавший в шелку окна, пах тёплой сыростью начавшей пробуждаться земли. Но Крюков не видел и не понимал весенних цветов и запахов, его чувства были прочно заморожены прошлой жизнью, и он настороженно поглядывал по сторонам, будто ожидал какого-нибудь подвоха.

В автобусе были все свои, посёлковские, автобус шёл до совхоза без остановок, но Фёдор никого не узнавал, и его тоже не узнавали. Бабы были нагружены сумками и свёртками, какой-то мужик вёз телевизор, а двое парней с очумелым видом слушали через наушники магнитофон.

С большака дорога пошла по насыпи, по рытвинам и ухабам, и на Крюкова дохнуло чем-то знакомым. Он шоферил на совхозном «газоне» и знал здешние дороги, непроходимые в грязь и пыльные в сушь.

Фёдор работал на молоканке, цистерне, отвозил молоко от ферм. Едва-едва оперился, купил себе расклешённые штаны с заклёпками по низу брючин, переносной транзисторный радиоприёмник, как загремел со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело было простым как репа. Выпили с Жоркой, старшим брательником, пошли на танцы в клуб. Там с приезжими шабашниками сцепились. Они били, их били, а в результате — срок.

Следователь шибко не мудрил. Одно хорошо, что Жорку не посадили, у того двое пацанов было, отделался условняком. Так обрадовался свободе, что даже письма не написал. И сейчас Крюков ехал домой, не зная, что его ждёт, и кто его встретит.

Старый крюковский дом стоял на взгорке. Почерневший от времени сруб слегка осел на левую сторону, тесовая крыша покрылась мхом. Улица была пуста, Фёдор постоял у колодца, зачем-то заглянул внутрь, посмотрел, как в глубине сжатая со всех сторон наросшим за зиму льдом колыхается чёрная вода, и вдруг по-озорному гукнул в глубину. Эхо ответило лениво и слабо, да глухо чавкнул ударившийся о воду кусочек льда.

Ворота скрипнули на заржавленных петлях. Фёдор обернулся и увидел семенившую по тропке к колодцу незнакомую бабу с пустыми вёдрами.

Он её не знал, хотя она вышла из его дома, и чем-то она ему сразу не понравилась: рот, как курячья попка, уголками губ вниз, нос картохой, узкие, едва просверленные льдистые глазки.

Баба подошла к колодцу, ухнула бадью вниз и, зачерпнув, потащила воду наверх.

— Крюковы здесь живут? — спросил Фёдор, помогая бабе вытащить бадью на край сруба.

— Здесь, а чо?..

«Что ха хохма», — подумал Фёдор и сказал шутливо:

— Чего-то не пойму. Отродясь среди крюковской породы таких, как ты, не было.

— Не было, так теперь есть! — отрезала баба, наливая голубоватую запенившуюся воду в цинковые вёдра.

Легко вскинув на плечи коромысло, она пошла к дому, и Фёдор двинулся за ней следом.

Возле ворот он остановился, потрогал созревшие тесовые доски ворот. Дерево отсырело и пахло плесенью.

— Ты когда, чёрт недобитый, будешь в уборную ходить! — раздался со двора визгливый голос бабы. — Опять напрудил у крыльца!..

И тут Фёдор услышал голос отца, слабо дребезжащий, хрипловатый тенорок.

— Да не я это, Таенька! Дружок это, чтоб ему скиснуть, с цепи сорвался.

— Обоих вас на цепь посадить надо! — сказала баба и, громко хлопнув дверями, вошла в сени.

Фёдор проснулся в полуоткрытые ворота и увидел отца. Тот стоял на крыльце в накинутой на плечи стёганке в галошах на босу ногу и, морщась, смотрел на молодое весеннее солнце.

Колючий комок подкатил к горлу сына, и он, сглотнув его, хрипло сказал:

— Папа!..

— Фёдор! Феденька! — отец кинулся к сыну с крыльца, приволакивая правую ногу.

Они обнялись, прижались друг к другу небритыми щеками.

Отец всхлипнул:

— Дождался, Слава Богу, дождался.

— Что у тебя с ногой-то? — спросил Фёдор.

— Не говори, кондратий шарахнул, еле оклемался. Вот сейчас на инвалидности кукую. Руки трясутся, а иногда голова так закружится, будто стены на меня падают. Брык — и на пол...

— Постой!.. А это кто у тебя? — Фёдор показал рукой на сени.

— Это... — Отец сгрёб ладошкой мокроту с лица. — Это Тая... Похоронили мать мы, сынок. Пять лет как похоронили. А тут хозяйство, то да сё... Жорки тоже нет. Разбился на молоканке прошлым летом. В бульдозер врезался. Варюха теперь с ребятней...

— Понятно, — откачнулся от отца Фёдор. — А чего не писали?..

— А чё писать? — вздохнул отец. — Какой из меня писарь?..

В сенях что-то грохнуло, дверь распахнулась, и на пороге показалась баба с разинутым ртом. Увидев рядом с мужем незнакомца, она не стала орать и выжидающе смотрела.

— Вот Федя вернулся, — сказал отец.

— Ох, как мы ждали тебя, Феденька! — заголосила Тая. — Как ждали. Всё думали, вот придёт, вот придёт, а я-то обмишулилась, не узнала. Да чего вы посредь двора, в избу давайте, в избу...

В доме пахло затхлостью, было сыро, с запотевших окон на подоконники текла вода. Стены были заклеены тусклыми, засиженными мухами обоями, половицы гнулись и скрипели, словно из них вырывали ржавые гвозди.

Фёдор огляделся по сторонам.

Отец, перехватив его взгляд, сказал, сядясь на железную с проваленными пружинами койку рядом с рыжим облезлым котом:

— Сто лет дому-то! Ещё мой дед, твой прадед рубил. А сейчас что?.. Гнилушки. Дай бы Бог, чтобы мне хватило. Под сруб надоть два венца подрубить, а сил нет...

Фёдор промолчал, пододвинул к столу тяжёлый самодельный стул и сел.

— А эта, — он мотнул головой, — чем занимается?..

— На пенсии, — негромко сказал отец, косясь в окно. — Торгует. Всё лето на базаре, — и, помолчав, добавил, — она, Федя, ничё, криклива только, дак я обывк...

Мебели в доме за десять лет не прибавилось. Две железные койки, стол, стулья, тяжёлый сбитый из фугованных досок шкаф, покрашенный коричневой краской, сундук, окованный узорными полосками железа, — всё это было прежним. Появился, правда, телевизор на комод, Фёдор отметил, что из самых недорогих, лишь бы мигал.

Хлопнув дверью, в избу вошла Тая. В одной руке она держала охапку берёзовых поленьев, а в другой курицу с отрубленной головой.

— Затопи печку, — сказала она отцу и грохнула поленья на железный лист возле поддувала.

Отец дёрнулся на койке, но Фёдор не дал ему встать.

— Я сам, сиди...

Он подошёл к печке, присел на корточки и открыл дверцу. Зола не было, Фёдор взял нож, надрал бересты, отщипнул от сухого полена лучины, сложил растопку аккуратной горкой на колоснике и поджёт. Пламя потянулось в печь хорошо и сильно, скоро дрова охватило тугое бело-розовое пламя.

Отец сидел на койке, навалиясь спиной на стену и закрыв глаза, а Тая гремела посудой и рассказывала о соседях.

— Гришка-немой помер. Неделю один лежал в избе. Пенсию принесла почтальонша, у него всё снегом завалено, а дверь открыта. Вошла, а он сидит за столом мёртвый и скалится. Вот, говорит, страху-то! А у Гришки ни родни, ни сродни. Приехала милиция, положили его в грузовик и увезли...

Фёдор знал Гришку. Немой был старше его лет на пятнадцать. Плечистый, статный, сильный. Пацаном он завидовал его силе. Двухпудовкой крестился. Но особенно интересно было смотреть, как он на вечерки собирался. Выйдет в огород, вымоется в бочке, потом наденет костюм чёрный бостоновый, сапоги и тубетейку. Сапоги драил по часу, щётка так и мелькает в руке, а разойдётся, войдёт в раж и давай этой щёткой по костюму.

— А Пенкина помнишь?

— Какого? Генку?

— Ну да. Он, Феденька, куркуль стал, похлеще буржуя. Дом под железом, жигуль, моторка, хоть раскулачивай! Он тут целый год от милиции скрывался.

— Да ну...

— Бабу свою, с которой жил, избил и выгнал. Та — в милицию. Генка на «жигули», и дёру дал. Участковый поспрашивал, да вроде отстал. А неделю назад, вот как сейчас, выхожу по воду, а Генка ворота отпирает, а за ним баба, ребёнок и корова. Женился, с коровой взял...

— Слушай, Тая, а Гоношиловы тут напротив жили, как у них?

— Старики живы. А Борьку и Витьку посадили два года назад за хулиганку. Тут многих посадили...

Фёдор, потупясь, смотрел сквозь щёлку печной дверцы на бунтующее пламя. Печка потрескивала, гудела, порой даже постанывала, и казалась живым существом, разлэгшимся посреди обшарпанного пола. За десять лет Крюков узнал настоящую цену теплу и огню. Этому его научили карцер и лесоповал. Он глянул в окошко. День был мутный, промозглый. Серьёзный денёк. В такой день работать в лесу гиблое дело: за

час промокнешь насквозь. В перекур размотаешь тряпки у костра, от тряпок смрадный пар, а спину знобит. Уж лучше мороз, сухой мороз, чем оттепельная мокреть.

И Борьку, и Витьку, значит, замели. Борька был его одногодок, Витька чуть постарше. Пацанами вместе куролесили, огороды зорили, на рождество трубы затыкали, раз с Пенкиным на крышу сани заволокли. Славить ходили. Как это... «Сею-сею посеваю, с Новым годом поздравляю...» Сейчас бы их поздравить, ах зона, зона!..

Честно говоря, срок ему ни за что впаяли. Ножа у него не было. У Жорки был нож, самоделка из напильника. Фёдор не жалел, что всё взял на себя. Всё равно кому-то надо было садиться. Пять лет не жалел, а вторую половину, когда трояк за побег накинули, пропёр вслепую, стиснув зубы. Да, жизнь — жестянка!..

Фёдор вздохнул и стиснул зубы. Он никак не мог понять, будет у него жизнь, или впереди ничего не светит. Уж больно невесёлая встреча получилась в доме. Матери нет, брата нет. Отец был явно не жилец. Он посапывал, и непонятно было спит он или в обморок впал, на губах пузырилась пена, опущенные веки были синеватого цвета, голова лысая, как яйцо, только из ушей торчат седые жесткие волосы.

— А ты сама, как сюда попала? — Фёдор тяжело посмотрел на Таю, которая щипала курицу.

— Я-то, — зачастила Тая, — мы с отцом давно знакомы, я на базаре, он подвинка привёз продавать. А мне бабы говорят, мол, сирота мужик. Так и сошлись...

— Значит любовь с первого взгляда, — усмехнулся Крюков. — Ну, да мне всё равно...

Он накинул на плечи куртку и вышел на крыльцо. Пегий кобель, гремя цепью, кинулся на него, но на полпути остановился и вильнул хвостом, видимо, почувствовав в незнакомце своего нового хозяина. Взгляд у пса стал виноватым, не то, что у казённых овчарок, бешено рвущих поводки из рук солдат, когда колонну эзков останавливают и сажают среди дороги, прямо в снег, грязь и лужи. У тех собак был свой надрессированный оскал и рык, там было не до шуток.

— Ах, ты, вольняшка! — засмеялся Фёдор и погладил кобеля по голове. — Весна, гулять хочешь...

Он снял с ошейника зажим и выпустил собаку за ворота.

Улица была пуста. Фёдор вышел на дорогу и свернул в переулок. Возле старой раскидистой берёзы он остановился и провёл ладонью по жёсткой коре. Эту берёзу он знал с детства, не один раз сиживал на её верхушке, раскачиваясь из стороны в сторону.

Берёза была жива, она отходила от долгой зимней спячки. Закудрявилась коричневыми клейкими серёжками, и Фёдору показалось, что он слышит лёгкое потукивание устремившейся к веткам живицы. Он вспомнил, что когда-то вырезал на коре своё имя и имя соседской девчонки. Обошёл вокруг дерева, проваливаясь в вязкий осевший снег, но ничего не нашёл, всё заросло, заплыло корой.

Где сейчас Тонька?.. Когда его судили, она была в городе, училась в техникуме. Замужем сейчас, наверно.

Что-то острое кольнуло Крюкова в сердце, грудь защемило, и на глаза навернулась влага, скрипнув зубами, сплюнул в снег и закурил.

Первые два-три года он её помнил, мог представить всю целиком, а потом забыл, её лицо ушло из его памяти, а фотографии не было. Написал письмо, но Тонька не ответила. Если бы не эта берёза, так бы и не вспомнил её. И, рассудив, Фёдор понял, что вещи хранят память дольше, чем человек, и натываясь на них случайно, мы вспоминаем то, что потеряли давно и безвозвратно.

В свои тридцать два года Крюков не знал ни одной женщины. В лагере он тщательно это скрывал, чтобы не выставить себя на посмешище, избегал скабрезных разговоров, ненавидел глум и срам зоны, но никогда не возбуждал, а молчал, ибо всё это было нормой той жизни, а восстать против этой нормы мог только дурак. Крюков дураком не был и жил заведённым порядком, не шибко оглядываясь по сторонам.

Конечно, с лагерной кормёжки на любовь не шибко потянет, но иногда хотелось — ой, как хотелось! — живого настоящего чувства. Ворочаясь на жёсткой лагерной койке, он не один раз

вспоминал, как обмешулился перед одной приезжей из города бабёнкой. Та, пьяненькая, хохотала, висла на нём, а на Крюкова будто столбняк какой нашёл, лежал в соломе жердь-жердью до первых петухов. В обед подрулил на молоконке к зернотоку, где работали приезжие бабы, а та, вчерашняя, стоит, хохочет и на него пальцем показывает. Фёдора будто в кипяток опустили, нажал на газ и рванул подальше. Жорка узнал, тоже хохотал до упада. В тот вечер и напился до чёртиков, и покатилась душа в рай, а ноги в милицию.

Крюков встряхнул головой и пошёл к магазину. День стал светлее, сквозь пелену облаков обозначился бледно-жёлтый кругляк солнца, с чёрных крыш капала вода, и было слышно, как потрескивая, оседают сугробы. Кое-где из-под снега начали пробиваться ручейки, ещё слабые, еле заметные. Весенняя вода нащупывала себе путь, отыскивая слабинку в ледяных преградах, и копила силу, чтобы смести зимний мусор с земли.

На карнизе магазина ворковали голуби, крыльцо обтаяло, и перед ним разлитой ртутью сверкала и покачивалась лужа, отражая серое небо.

Продавщица, незнакомая скуластая баба, подала Крюкову бутылку тёплой водки. Фёдор потоптался, оглядывая прилавки. Ничего подходящего он больше не высмотрел. Консервы, крупа, пыльные бутылки дорогого коньяка в одной стороне, в другой — мятые куртки, костюмы, кругляки цветастого материала. В углу чёрная железная бочка с постным маслом, пустые бутылки.

Дверь магазина завизжала пружинной и выбросила Фёдора на крыльцо. Он сунул бутылку в карман куртки и пошёл домой, грустя о том, что пройдя по улице, не встретил ни одного знакомого человека, да и сам околоток стал другим, совсем не похожим на себя, как-то сжался, уменьшился в размерах, из каждого окна на мир смотрела человеческая скука, а от покосившихся заборов и часто встречающихся заброшенных изб веяло безысходностью и тоской.

Крюков не знал, как он дальше будет жить, ему было известно только одно, что он должен встать на учёт в райотделе, а то вполне может загреметь под «красный флажок» — надзор за ним продолжается. Вспомнив об этом, Фёдор почувствовал

леденящую ненависть ко всему на свете. Чтобы как-то заглушить вспыхнувшую злость, достал из кармана бутылку, вышиб пробку и, разболтав, ввинтил струю в глотку.

Через минуту, другую он почувствовал, как вязкое тепло растекается по всему телу, сунул бутылку в карман и пошёл дальше, равнодушно глядя по сторонам. Его уже не один раз губили такие нервные вспышки. Сколько суток в карцере отсидел, бывал бит, а всё равно не отучился. Взрывался, как порох, чтобы мгновенно перегореть и безропотно тянуть дальше унылую лямку однообразной лагерной жизни.

Крюков опять прошёл по проулку, равнодушно глянул на берёзу, вышел на дорогу и увидел, что на грязном снегу среди катышков овечьего помёта лежит и шевелится розоватый мешочек. Сначала он не понял, что это такое, но, увидев маленькие ножки, обутое в чёрные копытца, догадался. Пока он ходил в магазин, по дороге прогнали отару, и одна сукотная овца в тесноте и давке скинула ягнёнка.

«Правду говорят, что счастливцев, в рубашке родился» — подумал Фёдор и, наклонившись, двумя пальцами снял с новорожденного родовую плёнку. Ягнёнок забрыкал всеми четырьмя ногами и перевернулся на живот. Он был ослепительно белым, и Крюков умилился его беспомощности. Осторожно взял ягнёнка на ладони и почувал, как от него пахнет тёплой сыростью материнского чрева. Так же пахнет вспаханная земля после первого весеннего дождя, это был запах жизни, у которой только-только прорезались глаза.

Ягнёнок коротко по-кошачьи хрипнул, вытянул шею и ткнулся Крюкову в грудь.

«Вот, дурачок, — ласково подумал Фёдор, — что теперь с ним делать?»

И он, осторожно ступая по подтаявшей дороге, пошёл к дому.

Дверь в кухню была открыта, из кастрюлей валил пар и вкусно пахло варёной курятиной.

Фёдор потоптался на пороге, вспомнил об ополовиненной бутылке, вышел в сени и сунул её за шкаф.

— Вот нашёл, понимаешь, — сказал он, показывая ягнёнка, — валялся на дороге.

— Ах, ты господи! — всплеснула руками Тая. — Куда ж его! Погоди...

Встав на цыпочки, она достала с кухонного шкафа корзинку с обломанной ручкой, постелила в неё тряпку и бережно положила ягнёнка.

— Сейчас сядем обедать, — сказала Тая и, приблизившись к Фёдору, прошептала, — там Варька с ребятнёй, иди...

Отец продолжал сидеть на диване, но не спал. На коленях у него юзгала зелёноглазая девчонка, а рядом стоял пацан. Варя в новом платье с газовой косынкой на плечах резала хлеб и складывала на тарелку. Фёдор окинул её взглядом, враз охватив плотную фигуру, полные руки с ямочками на локтях и улыбку.

— С приездом, Федя, — сказала Варя и поцеловала его сухими губами в щёку.

— Привет, Варюха! — обрадовался Крюков. — Вот явился, из дальних странствий возвратясь...

— А ты далеко был? Долго?.. — спросила его племянница.

— Дальше некуда, Нинка, — усмехнулся Крюков. — Дальше не бывает. А ты, Борька, чё надулся, как мышь на крупу?..

Племянник серьёзно подал ему руку.

— Ты гляди! — удивился Крюков. — Основательный мужик растёт. А старший где?..

— В городе. В ПТУ на сварщика учится.

Фёдор огляделся по сторонам и, вытащив на середину комнаты чемодан, открыл его и поманил Нинку пальцем.

— Конфеты любишь?

Нинка потрянула льняной головкой.

— На вот. Мамку угости...

Борьке достался перочинный ножик. Отцу Фёдор привез собачью шапку. Тот примерил её и аккуратно положил на подоконник. Подумав, Фёдор разделил подарки, которые приготовил для матери. Тае досталась шерстяная кофта, а Варе пуховый платок. Бабы кинулись к зеркалу примерять обновки.

— Ну, всем угодил! — сказал отец, поднимаясь с койки. — К столу бы пора...

В его голосе прорезались хозяйские нотки.

— А у тебя больше ничего нет? — спросила Нинка, заглядывая в чемодан.

— Как нет, есть, — засмеялся Фёдор. — Носки грязные, костюм хэбэ, не надо?

— А мороженого у тебя нет?

— Чего нет, того нет... Хотя постой!.. Есть для тебя подарок...

Фёдор принёс из кухни корзину, вынул из неё ягненка и поставил на стол. Покачиваясь на ножках, ягнёнок тихо и жалобно заблеял. Нинка от неожиданности растерялась, потом захлопала в ладоши.

— Это мне? Насовсем?..

— Бери! — сказал Фёдор, — только не умори. Его покормить надо, молоком что ли...

Принесли молока, налили в пустую бутылку. Ягнёнок пожевал резиновую соску и принялся сосать.

— Смотрите, не обкормите, — предупредил отец.

Ягнёнка уложили обратно в корзинку, и Нинка поставила её рядом с собой.

— Теперь вместе спать будут, — усмехнулась Варя.

— Вот вырастет, будешь с шерстью, — сказала Тая. — Сейчас шерсть дорогая, а прокормишь возле себя. Где травки, где очисток...

Сели за стол. Тая выставила на стол бутылку водки.

— С возвращением! — сказала она, залпом выпила рюмку, утёрла губы цветастым передником и закусил огурцом. От водки щёки бабы зарделись, Тая стала взахлёб рассказывать, как ей трудно управляться с хозяйством, что все косточки у неё ломит и в ушах тикает.

Крюков сразу понял истинную цену этим рассказам, и ему стало скучно. Он оглядел комнату и с унынием подумал, что всё здесь плохо. Их там хоть конвой и режим заставлял жить не людски, а здесь, почему так живут? Ни охраны вокруг, ни погонял, вроде сам себе хозяин, а всё равно живёт человек как квартирант. С грязными сапогами в избу, сруб сгнил — и ладно.

Беспамятная жизнь: отцов и матерей ещё помним, а дедов и не вспоминаем.

— Как ты хоть живёшь? — спросил Варю.

— Как все, абы день до вечера. Здоровья нет. Это я сейчас отошла, в садике воспитательницей работаю, а раньше-то доставалось мне...

— Что так?..

Бабы переглянулись, а отец потупился.

— Пил Жорка по-чёрному, — сказала Тая. — Всю зарплату пропивал и с неё тянул... Два раза лечился да бестолку...

«Ах, Жорка, Жорка! — горько подумал Крюков. — Я ему жизнь, можно сказать, подарил, а он её просвистел. Дали бы ему мой срок, глядишь бы, выжил...»

Ещё в лагере Крюков твёрдо усвоил, что прожитого не вернуть, но сейчас за родительским столом ему стало до сердечной рези жалко себя. Жизнь промотана, впереди тоже ничего не светит. Преступник. А судят по сути дела у нас бессрочно, до могилы за человеком тянется клеймо. Да и жить-то осталось... Стакан водки выпил — сердце дрыгается, почки простужены... Вкалывать надо идти, а кабинета не дадут, в кабину не пустят. Остаётся — бери больше, кидай дальше...

Фёдор потёр переносицу, тряхнул головой и повернулся к Нинке.

— Как назвать думаешь?..

Девочка смущённо улыбнулась и пожала плечами.

— Сначала определить надо, с кем дело имеем, — сказала Тая и положила ягнёнка спиной на колени.

— Счастливый ты, Фёдор! Не успел приехать, а тебе девок подбрасывают. Девка!

— Ну, как назовёшь?

— Катькой...

— Это у ней кошка Катька была, — сказала Варя. — Пропала где-то...

За разговорами и чаем засиделись до вечера. В окнах засинело, включили свет. Тая стала готовить болтушку для

борова, а гости засобирались домой. Фёдор пошёл вместе с ними.

На улице было тихо и пусто. Кое-где в окнах домов светился огонь, но в большинстве было темно. Многие перебрались на центральную усадьбу, уехали в город. Возле большого осевшего на фасад дома они остановились. Это был дом Вариных родителей.

— Померли. Мать три года назад, — сказала Варя и закрыла качающуюся на ветру скрипучую калитку.

Этот дом Фёдор когда-то знал как свой. Он учился с Варей в одном классе в школе-восьмилетке, которую сейчас переоборудовали в летнюю гостиницу для приезжающих с юга бригад шабашников.

После восьмого класса Варя пошла работать на ферму дояркой. Жорка пришёл из армии и с лёта на ней женился. Взял молоденькой, только семнадцать лет ей стукнуло. Через год они получили квартиру на центральной усадьбе в финском доме. Это в двух километрах от села.

Жили они тогда весело. В первую очередь магнитофон купили и диван. Больше мебели никакой. На подоконнике пили-ели. Но весело. Вся шофёрская братия знала к ним дорогу. Ночь-полночь стучат, вваливаются с выпивкой. Магнитофон врубают на всю катушку и гужуют. Утром хмельные за руль и по бригадам. Гаишники по их дорогам не ездили, они дежурили на асфальте в чистых будках-скворечниках, но туда совхозная шоферня не совалась.

Да, жили... Первенца сына Жорка привез, и положить некуда. Соорудил логово в цинковом корыте, а пьянку на радостях закатил на две недели. Варя после родов похудела, пожелтела, тут ещё молоко пропало, а Жорке хоть бы хны!.. Замордовал бы, наверно, бабёнку, да участковый упёк его за драку на пятнадцать суток. После райцентровского клоповника Жорка чуток присмирел. Но не завязал с пьянкой...

— Надо будет к Жорке сходить на кладбище, — сказал Крюков.

— Сейчас, Федя, снег, — ответила Варя. — Вот на родительскую ходим. У него оградки нет. Завгар обещает, да

никак не сделают. Как пить, так все в дом. А сейчас никому не надо.

Федор криво усмехнулся. Чего-чего, а истинную цену пьяной дружбе он знал. И в лагере ни с кем не корешился по-настоящему, и Слава Богу. Успел понять, что лагерная дружба — это гарантия нового срока. Уходил из зоны, адресов, телефонов ему насовали, приветов напередавали, но Крюков никуда не заезжал и не звонил. Может поэтому и доехал до дому.

— Ничего, сделаем оградку, — сказал Фёдор. — Вот огляжусь, устройсь и всё решим.

— Ты бы не уезжал от нас, Федя, — вздохнула Варя. — Отец совсем плохой...

Крюков не ответил. Он ещё не решил, как будет жить дальше. Во всяком случае, торопиться ему было некуда, да и не имело смысла. Фёдор знал, что в городе вряд ли ему обрадуются, и любой кадровик завернёт его с порога обратно.

Центральная усадьба стояла за оврагом, на голом, продутом всеми ветрами бугре. Когда создали совхоз из пяти колхозов, то ни одну деревню совхозной столицей не объявили. Деньги у новых хозяев были, гонор тоже, вот и воздвигли на гнилом бугре сначала контору, потом мастерские, гараж и две широкие и длинные улицы, где зимой гуляли метели, а летом прела постоянно сбиваемая колесами машин коричневая грязь.

Когда они поднялись из оврага, уже стемнело. В окнах конторы горел свет, а в клумбе перед входом стоял памятник с вытянутой вперёд правой рукой. Фонарей на улице не было. Но это была, не в пример деревенской, живая улица. Окна были освещены, в сараях хрюкали свиньи и мычали коровы.

Финский дом, где жила Варя, был не старым, но каким-то заброшенным. Калитка болталась на одной петле, одна ступенька крыльца была сломана, окно в сенцах разбито. Да и сама квартира давно не знала побелки, обои были грязными, краска на полу облупилась.

Крюков разделся, прошёл на кухню и сел к столу. Нинка побежала в комнату устраивать свою Катюку. Боряка включил

телевизор. Варя сходила в сарай, принесла дров, затопила печку и поставила на плиту чайник.

Фёдор смотрел на сиротское жилище и морщился. Бедность и неспособность наладить жизнь бросалась в глаза всюду, куда бы он ни обращал свой взгляд.

«Собственно, мы с ней одинаковы, — подумал Крюков. — Я червонец оттянул ни за что. И она ни за что мается. Большой разницы между нами нету»...

Он вспомнил, что забыл взять с собой недопитую поллитровку, и пожалел об этом.

Чайник заворчал на плите. Варя достала из шкафчика чашки и спросила:

— Ты, Федя, настоящку будешь? У меня на смородине...

Крюков кивнул и подвинулся ближе к столу.

Настойка оказалась приятной с еле уловимой горчинкой. Фёдор попросил себе пепельницу и закурил.

— Знаешь, как трудно одной. Никогда не думала, что так трудно. Я же совсем девчонкой за Георгия пошла. Жили, сам знаешь, как. А что я могла поделать? Конечно, я сейчас понимаю, мне нужно было поприжать его. Это сейчас. А тогда не смогла. Я, когда забеременею, то совсем безвольной становлюсь и сердиться не могу. Всё у меня хорошо тогда. Так на меня беременность действовала. А он пьёт, гуляет... Я его баб-подстилок и не считала... Потом вроде опомнилась, да дети — куда я без него? Вот и доигрался...

Голос Вари задрожал, она потупилась и рукой смахнула с лица слёзы.

«Ещё одна неудачная, раздёрганная по мелочам судьба», — подумал Фёдор, затягиваясь сигаретой.

В общем-то, она была несчастнее его. Он был свободен, у него впереди даже маячил кое-какой выбор, а Варина жизнь была уже проехана, и ей оставалось только ждать, когда всё для неё наконец-то закончится.

— Ну что это мы грустим! — сказала Варя, поднимая рюмку.
— Давай не будем грустить!..

— Давай! — согласился Крюков и пристально посмотрел на неё.

— Что смотришь? Постарела?..

— Да нет, — смутился Фёдор. — Нормальная женщина.

— Это точно — нормальная...

Она подошла к зеркалу, поправила волосы и вернулась к столу. Лицо её было печально.

— Всё, Федя! Песня спета...

— Да ну... Ты ещё замуж выйдешь.

— Вот уморил! — захохотала Варя. — Борька! Ты слышишь. Меня замуж собираются выдавать.

Сын не ответил, только увеличил громкость телевизора.

— Почему уморил, — улыбнулся Крюков. — Выходи за меня!..

Это слова вылетели у Крюкова неожиданно, он поперхнулся и замолчал. Варя поднялась из-за стола и вышла в комнату.

Крюков закурил, встал и подошёл к тёмному окну. Почему, думалось ему, и не сделать так, как я сказал. Не до девок уж теперь. Варя — женщина нормальная, да и ребятишкам он не чужой. Пойду работать, дом в порядок приведу. Пока три тысячи есть на разгон, лагерные...

Варя подошла неслышно и положила ему на плечо руку.

— Чай будешь пить?..

Он накрыл её руку своей и сказал, отчетливо выговаривая слова:

— А я ведь не шучу. Я серьёзно сказал.

Варя тихонько высвободила руку, взяла с плиты чайник и стала наливать чай. Слова Фёдора напугали её, но были приятны. Испуг быстро таял, и в груди вспыхнула тёплая искорка, и она удивилась той лёгкости, которую вдруг почувствовала во всём теле. Ей захотелось широко и радостно улыбнуться, и она усилием воли подавила этот порыв.

Крюков пил горячий чай и настороженно поглядывал на Варю. Он с тоской думал, что Варя сейчас превратит сказанное им в шутку, а это было невыносимо для его болезненного самолюбия. Где-то в глубине души он уже сожалел о сказанном, но отступить было поздно.

Варя заметила смущение и растерянность, которые охватили Фёдора, и ей было приятно, что кто-то рядом волнуется и ждёт

её слова. Она вдруг поняла, что обладает силой, способной влиять на другого человека, силой, которую в состоянии осознать только женщина, ибо она дана ей одной.

Они пили чай и молчали.

На кухню, постукивая копытцами, забежал ягнёнок, за ним Нинка. В руках у неё был красный бант, который она прицелилась привязать на шею Катьке.

Варя перехватила Нинку на бегу и посадила к себе на колени. Ягнёнок ткнулся Фёдору в ноги. Он поднял его и поставил на стол.

— Слушай, Нина! — сказала Варя, прижав к себе дочь. — Хочешь, чтобы дядя был твоим папой?..

Нинка молчала и, закусив верхнюю губу, смотрела на Крюкова.

— Ну, что ты молчишь? Отвечай...

— Не, не хочу! — буркнула Нинка и насупилась.

Варя вздохнула и опустила дочку на пол.

Крюков кашлянул, поскрёб пятернёй стриженую голову.

— Ладно, засиделся я в гостях, — пробормотал он. — Пойду...

Варя проводила его до крыльца. В дверях Крюков остановился, ему захотелось обнять Варю, но он сдержался и, махнув рукой, пошёл к калитке.

Было звёздно. Растаявший за день снег похрустывал под подошвами. В ответ из дворов на Крюкова заполошно лаяли собаки. На душе у него было пакостно, и он мысленно ругал себя за всё, что говорил и делал в этот вечер.

Первый день дома пошёл наперекосяк. Крюков не искал причины, почему так случилось, он понимал, что одной свободы человеку мало, нужно, чтобы ему ещё везло в жизни.

В сенях отцовского дома он нашёл свою поллитровку, допил её и швырнул через забор.

— Ложись в горнице, — сказала Тая, не зажигая света.

Федор прошёл в горницу и лёг, не раздеваясь, на койку. «Надо будет завтра в город мотануть, — думал он, засыпая. — Может быть, там что-нибудь наклюнется насчёт работы...»

В доме Вари тоже ложились спать. Нинка вместе с Катькой забралась на детскую кровать, Борька тоже уснул.

Варя закрыла дверь, раздевался, встала перед зеркалом и сладко всем телом потянулась.

Была ночь, и на небе сияла полная луна. Своим бледно-зелёным светом, проходя над миром, она освещала женщину, спавшую на скомканных простынях, и мужчину, уснувшего в позе человека, готового в любой миг бежать.

ВСЁ ГДЕ-ТО РЕШЕНО

Повесть

Ульяновским художникам посвящается...

- 1 -

Потапов поставил машину в тень, запер дверцы и по деревянным скрипучим ступенькам поднялся на крыльцо. В коридоре возле голых стен на скамейках сидели люди, пахло дезинфекцией и сыростью. Перегородки между кабинетами были тонкими, из сухой штукатурки, и, пройдя по коридору, Потапов услышал из одной из дверей голос жены. Ольга с кем-то разговаривала по телефону, и он удивился, с какой строгой настойчивостью она говорила. Ему это было в новинку, Потапов почему-то считал, что жена на работе точно так же тиха и незаметна, как и дома.

Ольга закончила разговор на высоких тонах, резко положила трубку и вышла в коридор. Увидев мужа, она улыбнулась:

— Как хорошо, что приехал! Ты на машине?

— На машине, — ответил Потапов. — А у тебя разве сегодня не выходной?

— Какой выходной! — пожала плечами жена. — Тут до моего приезда дикий случай был: умерла десятилетняя девочка от дизентерии.

Она взяла мужа за руку.

— Пойдём в контору, а то директор хозяйства куда-нибудь скроется. Ты не представляешь, какой это скользкий уж!

— Ну, рассказывай, как ты живёшь? — спросил Потапов, когда они выехали на дорогу. — Я смотрю, деревенька в развале.

— А я как-то внимания не обратила. У нас в больнице все палаты забиты. Пятьдесят человек.

— Что они руки не моют? — иронически усмехнулся Потапов.

— Сейчас разбираемся. Началось с поварихи в столовой. Она оказалась бациллоносителем. Сама лечилась, дочку лечила, да вот и залечила.

Миновав пустырь, они подъехали к конторе. Директор, краснолицый с воспалёнными глазами, встретил их хмуро.

— Мы ведь всё по телефону обговорили, Ольга Викторовна, — сказал он, вытирая платком потную шею. — Пиломатериала нет. Ну, есть, может, кубов тридцать, но я его не дам. Коровник на ферме прохудился.

— Но ведь есть постановление чрезвычайной противоэпидемической комиссии! — запротестовала Ольга. — Лес выделен. Нужно его получить!

— Легко сказать, — вздохнул директор и, заметив, что Ольга хочет что-то сказать, поднял руку. — Да вы не торопитесь, постойте, постойте! Вы посмотрите на эту заявку! Двести кубометров тёса! И это на сто дворов. По два куба на двор. Я не мальчик, это городские могут не понимать, но, прошу прощения, на сортир двух кубов много. Да из двух кубов хату можно поставить.

— Я не знаю этих тонкостей, — сухо сказала Ольга. — Но туалет нужно построить в каждом дворе.

— Пусть строят, но не из двух кубов. На туалет хватит восьми, максимум двенадцати трёхметровых досок.

— Я вообще не понимаю, — вздохнула Ольга. — Как люди обходятся без туалетов. Спрашиваю, а они в ответ — мы привыкли.

— Да тут спокон веку так заведено. Мало у кого есть такие приспособления, разве что у приезжих, вроде меня. Тьма египетская до сих пор. Вот мы нашей лучшей доярке телевизор подарили. Заехал на днях посмотреть. Дверь, знамо дело, настезь, в избе никого, цветной телевизор работает, а на диване германской работы лежит барином хряк и «Утреннюю почту» смотрит. На полу грязь на ладонь, засохла уже...

— Но всё-таки как с лесом? — настойчиво сказала Ольга.

— Как? А вы их штрафом пуганите. Нет уборной — плати штраф!

— Жители говорят, что у них нет леса для строительства.

— Врут они, Ольга Викторовна. Как это у мужика нет досок? Любой двор ковырните, вы машину леса найдёте, да и прочего всякого вагон.

— А инвалиды и одинокие престарелые?

— Ладно! — вздохнул директор. — Этим дам по паре досок.

— Этого же мало! — запротестовала Ольга.

— Хватит! — директор легонько пристукнул ладошкой по столу, поднимаясь со стула. — Извините, Ольга Викторовна, у меня сегодня похороны моего заместителя, нужно ехать.

— А что с ним случилось? — истомлённый долгим молчанием спросил Потапов и, наткнувшись на тяжёлый взгляд директора, покраснел.

— Опился! Хороший был человек и специалист. Опился, на свадьбе у племянника. А вы, я извиняюсь, кто будете?

— Это мой муж, Борис Геннадьевич.

— Тоже врач?

— Нет, я художник, — сказал Потапов. Он уже справился с нахлынувшим на него смущением и с вызовом посмотрел на директора.

— Это хорошо, что вы приехали. Посмотрите, как мы живём, может быть, к нам надумаете. Работа есть. Жильё дадим, как раз к осени четыре двухэтажных коттеджа закончим. Ольге Викторовне здесь нравится, так ведь?

— Здесь хорошие люди, — сказала Ольга. — Но Борис — городской человек, да и я тоже.

На улицу они вышли вместе. Директор попрощался, сел в «уазик» и укатил хоронить своего заместителя. Потапов посмотрел на жену.

— Типичный феодал, — сказал он. — Рабовладелец. Хочу, дам доски, хочу — нет. Куда теперь рулить?

— Сколько сейчас времени? — спохватилась Ольга. — Мне нужно в магазин заехать.

— Час дня.

— Поедем побыстрее, мне нужно проверить, как продают хлеб.

Возле магазина стояла машина с фанерной будкой в кузове.

Вокруг неё толпились женщины и шумели. Продавец, он же шофёр, отбивался от наседавших на него покупателей.

— Начну продавать, когда врач приедет. Без неё ни одной буханки не продам!

Увидев Ольгу, женщины притихли.

— Становитесь в очередь, — сказала Ольга.

Женщины, подталкивая друг друга, разобрались в цепочку и выжидательно смотрели на врача.

— Товарищи женщины! — сказала Ольга строгим голосом.

— Четыре дня назад на сходе села было объявлено, что хлеб будет продаваться только в тару: мешки и пакеты. В руки хлеб продаваться не будет. Это в интересах вашего здоровья. Кто не имеет тары, должен сходить за ней домой.

— Я с работы! — крикнула коренастая баба с обгоревшим на солнце лицом. — Мне что — за этим мешком через всю деревню домой бежать?

— Без тары хлеб не продавать! — сказала Ольга продавцу и отошла в сторону.

Тот схватил мешок у первоочередной и стал, не глядя, швырять туда буханки. Очередь убывала быстро, как и хлеб в будке. Брали по десять — пятнадцать буханок, набивали мешки под завязку, будто готовились к длительной осаде.

— Почему они так помногу хлеба берут? — удивился Потапов, который тоже встал в очередь.

Его услышала не только жена.

— Раз в неделю, милок, возят, — сказала коренастая баба, которая уже где-то раздобыла засохший, видимо, из-под комбикорма мешок, и выколачивала его о борт грузовика. — Купим и грызём неделю.

Борис смутился, чувствуя, что раздражение этих людей направлено и против него, человека городского, который не садится пить чай без сдобной булки. Он потупился, дождался своей очереди и купил буханку жёсткого с оплывшей коркой хлеба. Буханка была ещё тёплой, вкусно пахла, и Потапов,

отломив корочку, положил в рот.

Дом, где жила Ольга, был крепким бревенчатым пятистенком, с окнами в палисадник. На ступеньках крыльца сидели две старушки и разговаривали.

— Познакомьтесь, мой муж, — сказала Ольга. — На выходные приехал.

— Я и смотрю, — улыбнулась востроглазая старуха в чёрном платке. — Машина незнакомая туда – сюда пылит. Кто, думаю, это?

— Мы вас не стесним, Матрёна Семёновна? — спросила Ольга.

— Да господи! Четыре комнаты пустые. Да мне же больница за вас платит. Все врачи у меня всегда жили, пока не сбежали.

— Не нужны мы никому, старые! — сказала другая старуха. — Начальство в город ездит лечиться, а я с радикулитом как маялась двадцать лет назад, так и сейчас маюсь. Дай Бог здоровья, Ольга Викторовна помогла, а уедет, кто поможет?

Старуха достала из-за крыльца большое ведро, полное созревших помидоров.

— Вот, сама донесла.

— Что вы! — запротестовала Ольга. — Не надо.

— Бери, не обижай мою куму, — сказала Матрёна Семёновна. — Там тебе ещё сметаны принесли и яичек.

В комнате стояли две кровати, застеленные больничными одеялами. Потапов сел на скрипучий венский стул с гнутыми ножками и засмеялся.

— А ты, оказывается, во всю взятки берёшь.

— Каждый вечер бабушки приходят. Не откажешь, поговоришь, посмотришь. И время быстрее проходит.

— А я думал, ты на вечеринки ходишь.

Ольга улыбнулась и обняла мужа. Потапов вдохнул в себя знакомый запах жениного тела и зажмурился.

— Ты сегодня закончила работу? — спросил он. — Может, махнём куда-нибудь на необитаемый остров, покупаемся.

— Вряд ли удастся, — сказала Ольга. — Через час бригада приедет со станции по переливанию крови. Забор крови будут делать. Я же временно главврач, нужно подготовиться.

Старухи всё ещё сидели на крыльце и разговаривали.

— Чтой-то не отдохнули? — спросила Матрёна Семёновна.

— Самая жара.

— Некогда отдыхать, — сказал Потапов. — Работать надо, работать...

У здания больницы они расстались. Ольга пошла в свой кабинет, а Потапов поехал в центр села, где, к его удивлению, наткнулся на книжный магазин. Борис собирал книги по искусству, а Ольга была помешана на фантастике, однако пополнять свою библиотеку новиками случалось лишь изредка: книги были большим дефицитом, а нужных знакомств у Потапова не было.

Магазин был крохотной избой, покосившейся на одну сторону. Крыльцо заросло лебедой, но дверь была открыта, и за прилавком сидела веснушчатая женщина, отяжелевшая от поздней беременности и разморенная зноем.

Потапов поздоровался и по скрипучим половицам подошёл к книжным полкам. Они были битком набиты книгами, которые, видимо, никто годами не брал в руки. Борис пробежал глазами по корешкам книг, и, вздрогнув, протянул руку к находке. Это был двухтомник Альбрехта Дюрера «Дневники, воспоминания и трактаты», изданный ещё в 1957 году. «Надо же, — удивился Потапов, — попал в эту книжную избёнку почти двадцать лет назад, и дождался меня».

Для Ольги нашёлся двухтомник фантастики братьев Стругацких, за которым в городе шла настоящая охота, а здесь он стоял, небрежно засунутый в самый тёмный угол, на полке.

Продавщица не смотрела, как Потапов перебирал книги, и прислушивалась к самой себе, к созревавшему плоду, который ворочался в её чреве, подыскивая удобное для себя положение. На каждый толчок ребёнка сердце женщины откликалось опасно-радостным трепыханием, и она, положив ладони на живот, улыбалась.

Жара на улице ещё не спала, но в воздухе уже появились струйки прохлады, а на западе, заслонив собой полнеба, выросла огромная чёрная туча. Потапов забеспокоился. Дождь, а тем

более ливень, был ему ни к чему. Если развезёт дороги, то отсюда не выбраться.

Возле больницы стояли две медицинские машины, и Потапов догадался, что приехала бригада станции переливания крови. В коридоре было прохладно от влажных, только что вымытых полов, на стульях сидели женщины, видимо, добровольцы. Ожидая начала процедуры, они немного волновались и поэтому оживлённо разговаривали.

Потапов вошёл в кабинет жены. Там были приехавшие медработники, которые с любопытством на него посмотрели.

— Мой муж, — представила Потапова Ольга.

— Прекрасно! — сказала пожилая медработница, окидывая Бориса оценивающим взглядом. — С него и начнём. Вы как, не против?

Потапов кровь ни разу не сдавал, и делать этого ему не хотелось. Не то чтобы он очень опасался чего-то, но предложение прозвучало неожиданно. Он с растерянностью посмотрел на жену.

— Это очень хорошо для примера, — продолжала напирать медработница. — Муж главврача сдаёт кровь, и другие за ним пойдут без опаски. Ну как?

— Пожалуйста, — промямлил Потапов. — Если так уж нужно, то я готов.

Облачённый в белый балахон, Борис Геннадьевич вошёл в процедурную, неловко взгромоздился на стол и лёг, глядя в обшарпанный потолок. Никакой боли он не почувствовал, правда, немного закружилась голова, и он, вставая со стола, пошатнулся. Его поддержали, помогли одеться и вручили талон в больничную столовую.

Ольги в кабинете не было. Потапов вышел на улицу и сел на скамейку в палисаднике.

Туча надвинулась, загроздила всё небо, и перед грозой сильно запахла полынь. Вдыхая всей грудью приятный горьковатый запах, Потапов услышал, как по широким листьям клёна хлестко ударили первые капли дождя, а в небе, громяхая и лязгая, заворочался гром. По дороге, вздымая мусор и пыль, пролетел вихрь, стало сумрачно и прохладно. Переходившего

дорогу петуха подхватило этим вихрем, задрало перья сзади, как юбку на голову бабе, и швырнуло в лопухи. Проваливаясь между широких листьев, петух истерично закукарекал, захлопал смятыми крыльями и, выбравшись на твёрдую землю, рванул в подворотню.

Поколебавшись, идти — не идти, Потапов скорее из любопытства пошёл в столовую. Ему интересно было узнать, что там такое дают на талон. Но в столовой ничего не давали, а кормили сдавших кровь обедом. Борис хотел было уйти, но его не отпустили. Он с неохотой сел за стол рядом с женщинами, сдавшими кровь, и попросил, чтобы ему принесли только второе. Вместе с гуляшом появился стакан, наполненный разбавленным спиртом.

«А что, неплохо, — подумал Борис. — Неужели все бабы шарахнут по двести грамм водяры?»

Отказавшихся от выпивки не было. Все женщины выпили свою долю молча и сосредоточенно, как на поминках, и стали хлебать борщ.

— А вы что не пьёте? — спросила его соседка. — Чай, заработанное, не чужое!

Борис сглотнул слюну и под взглядами женщин храбро выпил стакан разведённого спирта.

— Закусывайте, закусывайте.

Мясо с горохом показалось Потапову необыкновенно вкусным. Он ел и чувствовал, как по всему телу растекается теплота, голова закружилась.

Женщины заговорили и зашумели. Они подначивали какую-то Марусю, которая боялась идти в процедурную, а теперь, смущаясь, оправдывалась, что у неё разболелся живот.

Потапов посмотрел на Марусю. Она была ещё молода, одних лет с Ольгой, но некрасива, с грубыми чертами лица. Лишь глаза у Маруси были живые и тёплые, как у телёнка, и Потапов невольно подумал, что у этой женщины, наверняка, нелёгкая судьба человека, который знает в жизни только тупую однообразную работу, и ничего больше.

Гроза прогромыхала и скатилась в сторону от деревни, едва прибив пыль на дороге и освежив листву на деревьях. Потапов

смотрел на деревню, на почерневшие от дождя крыши домов, на заброшенную с обвалившимся куполом церковь, на далёкие отливающие тёмной желтизной хлебные поля. Ему была приятна тишина затухающего дня, ему даже казалось, что он слышит ровное дыхание земли, умиротворённой этим мгновенно промчавшимся дождём и теперь озарённой прорвавшимся из-под тяжёлых туч блещущим обновлённым светом.

Ольга сидела в своём кабинете и что-то писала.

— Сейчас освобожусь, — сказала она.

Потапов сел на стул и потянулся.

— Слушай, а не съездить ли нам искупаться? Я тут неподалёку такое шикарное озеро приметил.

— Ты что-то весёлый стал, Боря, — улынулась Ольга. — У меня купальника нет.

— Чепуха! Искупаемся голяком. Там камыши, и народу нет.

За деревней Потапов остановил машину, потянулся к Ольге и поцеловал её с такой жадностью и поспешностью, что она враз обмякла от его порыва и жарко зарделась.

— Ты что, Боря, — прошептала Ольга, прижимаясь к мужу. — Мы же купаться едем.

— Конечно, купаться! — воскликнул Потапов. — Купаться! Смыть с себя всю грязь! Чтобы вновь родиться!

Озеро было небольшим, по краям обильно заросшее камышом и высокой травой. Потапов загнал машину в заросли и заглушил мотор.

— Пошли, — сказал он. — Не бойся. Здесь мы одни, как на необитаемом острове.

Он сбросил с ног туфли, снял носки и, засучив штаны, пошёл на разведку. Пройдя топкое место с сочившейся из-под земли остро холодной родниковой водой, Потапов обнаружил сухой, отлого спускавшийся к воде бугорок.

— Иди сюда! — позвал он жену.

Ольга подошла и встала с ним рядом. Было тихо, но временами откуда-то налетал ветер, морщил воду, и камыши вокруг начинали шуметь шумом ливня. Вода была светлая и прозрачная, волны песка на дне переливались зайчиками света, и

песчаное дно в это мгновение начинало походить на панцирь огромной черепахи, давным-давно утонувшей в этом озере.

Потапов обнял жену, крепко прижал к себе и опустился вместе с ней на мягкую мшистую траву. Ими овладело беспмятство, жаркое, страстное, полыхнувшее, как пламя костра, в котором они на какой-то миг расплавились и слились в одно целое на горячей терпко пахнущей спелыми травами земле.

Потапов открыл глаза и увидел перед собой стрекозу, которая, зависнув в воздухе, трепетала синими крыльями. Он прижался к Ольге и тихо засмеялся.

— Хорошо-то как, Оля! — сказал Потапов. — Ей богу, как хорошо!

Ольга лежала с закрытыми глазами и улыбалась, чувствуя себя опустошённой и счастливой, как земля, по которой прошёл долгожданный дождь. Она сладко потянулась всем телом и глубоко вздохнула.

— Если я забеременела, — сказала Ольга, — то обязательно рожу.

Борис рассмеялся.

— Наверно, поздно уже нам пелёнки стирать.

— Не поздно, — она обняла мужа. — Ребёнок. Что может быть лучше?

— Ладно, не сердись, — сказал Потапов. — Я ведь просто так это брякнул. Пойдём купаться.

Они заплыли на середину озера, перевернулись на спину и лежали на воде, глядя в чистое, освободившееся от облаков небо. Вода омывала прохладой тела, освобождая от усталости, накопленной ими за день, волны тихо плескались вокруг, причмокивая, будто что-то нащёптывали своё, понятное им одним.

— Хочешь, я тебе что-то скажу? — Потапов коснулся рукой жены.

— Скажи.

— Я тебя люблю.

Ольга засмеялась и поплыла к берегу. Потапов кинулся за ней вслед, быстро догнал, обнял жену и слегка притопил. Ольга не осталась в долгу. Вынырнув, она плеснула водой в лицо мужа.

Так, хохоча и барахтаясь, они доплыли до берега. Ольга отжала волосы и, уже не стесняясь, нагая вышла на берег. Она стояла на берегу, обтирая ладонями воду с тела, а Потапов смотрел на неё с любованием, будто видел в первый раз.

«Нет, какие дураки те, — думал он, — которые говорят, что жить скучно. Ерунда всё это! Жить весело, и для счастья много не надо».

Был уже вечер, жара спала, солнечный диск коснулся линии горизонта и стал медленно остывать. Он уже не слепил глаза сидевшему за рулём Потапову, не лил на землю жару, а был похож на тонущий от пожара корабль. Вокруг клубились белесовато-синие, как дым, тучи, а на противоположной стороне неба всплыл еле видимый шар луны.

Матрёна Семёновна встретила Потапова и Ольгу возле крыльца и сразу принялась хлопотать по хозяйству. Пока Борис ставил во двор машину и разжигал летнюю печку, она накопила молодой картошки, нарвала луку и укропу.

Во дворе запахло печным дымком, с улицы донеслось мычание коров и блеяние овец. Потапов слушал звуки деревенского вечера, как давно забытую музыку, которая вдруг снова проснулась в нём, напоминая о чём-то давнем и дорогом сердцу.

Ужинали во дворе. Ели дымящуюся молодую картошку, запивая парным молоком. Матрёна Семёновна смотрела на них, вздыхала. Одинокой женщине нравилось потчевать гостей, глядя на них, она вспоминала своих умерших детей и тосковала.

— Деревня у нас старинная. Раньше, я ещё помню, леса вплотную к домам стояли, да повырубали в войну. Речка была, так ту навозом завалили. Большая была деревня. До войны три колхоза у нас было...

Их разговор прервал стук калитки. Во двор вошли две старухи, держа под руки третью, едва волочившую ноги.

— Это к тебе, — безошибочно определил Потапов.

— Вот, милая, вся поясница отнялась. Ровно неживая. Помоги, Христа ради!

Ольга сходила в дом, принесла одеяло и скалку. Вымыв руки,

она уложила старуху на расстеленное одеяло и принялась разминать ей спину. Старуха покряхтывала, постанывала, но терпела.

— А сейчас переворачивайтесь, — сказала Ольга.

Потапов с интересом смотрел, как Ольга пропускает старуху через скалку спиной и ждал, чем всё это кончится. Покатав больную на скалке, Ольга опять перевернула её лицом вниз и принялась разминать спину.

— Ну, вот и всё, — сказала она, закончив работу. — Давайте подниматься.

Старуха сначала встала на четвереньки, потом, всё ещё держась рукой за поясницу, медленно поднялась с колен.

— Ну как, Сергеевна, — спросила Матрёна Семёновна, — полегчало? Ишь ты, тебя даже пот прошиб!

— Фу ты! — старуха сделала шаг вперёд и стала спускаться с веранды. — И точно сто потов сошло. Однако мастерица твоя квартирантка. Видишь, сама иду, а то три дня пластом лежала.

Старухи с Ольгой сели пить чай, а Потапов вышел на улицу. Вокруг было тихо и безлюдно, только вдалеке вспыхивал красноватый огонёк папиросы. Вечер переходил в ночь, с полей тянуло прохладой. Потапов посмотрел на крупные звёзды, которые на городском небе видел редко, и думал о том, что человеческий век до обидного короток. Он не был сентиментальным, но очевидность этой мысли больно царапнула его по сердцу. Потапов подумал, что никакой он не свободный человек, располагающий собой по своему усмотрению, а заложник у каких-то тёмных непонятных сил, которые играют им по своему произволу. Эта мысль сразу притупила в нём весёлое настроение, с которым он вернулся с озера. Ему стало скучно, он опять ощутил жизнь такой, какая она есть на самом деле. Увидел напротив заброшенную избу с обвалившейся печной трубой, услышал дикое разбойничье пение комаров, ощутил тяжёлый навозный запах, пропитавший воздух. Потапов прошёл мимо чаёвничавших женщин в дом. Разделся и лёг в постель. Когда Ольга, помыв посуду, вошла в комнату, он уже спал. Она подошла к нему и поцеловала в щёку. В ответ Борис что-то промычал во сне и перевернулся на другой бок.

Сквозь утреннюю дрёму он слышал звуки деревенского утра: перекличку петухов, взмыкивание коров и блеяние овец, которых погнали на выпас, осторожные шаги Матрёны Семёновны и шум проехавшей мимо открытого окна автомашины. Потапов, наконец, разомкнул веки и поднялся с кровати. Во дворе хозяйка топила летнюю печурку, на которой стоял закопчённый чайник.

— Где можно умыться? — спросил Потапов.

— Иди в баню, там, в чане, полно воды.

Он открыл калитку, вышел в огород и остановился, увидев ползущего по тропинке большого рогатого жука. Борис наклонился и осторожно взял его двумя пальцами. Жук отчаянно зашевелил ножками, потерявшими земную опору. «Какой жуткий механизм! — подумал Потапов. — Если увеличить его раз в десять, то людям проходу не будет». Он положил жука на землю и заметил, что прямо на него смотрит с навозной гряды покрытый каплями росы огурчик. Сорвал его и с наслаждением съел.

— Борис! Подожди меня! — услышал он голос жены.

В бане было сумрачно и пахло сажей. Ольга из ковша поливала, а Потапов, пофыркивая, умылся до пояса, отказался чистить зубы, сказав, что почистил их огурцом, затем помог умыться жене.

— Знаешь, — сказал он. — Мне наше озеро очень понравилось. Даже приснилось сегодня.

— А мне, к сожалению, не приснилось. Спала как убитая.

— Сегодня мы опять пойдём туда. Хочешь?

Ольга тихо засмеялась, обняла мужа и поцеловала.

— Ты хочешь меня нарисовать? Не надо.

— Но почему, Ольга! — запротестовал он. — Я не собираюсь сегодня работать. Я просто хочу ещё раз посмотреть на тебя, когда ты выходишь из воды. Мне думалось, что я знаю тебя наизусть, но вчера показалось, что не всю. Хочу тебя запомнить, и вот, если это получится, и я сохраню этот миг в себе, то картину напишу без тебя, по памяти, по чувству.

Потапов говорил несколько растерянно, таким он был и в их первую встречу, когда подошёл к ней на улице, сказал, что он живописец и предложил попозировать ему для картины. Не отвечая на просьбу Потапова, Ольга вбежала в метро, спустилась по эскалатору и, выходя на своей станции, обнаружила, что незнакомец на расстоянии следует за ней. У подъезда общежития он догнал Ольгу и сунул в открытую сумку клочок бумажки, который она выбросила в лифте и даже не посмотрела, что там написано. На следующий день он ждал её возле общежития с цветами. Ольга цветы приняла, но сразу же заявила, что никуда с ним не пойдёт. «И не надо, — сказал он. — Посидите немного на скамеечке, вот здесь». Потапов сел на эту же скамейку, но поодаль, достал из папки бумагу, карандаш и принялся рисовать. Она поразилась, как он изменился, начав работать: совершенно другой человек, взгляд стал жёстким и отстранённым, лицо отяжелело, нетерпеливым движением руки Борис пресёк её попытку поправить причёску и изменить позу. Сеанс длился минут двадцать, и за это время Ольга смертельно устала, но не от неподвижности, а он его отстранённых и в тоже время пронизывающих насквозь взглядов, которые художник время от времени на неё бросал, не переставая работать карандашом.

— Мне необходимо нарисовать тебя, — сказал Борис, выходя из бани. — После твоего отъезда я понял, что разучился писать. Даже с Земляком не совладал. Впрочем, чёрт с ним! Ты же знаешь, что я не могу бросить начатого, для меня это катастрофа. Но вот случилось. И, слава богу, что убежал к тебе.

Свой первый портрет, выполненный Потаповым на скамейке, Ольга взяла в руки с опаской, потому что в каждом человеке, каким бы продвинутым он не был, в подсознании живёт тревожное чувство благоговения перед собственным изображением. Ольга оценила портрет чисто по-женски, он её заинтересовал не зеркальным отражением самой себя, и она нашла в себе много нового, порой неожиданного и до сих пор ей неизвестного. «Оставьте себе, — сказал художник. — Надеюсь, вы поняли, что я именно тот, за кого себя выдаю. Вам не нужно меня бояться, я прошу вас немного поработать со мной. Я

заплачу за каждый потраченный вами час, по ставкам худфонда». «А что у вас натурщиц нет?..» «Есть, конечно, но они меня не удовлетворяют, мне нужны именно вы. Я обошёл пол-Москвы, пока не нашёл вас. Ну как, вы согласны?»

— Я настолько поглупел от общения с нашими живописцами, что утратил чувство меры. Взглянула бы ты, что я нарисовал: цветущая сирень и по-поросячьи розовое лицо юного Земляка: идиллия! Но наше озеро меня вылечило. Только вот чем мне до вечера заняться?

— Сходи в лес, по ягоды.

— Где здесь лес? Только возле озера. Овраги, увалы, степь, жара, пыль.

Ольга звала его с собой в больницу, но Потапов отказался, вид людского несчастья его не привлекал. И он, от нечего делать, пошёл вдоль улицы по обочине дороги. Было восемь часов утра, но солнце уже палило во всю. «А что если навестить здешнего хозяина? — подумал Потапов. — Всё развлечение».

Возле конторы стояли несколько легковых машин, на скамейке под тополем сидели два мужика, курили и о чём-то спорили. Потапов поздоровался с ними, вошёл в контору и сразу окунулся в крики, звонки, писк и треск рации, включённой на полную громкость.

— Бром один, я Бром семь! Как меня слышите? Приём!

— Бром семь, я Бром один! Вас плохо слышно! Поправьте антенну!

В диспетчерской на стульях возле стены сидели заведующими, завфермами, бригадиры хозяйства, за столом — начальство повыше.

— Борис Геннадьевич! Заходи, дорогой! — вскричал директор. — Поприсутствуй, может, картину напишешь! У нас здесь ставка главнокомандования! Дайте художнику стул!

Смущённый оказанным вниманием, Потапов присел на стул и начал наблюдать за происходящим на его глазах действием. Вскоре о нём забыли. Из рации раздалось хриплое покашливание, а затем прорезался сквозь помехи начальственный голос:

— Анализ сводок за прошлые сутки показывает, что ряд

хозяйств заваливает темпы уборки. Таким руководителям как Антипов, Гвоздев, Долгов, Грехов, — слышишь, Виктор Петрович?

— Слышим! — проворчал директор.

— Это хорошо, что слышишь! За прошлую неделю ты по всем показателям был первым, а за последние два дня скатился в самый хвост. Почему?

— Поломки одолели.

— А что твой главный инженер, как его ... Пупин?

Со стула поднялся седой мужчина, Грехов нетерпеливо махнул рукой, тот сел на своё место.

— Выправим положение к концу недели, — сказал директор. А Пупину я уже хвост накрутил.

— Ну, добро!

И районный начальник принялся за следующего руководителя хозяйства.

— Мы стали слишком эмоциональны и работаем с отключенной головой, — сказал, убавив громкость рации, Грехов. — Особенно этим страдает наш главный инженер. Чуть что где сломалось, сломя голову мчится на место аварии. Разве этим должен заниматься главный специалист? Да, кстати, почему в третьей бригаде не работала сварка?

— Сварной мне всю душу сгноил! — страдальчески воскликнул Пупин. — Опять напился.

— Перевести разнорабочим! А что у тебя?

Заведующий отделением животноводства, не вставая с места, махнул рукой.

— Опять двум коровам хребты разрубили. Скотники — алкаши из ЛТП, им лень поднимать коров, вот и рубят без разбору, а чистилка, что топор.

— Оформляй дело к райпрокурору. Коров забили?

— А как же.

— С этим разобрались, а где там прогульщики, чабаны? Ну-ка давайте их сюда!

В диспетчерскую, озираясь по сторонам, вошли два тшедушных мужика с облупленными от жары носами и огнисто-красными лицами. Потапов восхитился: какая богатая палитра.

— Ну что, субчики, — грозно произнёс Грехов. — Пять овец сгубили! Пили?

— Было немного.

— Два дня немного?

— Эдоть, ещё надо доказать, отчего овцы пали.

— Смотри, какие знатоки уголовного права! Будете платить сами или я отдаю дело в прокуратуру?

Мужики переглянулись.

— Эдоть, смотря сколько. Если много, то не будем, доказать надо. Если врач скажет, то будем.

— Я вам лучше ветврача скажу. Пали пять овец. Расчёт известен: в полуторном размере двести рублей за голову.

— Не! Нет! Не согласны! — запротестовали чабаны. — Доказать надо!

— Тогда ждите повестки от прокурора!

Услышав своё имя по рации, Грехов прибавил громкость.

— Твои соседи горох кончают. У тебя сколько гороха не убрано?

— Двести гектаров.

— А комбайнов сколько на уборке?

— Сейчас спрошу у главного инженера.

Пупин опять встал, запереминался с ноги на ногу и, вздохнув, начал считать на пальцах.

— На эспарцете городской комплекс — четыре, на горохе — шесть и кое-где — по мелочи... всего двадцать два.

И схватив микрофон, почти плача, крикнул:

— Сколько раз просили — аккумуляторы, аккумуляторы! Нет аккумуляторов!

Из рации громко раздалось:

— От сварки прикуривай!

— Два раза прикурили и сварку сожгли!

Рация умолкла. Грехов тут же решил вопрос о приёме на работу семьи из трёх человек.

— Так, заявления на работу, на аванс, на жильё. Всем обеспечим. Извините, но медалей сразу дать не могу. А дальше посмотрим.

К Грехову пробился пожилой мужик. Он был явно на взводе.

— Автобус надо! Свадьбу гулять будем!

— Не можем сейчас дать автобус, возим людей в поле.

Мужик взбеленился, начал крыть всех матом. Грехов повысил голос:

— Вы почему материтесь при детях? Мы же вам дети, а вы ругаетесь?

— Да, вы дети! Мы победили немцев, а вы победили нас! За это вам и ордена дают и оклады!

К мужику подошёл молодой парень, видимо сын, обнял за плечи и вывел. Грехов вытер со лба пот и сказал:

— Как уборка, так свадьба. А этот вообще к нам не имеет отношения. Работает в дорожном участке. И тоже: давай, давай!

Обсуждение острых вопросов закончилось. Дальше пошли разговоры о кормах, привесах, удоях, Потапов заскучал и вышел на улицу. На лавке сидели чабаны и бурно спорили. Борис прислушался: напарники по работе и пьянке обвиняли друг друга в падеже овец. Он подошёл поближе, мужики замолчали, выплонули сигаретные окурки и ушли, наверное, похмеляться.

Потапов не знал сельской жизни во всей её наготе. Конечно, он не воспринимал её только как пленер, как декорацию, кое-что ему было известно о бесконечно трудном бытии крестьянина, но это воспринималось как-то отстранённо и не трогало за живое. Борис родился и вырос в заводском рабочем посёлке на Урале, и эту жизнь он знал. Знания о селе у него были книжными, он читал Белова, Распутина, Шукшина и верил тому, что они писали. Но было ли это правдой жизни?.. И чего было больше в их писаниях: подлинно деревенского или привнесённого ими от собственной городской культуры?.. Как художник Потапов знал, что подлинной правды жизни в искусстве быть не может, эта правда лишила бы искусство свойственной только ей функции прекрасного и оставила голый протокольный факт, но в писаниях деревенщиков было явно видно желание вознести сельскую жизнь на божницу, как икону, не замечая, что в ней много тёмного и даже беспросветного. Теми же недостатками грешила и современная живопись, которая несла ту же неправду. Впрочем, размышлял Потапов, а нужна ли человеку правда?.. Он так устроен, что правда его страшит, он будет платить деньги и

хохотать до слёз над шутками эстрадного хохмача, чтобы не видеть и не слышать правды, обнажённой действительности. Вчера человек верил в Бога и царя, сегодня — в Земляка и коммунизм, завтра уверует в самого дьявола, и всё потому, что правда о самом себе и своей жизни страшнее всего на свете, и редко какой человек сможет её вынести.

— О чём, Борис Геннадьевич, задумался?

— Да так, о разном. Вы уже освободились?

— Какое там! — ответил Грехов. — Сейчас нужно объехать хозяйство, посмотреть всё своими глазами. Это директору завода подадут сводку с конвейера, и всё ясно. А мы так не можем.

— Возьми меня с собой, — сказал Потапов.

— А что, поедем.

Личного шофёра у Грехова не было, и он сам вёл «уазик». За околицей начинались поля озимой пшеницы, пересечённые холмами и оврагами. Снежно-белые облака в пронзительной голубизне неба были неподвижны. В открытые окна машины дул тугой и горячий ветер.

— Теперь началось, — сказал Грехов. — Сплю, самое большее четыре, – пять часов в сутки. Шофёра отпустил на комбайн, заработать парню надо, вот и кручу баранку. На днях вызвали в область на совещание, уборка их не отменяет. Умные вещи, возможно, говорили, только я мало что слышал, задремал, на соседа повалился. Очнулся, а вокруг — кое-кто слушает, а большинство спят с открытыми глазами. Ну почему бы не собрать нас в области, поместить в какой-нибудь профилакторий и дать выспаться хотя бы раз в две недели. Нет, руководство знает одно: давай!

— Наверно, не только в райцентр и город вызывают, но и с проверкой приезжают?

— Руководитель хозяйства должен уметь уходить от преследования, иначе не дадут работать. Свои районные ещё ладно, а вот из области нагрянут, то чисто беда! Прошлый год приехал редактор областной партийной газеты и чуть было до инфаркта не довёл. Величина — кандидат в члены бюро обкома

партии! Чуть что, орёт, ногами топает, такую панику навёл, что все попрятались. На мне и отыгрывался.

— Так он уже умер, я некролог в газете читал.

— Ага, успокоился. Говорят, поехал в Ундоры, в наш санаторий. Там ему к обеду плохо вымытую ложку подали. Он — орать, ногами топать. Его и хватил кондратий.

Дорога пошла под уклон. Председатель вдруг резко вывернул руль влево и затормозил так резко, что Потапова бросило в ветровое стекло.

— Сурки! Смотри, вон пошли по склону!

Потапов распахнул дверцу и выскочил из машины. И, действительно, по траве катились два сплюснутых с боков пепельно-серебристых шара, один большой, другой поменьше. Первый торил тропу в спутанной траве, другой из всех сил спешил следом. Откатившись от машины метров на сто, тот, кто был впереди, поднялся столбиком, огляделся по сторонам, издал свистящий звук и вновь покатился, увлекая за собой другого. Всё это произошло очень быстро, в каких-то несколько секунд, и Потапов долго сожалеюще смотрел им вслед.

— Я тут случайно задавил одного на днях, — сказал Грехов. — Даже не заметил.

— А что, тут их так много?

— Водятся. Есть горы сплошь ими изрытые. Сейчас они под охраной, а то в одно время почти всех под корень извели.

В поле, куда они приехали, работали четыре комбайна, окутанные клубами пыли, с одного из них ссыпали зерно в грузовик. Возле просёлка стоял длинный сколоченный из досок стол, по бокам две скамьи. Тут же тарахтел сварочный агрегат, из-под сварки сыпались снопы искр.

— Какие-то гости, чёрт бы их побрал! — пробурчал Грехов, указывая на стоявший возле стола «уазик». — Хотя я их, вроде, знаю, да, комсомолята из газеты.

— Я их тоже знаю, — сказал Потапов. — Это Евдокимов, вроде, поэт и фотокор Сева.

— Где вы родились? Сколько классов закончили? Механизатором с какого года работаете? А на комбайне? Сколько думаете намолотить зерна? — допрашивал комбайнёра

поэт Евдокимов.

Сева бесом вертелся вокруг них и щёлкал затвором фотоаппарата. Он был знатоком своего дела и довольно известным в стране мастером фотографии.

— А какие вы приняли на этот год социалистические обязательства? — пытал крестьянина Евдокимов.

Мужик морщился, кряхтел и нечленораздельно взмывал.

— Ну, хорошо, — сказал Евдокимов, вытирая вспотевшее лицо. — Не для газеты, а честно скажи, как работается?

— А ну её на хер эту уборку! — выдохнул мужик. — Зазря пыль глотаем. За день три бункера намолотишь и всё. Зря комбайны гоняем, машины гробим, горячее жгём. Запахать всё надо к едрене фене!

Грехов слышал, что сказал механизатор, но вида не подал, в душе он соглашался, что уборочная этого года — мартышкин труд, но убирать было нужно, даже не потому, что приказывают сверху, а просто душа требовала убрать хлеб, пусть даже его мало.

— Слушай, Борис, есть идея, — сказал Евдокимов. — Может, сделаешь для газеты зарисовки, портреты? Глянь, какая здесь атмосфера, а типажи? Нарисуй хотя бы его. — И указал на механизатора.

— Я уже сфотографировал, — заявил фотокор.

— Ну, и что! Фотография и рисунок — разные вещи.

— Нет, не буду, — сказал Потапов. — Впрочем, я намереваюсь порисовать. Может быть, что-нибудь и для газеты сделаю.

— Когда агитбригада подъедет? — спросил Сева.

— Скоро. Тебе на природу не терпится, — улыбнулся Евдокимов. — Вон и Генерал о том же мечтает. Генерал — наш шофёр, а так — Сергей Васильевич.

Генерал был лет пятидесяти, он лежал в тени возле машины на траве, рядом с ним стояли сапоги, на них возлежала суконная фуражка, а рядом сушились портянки.

— Может, поедем, — предложил Сева. — Не будем артистов ждать. Я здесь один родничок знаю. Берёзки, водичка. Пора отдыхать.

— Знаю я твой отдых, в кофре две бутылки бормотухи гремят, покоя не дают. Ты отчищал фотки, а что мне делать? Об урожае писать нечего, агитбригадой закроемся. Ты снимок дашь, всё пять рублей.

Сева махнул рукой, ушёл за машину и налил себе стакан красного вина. Вино он пил, чтобы глаза были в «фокусе», под хмельком Сева становился страшно деятельным, его враз осеняли идеи, он уже не лениво прицеливался объективом, а буквально летал, мог залезть и в колодец, и на опору высоковольтки, лишь бы получить сногшибательный кадр. В погоне за фотошедевром Сева не боялся рисковать, хотя неоднократно калечился, и не знал удержу, как и в охоте на «бабарочек», так он называл пышнотелых разведёнок лет тридцати-сорока. И, надо сказать, они ему доверяли и проникались фотоискусством Севы до такой степени, что позволяли снимать себя обнажёнными, и такой портрет, выставленный им на своей персональной выставке, произвёл вполне объяснимый для начала 1970-х годов ажиотаж, его даже хотели не допустить к показу, но Бабай (первый секретарь обкома партии) посмотрел и сделал разрешающую отмашку. Наша провинциальная публика из-за этой обнажёнки валом валила на выставку. Перцу добавило ещё и то, что через неделю портрет украли, милиционеры и кагэбешники перевернули город вверх дном и нашли обнажёнку у одного сексуально неустойчивого инженера. Всё это сделало выставку Севы большим культурным событием в жизни города, а его — знаковой фигурой нашего бомонда. Но этот статус никак не отразился на поведении и образе жизни мастера. Он не уехал в Москву, хотя имел серьёзные предложения от журнала «Советское фото» и других столичных изданий, а продолжал работать в «Комсомольце», он не перешёл на водку и пил красное вино, вот только «бабарочек» вокруг него хороводилось больше прежнего. Стоило ему зайти в магазин, ресторан, кинотеатр, даже в святая святых — обком партии, к нему сразу бросались особы бальзаковского возраста с приветствиями и улыбками.

Ревнивые мужья его страшились и спешили увести своих

верных жён, только Сева нацеливался на них своим объективом. Он был обаятелен и мило нагл, что обезоруживало ревнивцев, им оставалось только строить в своём воспалённом мозгу кошмарные сцены супружеской неверности, но доказательств они не имели. Сева был молчалив, от него редко можно было услышать две-три фразы, даже на телепередаче он ухитрялся отделяться от ведущего невразумительными междометиями, а целый час эфира был посвящён его триумфу на персональной выставке. Испортил Севу, сам того не предполагая, Евдокимов. Сева неосторожно рассказал ему, что прочитанной им в детстве книгой был учебник по философии. И вот поэт как-то затащил Севу в книжный магазин и подвёл к полке, где сиротливо стояли два тома «Древнекитайской философии», абсолютно не пользующиеся спросом у покупателей, поголовно занятых изучением творчества своего великого Земляка. Не прошло и двух месяцев, как Сева заговорил, стал сыпать цитатами из Лао-Цзы, Конфуция и Сунь-Цзы, но никто в городе, кроме Евдокимова, не знал, где фотокор набрался столь умопомрачительной мудрости. Одни поражались Севиному глубокомыслию, другие посмеивались, и только Евдокимов видел, что фотоработы мастера стали психологические, от ребяческого оптимизма он далеко продвинулся в осмыслении природы, в портретах зазвучали трагические нотки. Но публика этого не замечала, для неё Сева, как был, так и остался навсегда рубахой-парнем, готовым задаром сделать любую фотографию.

Комбайны и автобус с агитбригадой подъехали к полемому стану почти разом. Артисты были свои, райцентровские, работники дома культуры и старшеклассницы из народного хора, в русских национальных костюмах. Они схороводились вокруг гармониста и запели популярную песню «Хлеб — всему голова», насквозь фальшивую поделку под народность. Морщась, как от зубной боли, Потапов смотрел на симпатичных розовощёких девчат, исполнявших песенную несуряницу, которая коробила его до глубины души. Затем прозвучали ещё две песни, паренёк рассказал стихотворение о хлеборобе. И теперь кисло поморщился Евдокимов, и только Сева поймал кураж: он беспрестанно щёлкал затвором фотоаппарата,

наконец, отвёл руководительницу агитбригады в сторону и обнимал её со всех сторон. Потом они о чём-то пошептались и разошлись, довольные друг другом.

Подвезли на газоне обед во флягах. Грехов пригласил приезжих за стол. Сева подмигнул Евдокимову и подбежал к разносчице.

«Чик, чик» — щёлкнула фотокамера. Пошептался с бабой и поспешил к редакционной машине. Вернулся он с двумя армейскими котелками, которые загрузили под завязку гречневой кашей с мясом.

— Сева имеет большую практику на кухне, — сказал Евдокимов. — Недаром был сверхсрочником в танковом училище. Давай, Борис, с нами к родничку.

Потапов колебался недолго, подошёл к Грехову и распрощался. Директор, обрадовался, что избавился от пассажира: ему нужно было заехать в места, которые афишировать перед посторонними не хотелось. Но вслух сказал:

— Встретились творческие люди, понимаю.

Генерал уже завладел котелками, открыл один, хотел зачерпнуть кашу пальцами, но Евдокимов пресёк антисанитарные действия водителя, вовремя ударив его по руке. Сева забрал котелки, сел в машину и поставил их рядом с собой.

Генерал обоими руками поплотнее надвинул на голову суконную фуражку, пнул сапогом переднее колесо и взялся за руль. Потапов и не предполагал, сколь говорливым окажется этот уже пожилой человек. Сначала он поддевал Севу насчёт разносчицы полевого стана, всё спрашивал, договорился тот с ней или не договорился, затем последовал длинейший монолог о трудностях шофёрской жизни, о редакторе, который гоняет машину на охоту, а после её приходится мыть и ремонтировать, далее всплыл какой-то бесстыжий телевизионщик Кутермин, который на прошлой неделе безобразничал: подбрасывал пустую бутылку и сшибал её другой на лету. Успев познакомиться с Потаповым, он обращался только к нему, называя его по имени и отчеству.

— Как вы считаете, Борис Геннадьевич, разве можно бить бутылки? Их можно сдать и получить деньги.

— Правильно, Сергей Васильевич, — соглашался Потапов.
— Недостойный поступок.

— Вот и я говорю, недостойный. Сева так не делает. Сева мой друг. Как, договорился с бабарочкой?

— Договорился, договорился...

— Слушай, Сева, — спросил Евдокимов. — Мы едем уже полчаса, а твоего родника не видно.

— Сейчас приедем. Поворачивай! Вон к тому дереву!

На краю поля, где недавно убрали горох, стояла старая берёза.

— А где родник?

— Не знаю, — Сева развёл руками.

— Болтун ты, Сева! Тут отродясь воды не было.

Берёза давала широкую и прохладную тень. С поля доносился запах высохших стеблей гороха. Сева достал из машины бутылки с вином, стаканы, а Генерал присвоил котелок с кашей и начал работать ложкой.

— Вот они — повадки победившего класса, — сказал Евдокимов. — Интеллигенцию, особенно творческую, кормить отдельно во вторую очередь.

Генерал не слышал язвительных слов поэта, его ложка уже скрежетала о днище котелка.

— Слушай, Петя, — спросил Потапов. — Как ты думаешь писать статью, ведь писать-то нечего, хлеба нет, а об этом нельзя?

— Напишу одной левой ногой, — весело ответил Евдокимов.
— Шедевры газете не нужны, они ей даже противопоказаны. У всех, и у меня тоже, интересные отношения с работодателем: я делаю вид, что работаю, а редактор, или обком комсомола делают вид, что мне платят, и все довольны. Впрочем, так везде. Только Сева трудится на полную катушку, из тысячи кадров он отберёт один достойный. А у вас, что — не так?

— Не знаю. У нас заказы, ими и живём. Но ниже профессионального уровня опуститься нельзя. У нас — худсовет, лабуду не пропустят.

— Так ли уж! — воскликнул Евдокимов. — Ты хочешь сказать, что у вас все сплошь таланты, мастера резца и кисти?

Видел я как-то в музее картину Турбинина «Весна идёт», кажется. Да это шедевр бездарности. А Земляк наш великий таким молодым розовым поросёнком смотрится. И жандарм спиной к нему. Извини, но я живописи там не увидел, это плохая литература, даже газета в раскраске!

Слова Евдокимова неприятно задела художника. Он и сам только что убежал от такой же мазни. Слава Богу, никто не видел её, а то позору было бы, не отмоешься.

— Знаешь, судить легко. Живопись зависит от заказчика, это ты можешь писать, что захочешь. Да и то, возьмут в издательство только то, что соответствует. Кстати, у тебя же книга выходит в Москве, как она?

— Была вёрстка, выйдет скоро. Но у меня о Земляке там ни слова. В Москве он не в чести среди писателей. Вот анекдоты про него есть. Я, правда, не люблю зубоскальство. Это занятие для подонков.

— Мне тут в руки книжка попала, Вилена Ефимова и Кима Листобоева о нём, о Земляке. Сто тысяч экземпляров такой ерунды, но деньги не пахнут.

Их разговор прервал Сева. Он закричал, показывая рукой в небо:

— Мужики, это же орёл!

Все вскочили на ноги, даже Генерал, и задрали головы вверх. Высоко над ними реял на восходящих потоках воздуха королевский или солнечный орёл, высматривая острым взглядом добычу. Поток воздуха ослабел, и он на вираже свалился вниз и прочертил круг над головами зрителей. Сева бросился к своему кофру, выхватил фотоаппарат, но птица уже взмыла на недостижимую высоту, вскоре она превратилась в тёмную точку и растаяла в небе.

— Надо же, какая невезуха, — вздохнул Сева. — Всегда телевик с собой таскаю, а в этот раз не взял. Когда ещё будет такой случай!

Вино было выпито, каша съедена, Генерал, подобрав пустые бутылки с земли, замотал их в тряпку, чтобы не разбились, и уложил в багажник. До центральной усадьбы ехали молча, разморённые жарой и выпитым вином. Генерал тоже молчал,

знай крутил баранку, лишь при въезде в село, увидев рабочих, которые копали траншею для водопровода, закричал:

— Смотри, хозяева работают, а слуги едут!

— Ты о чём, Сергей Васильевич? — вскинулся Евдокимов.

— Народ копает траншею, а слуги народа, то есть мы, едем. Вот здорово! А?

— Это депутаты — слуги народа, а мы уже слуги слуг народа, и я, и художник, и Сева.

Генерал задумался.

— А кто же я? Хорошо, вы слуги слуг народа, а я, выходит, ваш слуга, то есть вожу вас. А кто у меня слуга?

— Жена, наверно.

Генерал задумался.

— Это точно. Баба у нас всегда и во всём крайняя.

Потапова неудержимо клонило в сон. Возле дома Матрёны Семёновны он вышел из машины, оставив спорить Евдокимова и Севу, заехать ли в магазин за вином или сразу ехать в город. Он отказался от обеда, предложенного ему Матрёной Семёновной, и завалился спать. Ольга, придя домой, не стала его будить, и он проспал до вечера. Открыл глаза и сразу не понял, где он находится. Затем улыбнулся и вспомнил, что обещал Ольге отвести её на озеро.

- 3 -

Пять лет назад Потапов, полный творческих сил и надежд, приехал на родину Земляка по приглашению нашего председателя областного отделения Союза художников живописца Турбинина. Неизвестно, что привлекло Егора Васильевича в работе молодого художника, которого он увидел на выставке выпускников Суриковского института, но он не поленился найти Потапова в общежитии и предложил ему прекрасные условия — творческую мастерскую и квартиру, сразу же по приезду в город. Шансы зацепиться в Москве у Потапова были ничтожными, ни постоянной прописки, ни знакомств, и он, выговорив, что Турбинин даст ему гарантийное

письмо, согласился. Егору Васильевичу это требование странным не показалось, и через какой-то месяц Потапов, получив официальную бумагу, простился с Москвой.

Сборы были недолгими и, оставив Ольгу в общежитии дожидаться известий, Потапов вечером сел в поезд и уже утром был на берегу Волги. С вокзала он заехал в художественный фонд и там ему сказали, что Турбинина можно найти в пединституте, где он вместе с московскими художниками расписывает фойе. На город Потапов взглянул мельком из окна трамвая, который доставил его от вокзала к центру, он ему показался весьма захудалой провинцией, но вид на Волгу с кручи Венца сразу захватил и покориł Потапова неоглядным простором.

Художники работали на лесах. На громадной стене уже проступали фигуры Земляка, его родных и соратников, скомпонованные группами, согласно этапам жизни главного героя росписи. Это была богатая и почётная работа, что Потапов вычислил сразу, за неё художники получают большие деньги, а сам партийный замысел гарантировал успех. Впоследствии Потапов слышал, что предлагались и другие весьма достойные варианты росписи, но Турбинин заранее обеспечил мнение Бабая, мнившего себя знатоком живописи и архитектуры и даже создавшего ряд эскизов для значков. Бабай нашёл в Турбанине родственную душу и стойкого борца против абстракционизма, доверял ему безгранично, поэтому и высказал своему главному придворному художнику свою идею, какой должна быть роспись. Соперники у Турбинина с сотоварищами были серьёзные: один народный художник и академик, другой — близкий родственник силового министра, но победил Бабай. Он явился на заседание коллегии министерства культуры и, не взглянув на другие эскизы, сразу выбрал работу Турбинина, в которой его можно было считать соавтором.

Конечно, Потапов не знал подноготную подковёрной борьбы за эту роспись, он ещё много чего не знал, всё это у него было впереди, но не стоит думать, что он был младенчески наивен. Борис уже немало поработал на заказах и усвоил, что художник живёт не только в мире прекрасного и возвышенного, но

зачастую бывает вынужден принимать участие в дразгах и возне вокруг выгодных работ, он должен иметь влиятельных покровителей, уметь быть, когда это нужно, пройдохой и подлизой. На всё это Потапов смотрел с пониманием, хотя сам по складу характера вряд ли был способен прогнуться до конца, но до определённого предела это делал, и не видел в этом ничего зазорного.

Турбинин раскрашивал штаны юного Земляка, другой художник писал голову, а третий рисовал детали заднего плана. Одним взглядом Потапов охватил работу: чёткий рисунок и блёклые невыразительные тона, ни одного яркого пятна, будто художники сознательно старили роспись.

Егор Васильевич спустился с лесов, окинул Потапова оценивающим взглядом и улыбнулся.

— Очень хорошо, что вы приехали вовремя. Мастерскую получите хоть сегодня, возьмите в производственном отделе ключ и адрес. Там вам объяснят, что к чему. Вопрос с квартирой решится в этом месяце. Завтра получите подъёмные. Может, вам нужны деньги сейчас? Не стесняйтесь.

Потапов от денег отказался, посмотрел ещё раз на роспись и со всей искренностью произнёс:

— Какой прекрасный рисунок!

Турбинин остро взглянул на него и улыбнулся. Ему показалось, что в Потапове он не ошибся: парень не балованный успехом, голодный, будет своим. У Егора Васильевича после празднования юбилея Земляка возникли проблемы. В Союз художников всё настойчивей стали рваться самоучки из местных. Они, поучаствовав в юбилейной выставке, возгордились, стали предъявлять свои права, подключили влиятельных родственников и знакомых, и небезуспешно начали давить на председателя союза. Даже местный идеологический вождь, секретарь обкома партии Блисталов, уже несколько раз говорил Турбинину, что тот не думает о молодёжи, а надо бы к ним присмотреться. На это Егор Васильевич отвечал, что нет у него уверенности в молодых, от этой публики можно ожидать опасных выпадов, а он не хочет, чтобы на родине Земляка произошла идеологическая диверсия вроде «бульдозерной»

выставки в Москве, доставившей много неприятных минут высшему руководству страны. Ужели наши на такое способны, поражался Блисталов и сникал перед бронебойными аргументами Турбинина. Однако на мнение начальства надо было реагировать, поэтому Егор Васильевич и пригласил в этом году выпускника художественного вуза из столицы.

С мастерской вышла не то чтобы неприятность, но непростая заковырка. Художник, который её занимал, умер около года назад, но вдова до сих пор не освободила помещение от творческого наследия покойного мужа.

— Поговорите с вдовой, — сказал директор худфонда, протягивая ключ. — Я уже её предупреждал, что если она не освободит мастерскую, то весь это хлам я вывезу, хоть сегодня.

Острая оценка картин художника, почему-то не задела Потапова, ему была нужна мастерская, и он хотел получить её немедленно.

— Может быть, вы дадите рабочих и машину? Хотя ладно, назовите адрес, я туда сам съезжу.

— Пожалуйста, а можно вывезти всё и сейчас. Поставьте ребятам литр водки, и они живо всё барахло перевезут в сарай.

Последняя угроза директора уже неприятно царапнула Потапова, но он опять не придавал этому значения. Он взял телефон вдовы, созвонился с ней и договорился о встрече на сегодняшний вечер.

Мастерская находилась на последнем этаже жилого дома. Потапов поднялся по лестнице, отпер дверь и оставил её открытой. В помещении пахло затхлостью и плесенью. Это была типовая трёхкомнатная квартира, где были убраны все внутренние перегородки и сохранены только ванная и туалет. На полу лежал толстый слой пыли, окна были мутны и заросли паутиной. Вдоль стены стоял большой стеллаж с картинами, стол, а у другой стены — диван, с которого никто не потрудился убрать простыню и ватное одеяло.

Неопрятный вид мастерской не огорчил Потапова. «Сделаю ремонт, — подумал он, — куплю мебель, а этот хлам — прочь, вон, в сарай!»

Он подошёл к мольберту, на котором стояла картина, сдёрнул с неё грязную тряпку и задумался. Покойный художник был явно не слаб, знал толк и в линии, и в цвете, писал сдержанно и точно. Заставило задуматься Потапова и содержание полотна. На нём были изображены повозка с лошадью, тряпичник, покупающий использованные газеты у мальчишек, на одной было видно название «Правда». Босоногий малец надувал, раздув щёки, воздушный шар, у другого он лопнул, и пацан недоумённо смотрел на клочья резины. Смысл картины был ясен, хотя художник изо всех сил пытался притушить идею, тщательно прописал состояние вечера и первую вечернюю звезду, на которую смотрел тряпичник, но особенно интересно была сделана лошадь, в её морде явно проступали черты почти человеческой усталости и покорности судьбе.

На лестничной площадке раздался голос, Потапов накинул на картину тряпку и отступил в сторону. В мастерскую вошли женщина с крашеными волосами и длинный нескладный мужик с испитым лицом.

— Сейчас посмотрим, что тебе оставил муженёк! — визгливо заговорил он и быстрыми шагами направился к стеллажу с картинами. — Так, поляна с цветами, ерунда! — и он отшвырнул холст. — А это что? Доярка, так, а это?..

Одна за другой картины летели на пол. Женщина подошла к кухонному столу и стала складывать в сумку вилки, ложки, стаканы, тарелки. Набив сумку посудой, она взяла с плиты закопчённый чайник и привязала его сбоку авоськи.

— Алёшенька, — ласково сказал она. — Что-нибудь выбрал?

— Лабуда какая-то! Он что, рисовать у тебя не умел? Ни одной картины с морем. А я моряк, сама знаешь! А что у него из инструментов осталось?

Мужик залез в кладовку и вытащил оттуда молоток, клещи и топор.

— На даче пригодится! А ты, что — новый художник?

Потапов не ответил и вышел на лестничную площадку. На душе было пакостно и неуютно. В том, что разыгрывалось на его глазах, ему открылось многое. Мелькнула мысль, что слава,

деньги, даже само творчество — ничто перед неизбежным забвением.

— Слышь, художник! Купи диван, стулья, стол! — закричал мужик. — Дорого не возьму!

Потапов не ответил. Из мастерской вышла вдова и её новый муж.

— Ну, вот и всё, возьмите ключ.

— Картины куда повезёте?

— В Третьяковку! — захохотал мужик. Он тащил на вытянутых руках небольшой столик на гнутых ножках. — Купи диван, не жмотничай!

Потапов двумя пальцами ткнул его в бок. Мужик ойкнул и, закрываясь столиком, шмыгнул на лестницу. «Неужели то же самое ждёт и меня?» — подумал Потапов и не поверил в это. Он твёрдо знал, что его ждёт успех, нужно только поменьше копать в себе самом и не хныкать. Завтра он очистит мастерскую, скоро приедет Ольга и жизнь наладится.

Можно было заночевать в мастерской, но Потапов поехал в центр города. В первой же гостинице он получил номер, бросил на пол сумку и спустился вниз в ресторан. Он уже было зашёл в него, но вдруг там заиграла такая оглушительная музыка, что Потапов отшатнулся от дверей и поднялся на второй этаж в буфет. Он купил отварной рыбы, стакан портвейна и сел за свободный столик, рядом с окном, выходившим на центральную улицу. К нему, спросив разрешение, подсели два парня, у одного в руках был поднос с шестью стаканами вина, другой имел на плече сумку-кофр, неизбежную спутницу профессионального фотографа. Так Потапов познакомился с Евдокимовым и Севой, которые были завсегдатаями буфета, как впрочем, и все областные газетчики. У Евдокимова произошло событие: он получил книжку и гонорар из издательства в Саратове.

— Что ж, — сказал Потапов. — Книжка для поэта, это всё равно, что для нас, художников, персональная выставка. Тебе сейчас сколько лет?

— Тридцать, — ответил поэт.

— А мне персональную выставку разрешат только в пятьдесят лет. Конечно, бывают исключения, но они очень редки.

— Для писателя важна не первая книжка, а вторая. Иногда, даже часто, бывает, что напишет поэт одну книжку и выдохнется, нечего ему больше сказать: ни чувств, ни дыхания, ни слов, — задумчиво сказал Евдокимов. — У меня вторая книжка в московском издательстве. А у тебя как? Мастерскую дают?

— Мастерскую уже дали, — ответил Потапов и поморщился, вспомнив умершего художника. — Игнатьева.

— Знаем мы этого бедолагу, — сказал Сева. — Несчастный человек.

— Я ничего о нём не знаю, — заинтересовался Потапов. — Мне выдали ключ, я позвал вдову, она отказалась от картин, завтра приедут рабочие и освободят мастерскую.

— Насколько я знаю, у Игнатьева были контры с Турбининым, поскольку он в живописи был реалистом, а сейчас нужны художники-фантасты, — сказал Евдокимов.

— Что ты имеешь в виду?

— Счастливая жизнь людей, трудовой героизм и подобная лабуда, разве это не фантастика? Наши местные художники благоговеют перед Земляком, а Игнатьев относился к нему с прохладцей. — Евдокимов поднял стакан. — Помянем...

— Тебя гнетёт, — продолжил поэт, — что тебе досталась такая нехорошая квартира, но может быть, её не случайно Турбинин тебе подсунул. Егор Васильевич сложный мужик и очень проницательный. Ему бы следователем быть. В этом ты убедишься. Пойми, всё здесь вертится вокруг Земляка.

— Давайте, лучше, о бабах! — вмешался Сева. — Хватит соплями брызгать!

Поздно вечером Потапов позвонил в Москву. Ольга обрадовалась, что ему дали мастерскую и обещала выехать завтрашним поездом. Правда, ей показалось, что у мужа грустное настроение, но Потапов ничего объяснять не стал.

Сделав ей предложение, он дал себе слово, что будет оберегать Ольгу от всех житейских невзгод, не станет нагружать её неприятностями, которые касаются только его одного. А пока и неприятностей не было, мастерскую он получил, скоро будет квартира, есть творческие задумки, желание жить и работать, всё, что нужно человеку, который из отпущенных ему дней прожил всего-то половину.

Засыпая, Потапов вспомнил слова Евдокимова. «А что Земляк? — подумал он. — Земляк — это неизбежная неприятность, вроде родимого пятна или бородавки. Живут же с ними и не замечают, привыкли. А что делать? Куда не пойдёшь, он везде — Земляк, даже на острове Врангеля. Земляк, флаг над сельсоветом, участковый».

Гостиница находилась на центральной улице города, и утром, выйдя из неё, Потапов смешался с толпой спешащего на службу чиновного люда. Все были чем-то нагружены, мужчины несли большие пузатые портфели, женщины — сумки, в одеждах преобладали тёмные и неяркие цвета. Все молчаливо стучали и шаркали подошвами по асфальту, все целеустремлённо двигались к своим конторам, присиженным до скрипа стульям, заваленным бумагами столам, остывшим за ночь телефонам, все спешили истребить время своей жизни во имя колготни, спешки, болтовни, прерываемых время от времени обильным возлиянием кофе или чая.

В производственном отделе дома художника тоже вскипел чайник для утреннего чаепития. Директор встретил Потапова с чашкой заморского напитка в руке и отдал распоряжение мастеру нарядить машину и двух рабочих для перевозки картин из мастерской.

— Значит, вдовушка, утешилась! — сказал директор. — Что ж, дело понятное, житейское.

— Мне нужны материалы для работы: холст, краски, кисти... — сказал Потапов. — Вы можете это мне выписать?

— Всё имеется. Мы обеспечены очень хорошо. Кстати, есть краска, как и побелочный материал для ремонта. Маляра у нас нет, ремонт организуете своими силами.

Рабочие с картинами не церемонились, брали их охапками, тащили вниз и сваливали в кузов машины. Выволокли диван, стулья, стол и отнесли к помойке. В мастерской остались только мольберт и незаконченная картина. Их, после долгих колебаний, Потапов решил оставить, как и бумажный пакет с фотографиями, который следовало отдать вдове.

— С новосельем! Можно войти?.. Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я живу в соседях, — с этими словами в мастерскую вошёл ещё нестарый мужичок. — Смотрю из окна, новый жилец появился, думаю зайти надо. Я с прежним художником в приятелях был.

— С Игнатьевым? Я его не знал, а что?

— Да ничего. Я Павлу Александровичу помогал, то есть делал, что попросит. Бывал у него. Он вино не пил, всё кофе жучил, а мне стопку наливал, да. Подолгу у него сиживал. Последние года два он всё эту картину писал. Пишет, пишет, потом ножиком соскабливает. Я, конечно, молчу, а что говорить, художник знает.

— Послушай, Сергей! — сказал Потапов — Раз ты такой любитель живописи, то подскажи, как мне тут всё прибрать, побелить, покрасить?

— А что тут сложного? Маляры рядом. За живые деньги они мигом прибегут.

— Тогда действуй! — Потапов достал портмоне и протянул Сергею пять рублей. — Пусть начинают. Я подойду к вечеру и рассчитаюсь.

В появлении довольного помощника не было ничего удивительного. У каждого художника всегда находился покладистый человек, готовый оказать ему мелкие услуги: сходить в магазин, сдать посуду, подмести пол, почистить и сварить картошку. Эти люди бескорыстно влюблены в изобразительное искусство, их не обижало, что художник иногда бывал груб, они довольствовались тем, что могут присутствовать при создании картины. Все они, как правило, были людьми нешумными и малопьющими.

На первом этаже дома художника размещался большой, освещённый витринными окнами, выставочный зал. Потапов, заметив, что двери в него открыты, вошёл туда и попал на подготовку к открытию новой выставки. Несколько залов уже были готовы к показу, и Потапов сразу узнал работы известного живописца Стожарова, влюблённого в неброскую красоту русского Севера. Он прошёлся по одному залу, другому, третьему: плотная, даже чересчур, живопись, дома, закоулки, заборы, тусклое солнце, густой морозный воздух, вязкий туман. Раньше Потапов видел работы этого художника на выставках в Москве, не более двух-трёх сразу, по соседству с картинами других живописцев, работающих в иной творческой манере, и они сразу нравились своей обычностью и открытием мало кому известного мира. Сейчас же, пройдя по залам, он почувствовал себя в окружении этой живописи неуютно и душно. «Хорошо бы, — подумал Потапов, — разбить эти работы чем-нибудь ярким, воздушным, а то и задохнуться можно. Ясно одно, что выставка сделана негодно, без учёта достоинств и недостатков живописца».

Из глубины зала, за выгородкой, раздалась громкая брань.

— И это всё, чёрт возьми? Что вы привезли? Что вы показываете на родине Земляка? Кое-как нарисованные гнилушки, разбитые лодки, покосившиеся заборы!

Потапов приблизился к группе людей, стоявших перед большой картиной. Грозным вопрошателем был секретарь обкома партии по идеологии Блисталов. А обращался он к представителю союза художников России, искусствоведу Серемягину.

— В Рязани выставка прошла с огромным успехом. Три книги благодарственных записей.

— Я тебе и четыре нарисую! — безапелляционно заявил Блисталов и увидел Потапова. — Ну-ка подойди сюда! Вот мы сейчас его спросим. Ты кто?

— Это наш молодой художник, — сказал Турбинин. — Приглашён после окончания института.

— Новичок, это хорошо. Молодой — ещё лучше, значит, ему ещё не испортили, не запудрили своими склоками мозги! Вот, ты скажи, что ты обо всём этом думаешь?

Потапов встретился в Блисталовым взглядами. Партиец смотрел хитро, даже с издёвкой, словно хотел узнать, как выпутается молодой художник из острой ситуации.

— Стожаров — прекрасный живописец, но, боюсь, зрителю будет скучно. Слишком много Стожарова.

— Вот, вот! — радостно вскричал Блисталов. — О зрителе вы не подумали! Зачем идут люди на выставку? Отдохнуть, набраться прекрасного! А тут сплошь трухлявые брёвнышки. О выставке не писать, не показывать, не водить экскурсий!

Последние слова были адресованы сопровождающим Блисталова чиновникам подчинённых ему ведомств: управлений культуры и народного образования. Секретарь обкома партии взял Потапова, слегка ошавевшего от такой фамильярности, под руку.

— Пойдём, покурим!

На крыльце он достал из кармана пиджака пачку «Беломора» и угостил художника папирсой.

— Ты правильно мыслишь, это важно — правильно мыслить, когда только вступил на творческий путь. Ну, а как жизнь? Рассказывай!

Потапов совсем не знал руководящих партийцев, никогда с ними не сталкивался, поэтому купился на обезоруживающе простецкий вид главного идеолога родины Земляка: добродушное русское лицо, волжский говор и проникновенную внимательность к собеседнику.

— Рассказывай, не стесняйся. Условия для работы есть?

— Мастерскую дали, квартиру обещают...

— Слушай, Егор Васильевич, ты квартиру не обещай, а давай!

— Вопрос практически решён, — ответил, улыбаясь, Турбинин. — Дом сдали, оформляют документы.

— Ну, вот видишь, значит и квартира практически есть. Мы художников не обижаем, даём всё, что нужно для работы, но и спрос с них особый. Ты член партии?

Потапов смутился. В партию он вступать не собирался, и вообще к государственной идеологии относился прохладно. С другой стороны он не мог не видеть, что все художники, члены партии, постоянно вьются и трутся вокруг хлебных мест — худсоветов, выставкомов, возглавляют их, или непременно членствуют.

— Надо тебе готовиться к вступлению в партию, — веско сказал Блисталов. — За год, два товарищи к тебе присмотрятся. А ты, если что понадобится, заходи ко мне, заходи! Все твои трудности решим.

Блисталов со своей свитой уехал, и Потапов подошёл к Турбинину

— Не могу понять, Егор Васильевич, зачем мне заходить к секретарю обкома? Может, он пошутил?

— Разве такие люди шутят? Он же сказал, будут трудности, заходи. Вот и заходи.

— Странно всё это. Я, собственно, хочу поблагодарить вас за мастерскую. Я уже и жене позвонил. Она рада.

— Вот и хорошо. — Турбинин усмехнулся и продолжил. — Везучий вы, Потапов. Сегодня с Блисталовым тесно сошлись, вчера с журналистами. Будьте аккуратны, слова, знаете, не живопись. А, вот и Иван Петрович!

Утиной походкой к ним подходил Лизин, соученик Турбинина по художественной академии, над которым Егор Васильевич постоянно подтрунивал.

— Вот, Иван Петрович, наша смена, Потапов!

— Да, да, слышал, очень приятно.

— Ты, Иван Петрович, возьми шефство над товарищем, познакомь с коллегами, введи в наш круг.

— Это хорошо, это можно.

«Откуда Турбинин знает о встрече в буфете? — подумал Потапов, пожимая вялую ладонь Лизина. — Как будто под столом сидел».

Егор Васильевич ушёл расписывать настенную эпопею о Земляке в пединститут, а Иван Петрович занялся Потаповым. Он всегда безотказно выполнял поручения Турбинина, поскольку был очень податлив по натуре, им было легко командовать.

Конечно, и у него имелись пунктики. Ему, например, всегда хотелось подчеркнуть, что Бабай, как и он, вятский мужик, что было совершенно точно, но почему это землячество должно быть известно всем окружающим, оставалось загадкой. Это, конечно, забавная мелочь, не более, по характеру Лизин был очень отзывчив, необидчив и терпим к чужим недостаткам. Он не спешил вынести приговор, а в первую очередь искал извиняющие обстоятельства, даже человеку, совершившему очевидную подлость. Многие относились к нему с насмешкой, но Иван Петрович не был простачком, постоянно числился в начальниках: то членом правления, то членом худсовета.

— У нас есть художник Парамонов, — сказал Лизин, — так вот он требует, чтобы к нему обращались на вы. А я, наоборот, прошу, чтобы со мной были на ты. Так проще и понятнее. Ты не находишь? Егор Васильевич дал мне насчёт тебя ценное указание. Он начальник, ему виднее. Но у меня есть предложение. Со своей ровней ты и сам познакомишься, а вот есть у нас один могиканин — художник — акварелист, восемьдесят ему стукнуло, вот с ним тебе познакомиться стоит. Вымирающий экземпляр, но в полной памяти.

Старый художник Ларин жил в Кошкином доме, рядом с драмтеатром. В одной его половине размещался горздравотдел, в другой — квартирсыёмщики: артисты, несколько некрупных начальников, писатель Сёмочкин и маститый живописец Турбинин.

Как уверяли старожилы, этот дом несколько раз горел, и легкомысленные артисты по этому поводу распевали: «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом!» Впрочем, существует и другая версия: долгое время областной культурой командовал чиновник по фамилии Кошкин.

Лизин нажал на кнопку дверного звонка, загремел засов и на пороге показался невысокий старичок, который, увидев гостей, радостно воскликнул:

— Ванечка! Здравствуй, дорогой! Проходите, проходите. Обувь не снимайте, не понимаю, что за варварский обычай появился, снимать обувь. В наше время этого не было. Если на улице слякоть, носили калоши, заметь, Ваня, а не галоши!

— Извини, Пётр Григорьевич, я не один. Это наш художник Потапов.

— А звать как?

— Борис.

— Вот и прекрасно! Ты, Ваня, привёл нового человека, а для меня это праздник. Старость имеет неприятное свойство — она быстро надоедает. Впрочем, тебе ещё рано об этом думать.

Комната, в которую вошли гости, была тесно заставлена мебелью. В углу стоял дубовый шифоньер, рядом старинный комод с бронзовыми ручками, впритык к нему большое зеркало на подставке с гнутыми ножками, дальше располагалась софа, посередине комнаты стоял большой круглый стол, а вокруг него шесть стульев. Всё это было явно из прошлого века. На стенах висели акварели и фотографии в деревянных рамках.

— У тебя, Пётр Григорьевич, не квартира, а настоящий музей, — сказал Лизин. — Да, вот всё, что ты просил: краски, кисти.

— Дай я тебя расцелую, Ваня! Осень! Осень! — самая пора на этюды, для меня это праздник! Сколько я должен?

— Ну что ты, Пётр Григорьевич! Это, если хочешь, подарок.

— Спасибо, Ваня, ты меня утешил! Я сейчас.

Ларин убежал на кухню, а Потапов подошёл к висевшим на стене акварелям. Все они были посвящены великой русской реке. Одна из них показалась Потапову очень интересной. «Буксир на Волге. 1930 г.» — прочитал он надпись на рамке, видимо, работа выставлялась. Боже, как это давно, подумалось ему, ещё до войны.

— Вы, Боренька, ведь не местный, — сказал Ларин, ставя на стол бутылку шампанского, фужеры и вазочку с шоколадными конфетами. — А я, так сказать, волжский раритет. Родился в восемьсот девяносто пятом году. А род мой идёт с основания города. Все мои предки, можно сказать, художниками были — по дереву, сиречь краснодеревщиками. Вот этот комод сделал мой дед в начале прошлого века. Наверно, и я пошёл бы по этой части, да моему отцу вздумалось отдать меня в гимназию.

— Это где Земляк учился? — спросил Потапов.

— Он старше меня на четверть века. Когда я учился, о нём никто уже не помнил. Но я о другом, о городе. Ему, я думаю, с самого начала было уготовано прозябание. И знаете почему? Другие города на торговле поднялись, они близко к Волге стоят. А у нас попробуй завезти товар на гору — трудно, а значит дорого. С другой стороны наш город был дворянским гнездом. Гончарова, конечно, читали? А из Обломова какой купец? Здесь и сейчас мало кто поспешает.

— Я о вашем городе только в последнее время узнал, — сказал Потапов. — Столетие Земляка и всё такое. Но меня не это сюда привело, я всегда хотел жить на Волге.

— Где тут Волга? — вспыхнул Ларин. — Громадный и гнилой водоём! Вот в моё время это была действительно река. Ледоход на ней грохотал, как канонада. Мы, ребята, да и взрослые, все на Венце, а какие были острова! Вот Чувич. Сейчас спроси, и никто не знает, что это такое. Это был громаднейший остров с заливными лугами, рыбными угодьями. Всё пошло прахом.

— Пётр Григорьевич, — спросил Лизин, — а много изменилось в первой школе с тех пор, как ты учился?

— Знаешь, Ваня, я не был примерным учеником, поэтому о гимназии сохранил не самые весёлые воспоминания. Горазд был шаржи рисовать. Законоучитель у нас был толстопузый, вот я и нарисовал его с двумя арбузами в руках, а третий под рясой. Конечно, выпороли, как сидорову козу. Сейчас, в старости, с горечью вспоминаю, что моё поколение было сплошь безбожным. А ведь город-то наш богомольный! Вот здесь, — Ларин показал в окно, — Троицкий собор стоял, другого такого по красоте, пожалуй, во всей русской провинции не было! Где новая школа имени Земляка, там был Спасский женский монастырь. А где дом художников, ближе к улице Земляка, ещё один собор был. Всё снесли. Да, Ваня, ты спросил, бываю ли я в своей альма матери, гимназии, но как я туда пойду, когда там управление НКВД было, а в подвале расстреливали?

— А как вообще жилось в эти годы? — спросил Потапов, которого тема репрессий всегда болезненно интересовала.

— Ты, Боря, хочешь спросить, страшно ли мне было? Конечно, страшно. Сегодня одного взяли, завтра другого. Но из художников местных, вроде, никто не пострадал. Директора краеведческого музея расстреляли, порядочный был человек. Но жили, жили, как всегда жили, живут и будут жить русские люди — надеждой на лучшее. Мне ведь легче, чем другим было, чуть загрущу, возьму мольбертик — и на Волгу. А там — у воды — всё проходит, всё смывается. Мы живём, любим, страдаем, надеемся, подличаем и геройствуем, а Волге нет до этого никакого дела. Течёт, как время, и всё уносит. В старости бывшее вспоминается без гнева.

— Пётр Григорьевич помнит, как мост строили через Волгу, — сказал Лизин.

— Как же, хорошо помню, — оживился Ларин. — Мне в ту пору уже чуть больше двадцати лет было. Публика каждый день на Венце толпилась, наблюдая за строительством, особенно, когда оползнем расшибло насыпь, на которой уже лежали рельсы. Начальником строительства был инженер Беневольский, этакий вальяжный господин, богач и театрал. К нам он прибыл со своей пассией, артисткой Серебряковой. Дом для неё снял, репертуар, конечно, под неё составили. Она, надо сказать, пикантно задирала ножки в водевилях. Беневольский на неё тратил бешеные суммы, покупал драгоценности, меха, рысаков, а тут в их отношениях случилась катастрофа, почище оползня: сбежала Серебрякова с поручиком, хваткий был молодец. Я с ним в запасном полку служил, перед тем, как на фронт попасть.

— Интереснейший человек! — сказал Лизин, когда они вышли на улицу. — Последний из интеллигентов старого ещё дореволюционного закваса. Выжил при царе, в революцию, в тридцатые годы, я поражаюсь его жизнелюбию. Мы уже не такие.

— Зря ты, Иван Петрович, у вашего поколения была война и Победа, а это многого стоит.

— Это так, но всё равно мы слабее, а про нынешнее поколение и говорить нечего.

На углу улицы Земляка, возле дома, где родился великий русский писатель Гончаров, они расстались. Подошёл трамвай и Потапов поехал в мастерскую.

Малярами оказались три женщины в синих заляпанных комбинезонах. Потолки и стены были побелены, и вовсю шла покраска оконных рам. Сергей выглядел бригадиром, он хозяйски расхаживал по мастерской и указывал, где следует покрасить по второму разу. Потапов осмотрелся, его студия стала выглядеть веселее, о пребывании в ней несчастного Игнатьева напоминала только картина и пара стоптанных полуботинок, валявшихся в углу, подошвами вверх. Потапов прошёлся по мастерской, понаблюдал за работой женщин и понял, что он здесь лишний, всё сделают без него и так, как надо. Достал кошелек, вынул из него несколько купюр и отдал женщине, которая размешивала краску.

— А вы что ж новоселье справлять не будете? — спросила она, принимая деньги.

— На чём справлять, даже стола нет. Как-нибудь после, — улыбнулся Потапов. — Сергей, я поеду в гостиницу. Возьми ключ, закрой. Вот тебе десятка, надо бы пол вымыть после ремонта, окна протереть.

— А я уже с девушками договорился. А эти деньги на новоселье. Так, девушки?

Женщины рассмеялись, они уже были в возрасте, и после шабашки позволяли себе немного расслабиться.

Вечером Потапов зашёл в гостиничный буфет поужинать. Сева уже был там, сидел в компании с двумя лётчиками гражданской авиации. Увидев художника, он приглашающе махнул рукой:

— Давай к нам!

Потапов с опаской глянул на него: про вчерашнюю выпивку Турбинин мог узнать только от Евдокимова и Севы, но, купив себе бифштекс с макаронами и бутылку кефира, подошёл и сел рядом с фотографом.

— Что так скучно? — спросил Сева и хлопнул Потапова по плечу. — Хряпни портвейна!

— Хорошенького помаленьку. Вот сделаю ремонт, обставлюсь, тогда можно справить новоселье. Кстати, мне нужно будет кое-что сфотографировать.

— Это запросто! — Сеня открыл кофр, достал фотоаппарат и нацелился.

Потапов испугался, этого ещё только не хватало! Он вообще не любил фотографироваться, а тут такой пейзаж: сзади и по сторонам пьяные рожи, на столе — недоеденный бифштекс, стаканы с вином. В голове мелькнуло: чего он ко мне пристал, наверно, не просто так, эти журналюги скользкий народ.

— Не хочешь и не надо! — с сожалением сказал Сева. — Солнце выглянуло, такие блики вокруг твоей головы заиграли, теперь уже не поймает. Ты ведь художник, понимаешь, что это такое. А мы в кабаке собрались, по бабарочкам, присоединяйся!

Потапов отказался, доел бифштекс и, прихватив с собой бутылку кефира, скрылся от опасной компании в номер. Дураков нет, резонно посчитал он, в этом городе нужно быть осторожным, а то вляпаешься во что-нибудь, потом не отмоешься. Эта мысль не была неожиданной, Потапов принял приглашение Турбинина, имея чётко выработанный план дальнейших действий. Один пункт этого плана был уже выполнен — мастерская, остались: квартира и членство в Союзе художников. В случае какой-нибудь неприятности, решение этих вопросов Турбинин мог запросто притормозить, у него была власть, а с властью, подумал Потапов, шутить нельзя, запросто задвинут, а то и растопчут.

- 4 -

С приездом Ольги жизнь Потапова набрала сумасшедшие обороты, он обнаружил, что покупка вещей для семейного быта представляет большую проблему даже при наличии денег. В магазинах не было ничего порядочного, а чтобы приобрести стенку, ковёр, нужно было занимать очередь, записываться,

время от времени ходить в магазин и отмечаться. Выручил молодых Лизин, он свёл Потапова с одним замшелым от старости городским стариком, и тот, после долгих улаживаний продал ему шкаф, бюро, стол и стулья великолепной ручной работы. Заломил старичок по московским меркам совсем недорого, но эти приобретения сделали в бюджете Потапова существенную пробоину. А тут ещё подоспело получение двухкомнатной квартиры, а это опять трата на смену обоев и новую покраску, переезд, шторы, посуду, кухонную мебель и широкий двухспальный диван без которого согласие в молодой семье просто немыслимо.

После долгих блужданий по железной дороге, наконец, прибыл грузовой контейнер, в нём были Ольгино приданное и картины. Потапов перевёз свои полотна в мастерскую, расставил вдоль стены, долго на них смотрел, потом сложил все на стеллаж. Жизнь надо начинать с чистого листа, решил он, ученичество закончилось, и нужно отсечь всё, что было сделано раньше, чтобы оно не тянулось за тобой следом, не отягощало, не напоминало о безнадёжных тупиках и редких счастливых прозрениях. Туда же на стеллаж он засунул и картину Игнатьева, жалкого по своей судьбе живописца. Потапов в будущем видел себя совсем другим — удачливым, пробивным и уж, конечно, не на родине Земляка, на своё пребывание в городе он смотрел, как на неизбежную ступеньку, где он должен утвердиться как мастер, а там дальше будет Москва, будут успешные выставки, сверхпрестижные заказы и успех, в который Потапов верил безоговорочно.

Во время учёбы в институте Потапов бывал во многих мастерских московских художников, видел и вполне успешных живописцев и неудачников, как правило, озлобленных и не в меру пьющих людей, у которых были и школа подготовки, и несомненное дарование. Все они резво с надеждой на успех начинали свою творческую жизнь, но проходило какое-то время, и одни сами по себе переставали гореть, других подкосило заурядное пьянство, но большинство непьющих и талантливых просто не могли пробиться, потому что все места «великих» были заняты. «Великие» стояли такой плотной стеной, что

просочиться сквозь неё редко кому удавалось. Чтобы пробиться в народные художники, в Академию художеств, нужно было, кроме таланта и мастерства, иметь огромную пробивную силу или очень влиятельных друзей в верхних партийных кругах. Били по голове, и очень больно, тех, кто высовывался, кто проявлял себя как самобытная личность — это не поощрялось. На первый взгляд, путь к успеху казался торной тропой, а на проверку оказывался гиблой топью, и Потапов об этом знал, как и о том, что ему непременно должно повезти, вот только осталось поймать бога удачи за бороду и не выпускать его из рук до конца жизни.

Все свои надежды Потапов связывал с Турбининым, и пока председатель союза ему благоволил. Он, чтобы поддержать молодого художника, устроил ему выгодный заказ на роспись задника для сцены дворца культуры в одном из райцентров области. Работа среди художников считалась халявой, такой заказ обычно приберегали для проведения чьёго-нибудь юбилея, но своя рука владыка и шабашку получил Потапов, который сделал за неделю роспись, с первого захода сдал её худсовету, а через полмесяца опять был при деньгах. Взял одним махом три тысячи рублей, как с куста. И нельзя сказать, что это ему не понравилось.

Со временем Потапов настолько освоился и осмелел, что пригласил Турбинина на новоселье. Егор Васильевич отказался, но очень мягко, сославшись на занятость, и посоветовал Потапову пригласить молодых художников, дескать, зачем вам старики, они только всё испортят, у молодых вся дорога впереди, а мы уже под горку катимся. Сказано всё это было весьма доброжелательно со смешком, и Потапов подумал, что Турбинину как-то даже неудобно отказываться, хотя это было совсем не так, но люди свои благие намерения склонны приписывать другим. На самом же деле Егор Васильевич искренне подивился нелепому приглашению, хотя и понимал, что Потапов преисполнен к нему благодарности за мастерскую и квартиру.

— Вам нужно будет подумать, что вы будете предлагать на зональную выставку, — сказал Турбинин. — В декабре

состоится выездной выставкой, в феврале — выставка, так что думайте. Если всё пройдет для вас удачно, будем рекомендовать в Союз художников.

После этого разговора Потапов долго корил себя за свой дурацкий жест с приглашением на новоселье. Торжество, конечно, он отменил и впредь зарёкся поступать столь необдуманно. Нужно быть спокойнее, если чувствуешь в себе порыв что-то сказать или сделать, не спешить, поразмыслить, чем это тебе грозит — к такому вполне здравому выводу пришёл Потапов и больше всего огорчился тому, что столь заурядную истину ему пришлось постигать не на чужом, а на своём опыте.

Через некоторое время он снова попал, на этот раз почти в скандальную историю. А началось всё довольно банально: ему позвонил Лизин и попросил прийти в его мастерскую, чтобы в кое-чём помочь. Потапов, конечно, горячо откликнулся, торопливо сунул кисть в банку с растворителем и помчался к Ивану Петровичу, памятуя, что тот не только нужный, но и просто сердечный человек, много помогавший ему в обустройстве на новом месте. Запыхавшись, Потапов вбежал на последний этаж, позвонил в дверь, которую тотчас открыл Иван Петрович. Дело оказалось до изумленья простым: Лизин ждал приезда крупного заказчика, прибрался в мастерской и намёл из всех углов и щелей две сотни пустых бутылок.

— Не считай за труд, Боря, — сказал Лизин. — Помоги сдать тару, не выбрасывать же. В «Правде Земляка» писали, что не хватает пустой посуды для водочной продукции.

Потапов с изумлением посмотрел на маститого живописца. Но тот ничуть не смущался предстоящей операции. Они набили два мешка пустой посудой и через центральную улицу двинулись к пункту приёма стеклотары. У закрытого окошка маялись два алкаша, которые ждали приёмщицу. Художники поставили мешки на асфальт, и не успел Лизин отдышаться, как по улице пробежали иноходью четверо парней с каменными физиономиями.

— Всем к стене! Не двигаться, пока не пройдут!

По середине улицы от гостевого особняка шли член политбюро ЦК КПСС Суслов, рядом с ним Бабай, позади ещё

трое и среди них Блисталов. «Вот это влип», — искрой пронеслось в голове Потапова. Лизин побледнел и вжался спиной в каменную стену приёмного пункта стеклотары. Бедный Иван Петрович так испугался, что перестал отдавать отчёт в своих действиях. Суслов и Бабай подошли вплотную, когда Лизин, перешагнув через мешки с пустой посудой, произнёс надтреснутым баском:

— Здравствуйте, Михаил Андреевич!

Суслов не обратил на это никакого внимания, а Бабай зыркнул на Лизина, будто прострелил, огненным взглядом. Блисталов, проходя мимо, погрозил художникам кулаком и что-то прошипел.

От пережитого стресса Иван Петрович обессилил, он опустился на корточки и обхватил голову руками.

— Это действительно был Суслов? — спросил Потапов.

— Конечно, он, но что я натворил! У меня же документы на заслуженного художника посланы. Теперь обязательно зарубят!

— Иван Петрович, вы же ничего плохого не сделали, ну, поздоровались, вот и всё.

— Высунулся я, высунулся! — вскричал Лизин. — Теперь обязательно зарубят! Всё мой поганый язык!

Причины для душевных терзаний у Ивана Петровича были. В Союзе художников имелась своя очередь на присвоения почётного звания. Недавно получил звание заслуженного Турбинин. Следующим должен был его получить Лизин. Но этот случай мог задвинуть Ивана Петровича в сторону, он мог вполне вылететь из обоймы маститых, а это означало большие материальные и моральные потери.

По пути домой Потапов купил областную газету и в трамвае просмотрел её, открыв для себя много интересного. Оказывается, Суслов тоже был земляком, он родился в одном из южных районов области, и его приезд был вызван ностальгическими порывами по босоному детству, если только подобные чувства были доступны этому идеологическому сухарю. В газете Потапов прочитал, что в село, где родился Суслов, была ударными темпами проложена асфальтированная дорога, возле дома, где он родился, водружён

бронзовый бюст, в сельском музее открыта экспозиция, посвящённая жизненному пути несгибаемого большевика.

Действительно, в этом городе нужно держать ухо востро, подумал Потапов, перелистав газету. Это где ещё такое может быть — пойти сдавать пустые бутылки и натолкнуться на члена политбюро Суслова? В этом была какая-то мистика, присущая только родине великого Земляка.

Незадолго до этого происшествия Потапов побывал в краеведческом отделе областной библиотеки. Ему захотелось окунуться в историю края, тем более, что с городом были связаны люди, оставившие заметный след в истории России. Конечно, Земляк затмевал всех, но Карамзин, Языков, Гончаров, Пугачёв, Разин — все они были, каждый по своему, знамениты. Потапов просмотрел книги местного историка и поразился, что того города, коим он был шестьдесят лет назад, уже нет. Он исчез не только из памяти людей, но и был физически уничтожен, от него осталось лишь то, что было связано с именем Земляка. Сохранились фотографии многочисленных храмов, которые в своё время определяли облик города, остались фотографические отпечатки людей, живших всего лишь одно поколение назад, остальное исчезло, растворилось во времени. Там, где стояли храмы, на святых намоленных многими поколениями православных людей местах, были построены казённые здания, и над ними витал всепроникающий дух неистового Земляка, как доказательство того, что святым для людей может быть не только Бог, но и человек, которому удалось сплотить массы одной, пусть даже самой бредовой, идеей. А там, где святость, там и чудеса, одним из них и было явление Суслова перед Лизиним и Потаповым возле пункта приёма стеклотары.

Но местные идеологи не поспешили занести этот случай в свои партийные святы. Лизин, правда, сильно опасался, что его пропесочат, но всё обошлось, если не считать нескольких вполне добродушных подколов со стороны Турбинина, которому стало всё тотчас известно: ему позвонил Блисталов. Потапов в этом разговоре не назывался, видимо секретарь обкома его не узнал, но он скрылся в мастерской и взялся за

работу, потому что поджимали сроки, через месяц должна была открыться ежегодная областная выставка художников. На ней Потапову следовало заявить о себе как только можно внушительней, потому что первый показ определит всё дальнейшее, ведь люди — рабы первого впечатления от увиденного или услышанного. Если зрители будут проходить мимо картины и не задерживаться, чтобы её внимательно рассмотреть, значит автор своей творческой задачи не выполнил, искусство, которое не вызывает в нас никаких эмоций, бесперспективно.

Работ, которыми он был вполне доволен, у Потапова накопилось немного. Он не принадлежал у числу живописцев-скорodelов, которые пишут картину за один день. Потапов долго мучался, пока вынашивал идею произведения. Что рисовать, вот в чём вопрос?.. Иногда перед ним возникало нечто необыкновенное, он загорался, но вскоре остывал, в нём просыпались сомнения в своих способностях, и, чтобы преодолеть эту слабость, ему требовалось время.

Потапова, только начавшего творческий путь, не могла не подавлять масса картин, написанных художниками всех времён и народов. За последние пятьсот лет их было создано столь бесчисленное количество, что если все сложить рядом, рама к раме, в одном месте, то занятое ими пространство было сопоставимо с территорией среднего европейского государства. Число существующих живописных полотен уже давно не поддаётся подсчёту. Перед этим потрясающим воображение множеством шедевров трудно не впасть в отчаянье, не поставить раз и навсегда крест на своих мечтах создать нечто совершенно прекрасное и неповторимое. Счастливые люди это понимали. Они сразу узнавали свой шесток, не рвали душу и здоровье, и становились живописцами-ремесленниками, другие, более хитрые и наглые занимались тем, что с помощью всяких ухищрений старались доказать, что они гении, и некоторым удавалось этого достичь. В двадцатом веке гении живописи были уже невозможны, и главным препятствием было прошлое, которое нельзя было переплюнуть, будь ты самым Микеланджело. Для того, чтобы живопись продолжала

существовать как искусство, все картины надо было сжечь и начать новый отсчёт времени.

После приезда Потапов сразу получил заказ на портрет Героя социалистического труда слесаря автозавода Халатова. Лизин, которому дали заказ на три портрета, подсказал Борису, чтобы он не спешил и подошёл к работе обстоятельно, побывал в рабочем коллективе, поговорил с теми, кто работает рядом с героем. Раньше ему не доводилось общаться со столь знатным человеком, и Потапов пошёл на завод. В цеху было шумно и грязно, у Халатова что-то не ладилось, и разговора не получилось. На следующий день Потапов позвонил своему герою домой и не добился ответа, когда тот придёт к нему в мастерскую. Пришлось обращаться за советом к Лизину. Это ерунда, сказал тот, позвони в партком, объясни суть дела, и твой слесарь явится в любое время. Халатов действительно пришёл, чистый, наглаженный, обильно политый «Шипром», со Звездой Героя на груди и в галстук. Потапов организовал закуску, выставил бутылку коньяка, героический слесарь поупирался, но всё-таки выпил и закусил. Говорить им было решительно не о чем. Халатов камнем сидел на стуле, а Потапов маялся, о чём начать разговор, но ничего не придумал и снова наполнил рюмки. Бутылка вскоре опустела, затем вторая. Халатов упорно молчал, а Потапов так и не придумал с чего начать разговор.

— Ну, я пошёл, — сказал Халатов.

— А поговорить? — растерянно произнёс художник.

— Завтра. Утром я буду здесь.

Потапов допил свой коньяк и задумался. Какой же из всего этого сделать вывод, спросил он себя. Только один: с натурой действительно работать непросто.

Утром Халатов явился не при параде, на нём был чёрный свитер, серые брюки, в руках он держал сумку. Потапов только-только успел умыться и встретил гостя с полотенцем в руках.

— Ну что, продолжим? — сказал Халатов.

— Что продолжим? — Потапов с опаской покосился на сумку.

— Как что? Работать. Мне дали три дня отгула для портрета.

— Вот здорово! Я сейчас.

Потапов швырнул полотенце на диван, схватил подрамник с натянутым на него холстом и поставил на мольберт. Над композицией он не раздумывал, портрет должен быть парадным, предназначенным для галереи трудовой славы области, над ней местные художники работали весь год по установленному образцу. Нужна была просто добротная выполненная работа, без всяких изысков.

Через четверть часа неподвижного сидения Халатов заворочался на стуле. Потапов это заметил и начал спрашивать его о всяких пустяках. Халатов отвечал, сначала с неохотой, но постепенно разговорился. На заводе он занимался изготовлением штампов, уникальных и сложных приспособлений, используемых при поточном производстве деталей. Выяснилась любопытная подробность: в бригаде числился «подснежник» — хоккеист, катавший по льду мячик за областную команду, и туфтовые наряды ему закрывались почти такие, как бригадиру, а, между прочим, Халатов уже несколько лет подряд по своей профессии признавался лучшим во всей автомобильной отрасли. Помимо своей работы он был депутатом областного совета, участвовал в заседаниях доброго десятка общественных организаций — звание героя давали не за здорово живёшь, его приходилось оправдывать. Сам он родом из пригородной деревни, после семи классов поступил в ремесленное училище, работал на автозаводе, затем три года службы в армии, затем автозавод и так до сегодняшнего дня.

Потапову очень хотелось узнать, как, изо дня в день обрабатывая кусок железа, чем в городе занимаются не менее пятидесяти тысяч человек, можно стать героем. Он хотел даже напрямую спросить об этом Халатова, но постеснялся, может обидеться, а портить отношения с ним было бы глупо. Вот, размышлял он, сидит передо мной обыкновенный русский мужичок, трудяга, хороший семьянин, отличный слесарь, но какой он герой, просто честный труженик. Выпало счастье, повезло, или его просто назначили в герои?

Халатову портрет понравился, он даже порозовел от удовольствия и принялся хвалить художника, и приглашать к

себе домой в гости. Потапов не был избалован выражениями признательности, он тут же смутился и слегка покраснел. При этом присутствовал неугомонный Сева, которого Потапов пригласил сфотографировать свою работу.

— Секарэмарэ! — воскликнул он, увидев Халатова. — Сто лет, сто зим! Как живёшь?

— В этом городе все друг с другом знакомы, — заметил Потапов.

— А как же! — Халатов, похоже, обрадовался, увидев фотографа. — Мы с Севой недавно вместе в Египте были.

— Только уехали, и война между арабами и евреями.

— Мы же тогда всей тургруппой решили, что ты, Сева, её спровоцировал, ах, ты плут!

— Ну и что, наши ведь победили!

— Какие наши? — Халатов не понял юмора.

— И те наши, и эти наши, разве не так? — Сева повернулся к портрету. — Ну, ты мастер! — Он поколдовал с фотоэкспонометром и сфотографировал работу. Затем поставил рядом с ней Халатова и сделал несколько кадров. — Ну, что! А где шампанское?

Халатов был готов к такому повороту событий, поставил на стол бутылку водки и банку консервов. Его ждали домашние, выпив рюмку, он ушёл, а Потапов позвонил жене.

— Оля, у меня тут в мастерской классный фотограф. Давай снимемся? Хорошо, ты приготовься, через час мы будем.

— У тебя неплохо, молодец, побелил, покрасил. Лет семь назад я здесь был, — сказал Сева, оглядывая мастерскую.

Вспоминать покойного художника Потапову не хотелось, он наполнил рюмку, и Сева тотчас забыл, что он хотел сказать.

Пока они шли домой, Севу останавливали раз пять. Сначала ему встретилась девушка и спросила о фотографиях, затем прапорщик с танковыми эмблемами на петлицах, с ним, как понял Потапов, Сева служил сверхсрочную, далее фотографу пришлось отбояриваться от какого-то шофёра, который усиленно звал его на свадьбу к общему знакомому, потом на машине с мигалкой подрулil какой-то милицейский майор и

сказал, что завтра личный состав будет в парадной форме для съёмки на подарочный фотоальбом.

— Ты — популярный человек, народ на тебя бросается, как на артиста Тихонова.

— Всем нужен, что поделаешь, — вздохнул Сева. — С утра до вечера — карточки, карточки!

— У тебя, наверно, уже ученики есть, кто профессионально работает? — спросил Потапов.

— Не говори мне об учениках! Меня никто не учил, да и как научишь, если влюбляться нужно в то, что снимаешь. Были у меня, приходили, показывал, помогал, а что они сейчас про меня говорят, честное слово, уши вянут.

Ольга их ждала и очень волновалась, хорошо ли она выглядит. На ней было тёмно-серое платье, белые босоножки, на руке широкое обручальное кольцо. Сева увидел её и вмиг преобразился, куда только девалась та неспешность, с которой он поднимался на четвёртый этаж.

— Секарэмэрэ! Какая красавица, какое королевское блюдо!

Он мгновенно забыл о Потапове, выхватил фотоаппарат и начал, даже не фотографировать, а исполнять вокруг Ольги замысловатый танец, называя её всякими вкусными именами, на которые так падки женщины: «Лапочка! Будь конфеткой! Так, ещё разочек, рыбонька!» Совершая пируэты вокруг своего фотообъекта, Сева из, в общем-то, затрапезного мужика вдруг преобразился в настоящего мачо: стал выше ростом, весь как-то распушился, словно кот, услышавший вопль своей чердачной подружки. Ольга подчинялась ему полностью: она то сидела на стуле, то стояла возле оконной шторы, то нюхала вынутую из вазы алую розу, в конце концов, Сева даже заставил её сменить платье на что-нибудь лёгкое и воздушное.

К своему удивлению, Потапов почувствовал лёгкий укол ревности. Сева не зря завоёвывал репутацию самого опасного в городе сердцееда, подумал он, не зря о нём ходят всякие слухи, возмущающие мужиков и будоражащие фантазию женщин, это ещё тот фрукт! Но Сева не был так уж и опасен, просто у него была такая манера работать, он искал в любом человеке отклик, вот и будировал его, тормозил, чтобы тот ожил и не пучил в

объектив глаза, как целлулоидная кукла. И это ему удавалось, Сева на какой-то миг умел оживлять даже самого застывшего человека, и люди смотрели на свои изображения и удивлялись, какие они добрые и красивые. Фотографии, выполненные Севой, возвышали человека в его собственных глазах, и в этом был основной секрет его успеха. И он делал это, повинаясь внутреннему инстинкту, такова была его творческая натура. Как-то Евдокимов прочитал Севе стихотворение, в котором были строчки:

*Пусть в жизни мало счастья, света,
Никто своих не знает дней,
Но есть призванье у поэта —
Очеловечивать людей.*

И Сева загрузил, кто знает, о чём он тогда подумал...

Потапов на областной выставке предполагал показать автопортрет, над которым работал последние два года, поэтому фотографии рассматривал с особым любопытством. Нельзя сказать, что они ему не понравились, Ольга была приятна и мила своей врождённой непосредственностью, в себе же он заметил неприятные черты усталости и даже брюзгливости, но что поделаешь, фотографии льстят не каждому, это не живопись, а всего лишь добросовестный отпечаток натуры.

Ольга рассматривала фотографии с ощущением некоторой стыдливости за то, что поддалась на Севины штучки-дрючки и позволила собой командовать незнакомому человеку. Она догадалась, что муж был ею недоволен, поэтому заявила, что фотографии её портят, и на них она выходит гораздо хуже, чем есть на самом деле. Потапов с этим не согласился, Ольга стояла на своём, они даже поссорились, потом обнялись и поцеловались, и чем закончилось всё это, понятно каждому.

Как-то их разбудил звонок в дверь. Потапов посмотрел на часы, было пять утра. Подошёл к двери, посмотрел в глазок. На лестничной площадке стоял Лизин.

— Что случилось, Иван Петрович? — спросил Потапов, открывая дверь.

— Да ничего. К тебе можно?

— Заходи. Вот сюда, на кухню, Оля спит.

Потапов зашёл в спальню, надел брюки, шепнул жене, кто явился, и вытащил из серванта бутылку сухого вина. Лизин стоял на кухне лицом к окну и барабанил пальцами по столу.

— Извини, Боря, что я так рано. Понимаешь, спать не могу, совсем измучила бессонница.

— Чай или вино? Да ты садись, Иван Петрович, в ногах правды нет.

— Чашку чаю я выпью, озяб. Я уже скоро две недели не сплю, с того дня, как мы ходили бутылки сдавать.

— Ну, ходили, Суслова встретили.

— В том то и дело, что встретили. Не везёт мне, ох, не везёт! Перед столетием Земляка я должен был орден получить, а дали юбилейную медальку. А почему? Кто-то стукнул, что я утром, заметь, когда народу на пляже ни души, нагишом купаюсь.

— Тоже мне невидаль!

— Так-то оно так, но там, в «Белом доме», сочли это неприличным, мол, какой он художник, если нагишом купается.

— А сейчас в чём дело? Ведь Турбинин должен быть в курсе. Или что-нибудь сказал?

— Егор Васильевич непростой человек. Иногда такое выкинет. Но я не думаю, что завалит меня со званием. Другие заслуженного получают легко, как с куста срывают, а мне всё горбом достаётся. Я вот думаю, а не сходить ли мне к Бабаю, мы земляки, он вятский и я вятский. Объясню, что и как. Я ведь ничего плохого не сделал, только поздоровался с Михаилом Андреевичем. Как ты думаешь?

— Забудь об этом, Иван Петрович! Если бы они хотели вас наказать, то сразу бы это сделали. А так, погрозил нам Блисталов кулаком и всё. Я ведь тоже соучастник этого дела!

— Да, подставил я тебя. А ты, Боря, Блисталова опасайся, это такая курва, прости господи! Лезет целоваться, а сам принаравливается ухо откусить.

— Мне он показался нормальным мужиком. Впрочем, не знаю.

— То-то и оно, что не знаешь. Я — фронтовик, Боря, и этих, что прятались в тылу под всякими предлогами, недолюбливаю. Блисталов как раз из таких. Юрист, комсомолец и так далее. Но, знаешь, непотопляемый. В начале шестидесятых, когда райкомы и обкомы партии начали делить на промышленные и сельскохозяйственные, он ослеп. Ходил почти наощупь, никого не узнавал. Наш главный глазник всем очки втирал, что Блисталов почти безнадежен. И тут Никиту сбросили, у нас — пленум обкома партии, его избирают секретарём обкома, и болезнь мигом прошла, вот так-то!

Иван Петрович пил чай, вздыхал, кряхтел, потел, опять начинал сомневаться, получит ли он почётное звание, Потапов его утешал и ободрял. На следующий день в пять утра в квартире опять раздался звонок. Ольга толкнула мужа.

— Иди, встречай гостя.

Потапов чертыхнулся и, нехотя, встал с дивана.

— Что ж, надо идти исповедовать Ивана Петровича.

Лизин ходил к Потаповым всю неделю и, наконец, исчез. Потапов по своим делам поехал в худфонд и на первом этаже увидел большой плакат. Художники поздравляли Ивана Петровича с присвоением почётного звания. В коридоре возле производственного отдела он столкнулся с Лизиним. Иван Петрович поздоровался, но не остановился.

Потапов не придавал этому значения, его занимало другое: приближалась областная выставка, но автопортрет ещё не был готов. Он стоял на мольберте, а Потапов находился в таком подавленном состоянии духа, что не мог к нему подойти и начать работать, ему вдруг стало казаться, что он разучился рисовать, не в состоянии провести линию и сделать точный мазок кистью. Такое душевное состояние обычно для творческих работников: бывают дни, когда им доступно в своём искусстве почти всё, затем наступает упадок сил, хандра и отвращение к работе. Некоторые художники считают это обычным приступом слабости, пытаются его преодолеть, терзают и мучают свою картину до тех пор, пока её окончательно не испортят. Другие предпочитают выжидать, они читают книги, ходят к друзьям, рыбачат, пьют вино или

ругаются с женщинами. Каждый расслабляется по-своему, тут важно уловить, когда ты готов к работе и способен сделать такое, что возвышается над обыденностью, несёт отпечаток несомненного таланта и своеобычности. Этим, кстати, люди творчества и отличаются от ремесленников, которые, как правило, все почтенные люди и профессионалы высокой пробы, они не знают никаких затруднений, им понятно, что они делают сегодня и что будут делать через столько-то месяцев или лет. На всём, что сделано ремесленниками, есть отпечаток добросовестности и добротности, но в их работах нет отблеска божественного света, который называется талантом.

Потапов успел перезнакомиться с местными художниками, все они были, каждый по-своему, интересными людьми, но сблизиться ни с кем не успел, пожалуй, только с Васиным, который обитал в подвале бывшей церкви на центральной улице города. С первых же минут знакомства Потапов понял его главную черту: скульптор обладал большим запасом внутреннего величия, он существовал как бы вне своего времени в мире совершенных объёмных форм. Для него современниками являлись не те, кто живёт и работает рядом с ним, а великие ваятели периода расцвета Афин и итальянского Возрождения. В его поведении, в словах и в движениях, преисполненных неподдельного величия, обыватель скорее нашёл бы шарж или гротеск, но Потапов сразу воспринял Васина очень серьёзно, увидев в нём самодостаточного художника и органичного человека, которому противны ложь и притворство.

В мастерской, где работал скульптор, было сумрачно и сыро, на стеллаже вдоль одной стены стояли гипсовые бюсты и модели, у другой — выстроились ростовые фигуры, выполненные из дерева и гипса. Васин возлежал поперёк грязного дивана, положив ноги на табуретку. Одет он был в офицерские бриджи и китель, что в сочетании с короткой ржавой бородой и какими-то опорками на босую ногу делало его похожим на опустившегося белогвардейского офицера, где-нибудь в Харбине. Но Васин не бездельничал, он сосредоточенно рассматривал почти законченную деревянную голову Земляка, выполненную в три натуры, и раздумывал,

нарастить ли вождю затылок или оставить так, как есть. На приветствие Потапова он что-то хмыкнул, встал и топором принялся выравнивать затылок вполне готовой скульптуры. Затем взял деревянную наשלёпку, намазал клеем и прибил гвоздями на выровненное место. Отойдя в сторону от головы, оценивающе посмотрел на свой труд и спросил:

— Ну как? Годится?

Потапов смутился, он к таким заоблачным темам, как образ Земляка, ещё не прикасался, но почему-то считал, что это делается более возвышенным способом, более бережным, что ли, а тут обыкновенный плотницкий топор, молоток, гвозди. Бац, бац, стук, стук — и голова Земляка готова. А её ведь, если купят, поставят, судя по размеру, на большую сцену, за президиумом; по сути дела вождю, а не ораторам, будут аплодировать, эта голова станет освящать своим присутствием празднование великих дат и событий.

— Мне думается, что нормально. Только почему в дереве? Не поймут.

— Это ты правильно молвил, в других материалах, кроме камня и бронзы, вождя исполнять запрещено. Правда, на гипс закрывают глаза, но это ведь массовка, копии с мраморных и бронзовых оригиналов.

— Голову утвердили?

— Я в Москву фотографии с гипсовой отливки посылал. С третьего раза приняли.

Васин лёг поперёк дивана и уставился в потолок. В открытую дверь мастерской доносились крики рабочих, разгружавших мешки с цементом и гипсом. Потапов заскучал, вроде пришёл в гости по приглашению, а хозяин чурбаком валяется на диване, даже стружки из бороды не вытряс.

— Ты почему без вина пришёл?

Потапов опешил — вот это встреча!

— У тебя что, денег нет? Тогда возьми под Горьким, бюст видишь?

Борис замялся и промолчал.

Васин, недовольно бурча, встал с дивана, достал из-под бюста пачечку слежавшихся купюр, отклеил десятирублёвку и протянул гостю.

— На! Возьми пару бутылок чего-нибудь попроще и пожевать — хлеба, кильки.

Выпив стакан красного вина Васин помягчел, смотрел вокруг оттеплившимся взглядом, стал доступнее.

— Выставляться думаешь?

— Хочу показать автопортрет.

— Автопортрет? Это не слабо. Кому-нибудь показывал?

— Доработать надо, за месяц, думаю, успеть.

— Не слишком ли смело — автопортрет? Это не Москва, а родина Земляка, и правит нами не царь-батюшка, при котором всё было можно, а политбюро, им нужна бодрая песнь о трудовых свершениях, а не самолюбование художника. Ведь ты, наверно, в автопортрете себя хвалишь, не так ли?

Васин неожиданно затронул самое больное: Потапов писал автопортрет, чтобы до конца разобраться в самом себе, а что получилось на самом деле, не знал — неужели хвалебный гимн?

Скульптор насмешливо смотрел на него, затем поднялся и выдвинул из-за головы Земляка большой станок, на котором находилась скульптура, укутанная мокрыми тряпками. Одну за другой Васин сорвал их, и перед Потаповым открылась обнажённая фигура сидящего на стуле мужика. Это был, в чём мать родила, сам Васин, он сидел, подперев щеку рукой, и на его плече пригорюнился голубь.

— Что молчишь, понял, что это такое?

— Нет слов! По-моему — это здорово!

— Вот дурак! — скривился Васин. — Это — тупик! Это не мой автопортрет, а мой тупик! Вот скоплю денежек на солдатах, отолью и закажу родне, чтобы на мою могилку поставили.

Потапов ушёл от скульптора в смятённых чувствах. Васин, безусловно, настоящий и зрелый мастер, но откуда эта безнадёжность и неверие в собственные силы? Можно всю жизнь просидеть в подвале, пить вино, время от времени ляпать для заработка очередного солдата, но он же не стар, полон сил, а занимается самоедством, и это действительно тупик. Конечно,

скульптором быть сверхтрудно, у них — производство, всё это требует больших денег, но мне, рассуждал Потапов, достаточно красок и кисти, всё зависит от меня, я могу участвовать в конкурсах, предлагать работы на выставки, что угодно, но стать Васиным — это не для меня. Потапов почти убедил себя в том, что он добьётся многого, но вдруг вспомнил свой автопортрет и настроение у него вконец испортилось.

Рано утром Потапов поспешил в мастерскую, Васин так уязвил его душу сомнениями, что ему не терпелось, как можно скорее, взглянуть на свой автопортрет. Он торопливо взбежал на свой этаж, открыл дверь, включил свет и остановился. Борис почувствовал, что боится подойти к картине, вот подойду, подумал он, а там такое, что ни в какие ворота. Что тогда? Предполагая самое худшее, он, зажмурясь, подошёл к картине и открыл глаза. На него с лёгкой усмешкой смотрел его двойник. Он стоял на фоне подготовленного для работы холста, правая рука лежала на верхней рамке мольберта, левая упиралась в бедро. Всем своим видом двойник излучал уверенность в себе, это было изображение здорового во всех отношениях человека, готового, хоть сейчас, приступить к работе. Потапов отошёл чуть в сторону, и двойник стал другим, лёгкая усмешка превратилась в издевательскую гримасу, глаза стали пусты и безжизненны. Изменения выражения лица повлекло за собой и всё другое: улетучился оптимизм, исчез сам смысл творческой задумки — показать современника, творческую личность. Потапов почувствовал прилив ненависти, ему говорили, что автопортрет писать очень сложно, он обладает опасной способностью выходить из-под контроля художника, враждовать с ним и даже навязывать свою волю, но то, что происходило сейчас, было уже слишком. Первым побуждением Потапова было порвать холст, однако он сдержался. Может мне показалось, подумал он, после посещения Васина в его творческом подвале и не такое может приключиться.

На холсте остались кое-какие непроработанные детали и Потапов, не трогая лица и центра композиции, недели две всё тщательно прописывал, небрежности он не терпел, а в данном случае требовалось особое прилежание, по этой работе должна

быть выставлена оценка неизмеримо более важная, чем та, которую ему поставили на госэкзаменах. Автопортрет был закончен, но осталась маята, неуверенность, как оценят его профессионалы и зрители. В институте таким беспристрастным судьёй был руководитель творческой мастерской, а где его найти, такого ценителя, здесь, в чужом городе, Потапов не знал.

И тут, кстати, позвонил Лизин.

— Ты что-то исчез, Боря, как дела?

— Работаю. Скоро областная выставка.

— Это хорошо. Я вот что звоню. Завтра открытие росписи в пединституте. Придешь?

— Конечно. Да, Иван Петрович, ты бы не мог посмотреть мою работу, я, честно говоря, не знаю, стоит ли её давать на областную.

— Давай так договоримся. Завтра, после открытия росписи, поедем к тебе.

Потапов пришёл в институт раньше назначенного времени, посмотрел роспись. К настенной живописи он относился без интереса, считал её халтурой, у неё одно достоинство: она кормила живописцев, как солдаты — скульпторов. После революции Земляк утвердил план монументальной пропаганды, и, вслед за кинопродукцией, настенная живопись была признана одним из важнейших искусств, и эта идея не умерла ещё до сих пор.

В фойе установили микрофон, по лестнице из аудиторий спешили студенты, народ шёл и в двери, мелькнули Евдокимов с Севоём, появился Турбинин, московские художники. Потапов попытался привлечь к себе внимание Лизина, но это было невозможно, люди всё прибывали, скоро осталось только небольшое пустое место в центре зала, между колонн, прижавшись к одной из них стоял Потапов.

Ректор института поглядывал на часы, ждали областное руководство. Но вот, наконец, появились они, люди в чёрном. Члены бюро обкома, во главе с Бабаем, все в чёрных костюмах, чёрных галстуках, чёрных туфлях и белых нейлоновых рубашках. Процессия прошла на свободное место и встала рядом с колонной, где приютился Потапов. По лестнице вниз сбежала

опоздавшая группа студентов, толпа зашевелилась, заколебалась, и Потапов оказался втиснутым в обкомовскую группу, рядом с Блисталовым. Тот покосился на него, но ничего не сказал.

Начались речи. Сначала выступил ректор, затем московский художник, далее студентка. Содержание выступлений было привычным, всё о нём, о Земляке. Обкомовцы стояли с сосредоточенными лицами и недвижимо, а Потапову было интересно, он изучающе поглядывал на своих соседей, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь приметы их исключительности. Но ничего особенного не отметил, правда, от Блисталова попахивало перегаром, а сосед справа пошмыгивал носом. Бабай вдруг зашевелился, засунул руку в карман пиджака, затем в карман брюк, оглянулся, что-то спросил. Зашевелилась вся обкомовская братия, все что-то начали искать по карманам.

— Что, ни у кого ручки нет? — свистящим шёпотом выдохнул Бабай.

Настала тягостная минута молчания. Ручки ни у кого не было. Бабай рассержено засопел. И тут Потапов достал карандаш, который постоянно носил вместе с небольшим альбомом для зарисовок, и протянул его Бабаю. Областной Зевс готов был поразить своих незадачливых приспешников молнией, но Потапов разрядил обстановку, и Блисталов благодарно пожал ему руку. Бабай вышел к микрофону, без хозяйского присмотра его окружение расслабилось. Блисталов заботливо справился у Потапова, получил ли он квартиру и опять пригласил его заходить в обком партии, если возникнут трудности.

Художникам поднесли цветы, торжественное мероприятие закончилось. Судя по всему, намечался банкет, но только для избранных. Лизин в их число не входил, он разговаривал с Евдокимовым, когда Потапов, наконец, пробился к нему. Случай с карандашом был ими замечен.

— Вот и самый настоящий герой, — сказал Евдокимов. — Про поэтов злословят, что они готовы повеситься, если в минуту вдохновения у них под рукой не окажется бумаги и самописки. Я видел, как Бабай разъярился. Надо же, всё бюро обкома в сборе, и ни у кого даже карандаша нет! Да, я вот Ивана

Петровича подзажал, получил заслуженного и в кусты! А где шампанское?

— Замотался я с этим званием. Вот Боря знает.

— Откуда мне знать, — благоразумно сказал Потапов. — Давайте на трамвай и ко мне в мастерскую.

Потапов понимал, что выбрал не лучших арбитров для оценки своей работы, но надеялся на их откровенность. Иван Петрович, несомненно, знал в живописи толк, а поэт мог высказать своё, пусть не квалифицированное, суждение. Обычно вяловатый Лизин, шлёпавший подошвами по полу, как селезень лапами, возле автопортрета стал передвигаться почти на цыпочках, он водрузил на нос очки, построжел и даже осунулся. Художники смотрят работы своих собратьев по творческому цеху не так, как зрители, у них особый взгляд и, зачастую, дурной и тяжёлый. Евдокимов постоял с минуту перед автопортретом, прошёлся, улыбнулся и стал листать журнал.

— Нет слов, — наконец произнёс Иван Петрович. — Работать тебя научили. По-моему, картина состоялась. А ты что скажешь, поэт?

— Заявка на успех есть и неплохая. На мой взгляд — всё на месте, хотя цвет... Не нравится мне тусклость в современной живописи. Создаётся впечатление, что художники пишут яркими красками на линючем холсте, затем его опускают в стиральную машину, стирают, а потом предлагают нам вылинявшую картину.

Лизин развеселился.

— А ведь ты прав! Но погоди. Возьми Турбинина, у него с цветом всё в порядке

— О ком речь? Ведь всем известно, что он во всём многозначительная посредственность.

— Вот смотри, Боря, как нас судят с плеча да наотмашь. Егор Васильевич беззаветно влюблён в живопись, а как он много работает, я знаю, у нас мастерские рядом.

— Ты, Иван Петрович, неисправим! Турбинин тобой помыкает, а ты как будто этого не замечаешь. Знаю я, что между вашими мастерскими есть дверь и закрывается она из

мастерской Турбинина. Ты к нему зайти не можешь, а он к тебе — в любое время, даже когда ты в неглиже и с дамой сердца.

— Какой ты ядовитый, Петя! Мы с Егором вместе учились, правда, он поступил позже, а я после войны сразу, в сорок шестом. Наш набор был почти весь из фронтовиков. Стипендия мизерная, на рынке буханку хлеба на неё можно было купить, кем только я не подрабатывал, даже официантом. После третьего курса сделали мы с приятелем кучу портретов членов политбюро, погрузили на тележку и повезли продавать по сельсоветам, они тогда в Латвии только организовывались. Спрос был, но и риск тоже. Направились было в одно село, но, к счастью, нас догнали солдаты. «Куда прётесь, там бандиты, мы едем на операцию». Образование далось нам не просто, а осуждать нас легко. Художники — люди публичные, как и поэты. Разве не так?

Разговор уходил в сторону от автопортрета, и Потапов спросил напрямик:

— Мне нужно ваше мнение — выставлять работу или нет?

— А почему не выставить? — сказал Иван Петрович. — Работа достойная. Но тебе, Боря, нужно быть готовым к любым мнениям, даже отрицательным.

— Конечно, лучший вариант — задумчиво произнёс Евдокимов, — когда картина сама будет требовать от художника, чтобы её показали людям. Но не всегда на это есть время, как я понимаю, у тебя его как раз нет. Поэтому — вперёд, а там будь что будет.

Оставшийся до выставки месяц Потапов не мог даже кисть взять в руку, его страшно беспокоило, как картина будет принята публикой и, главное, Блисталовым, который был очень опасен в своих оценках. Он слонялся по мастерской, лежал на диване, пробовал читать, но мысли неизменно возвращались к автопортрету. Потапов уже сожалел, что отдал его на выставку, Евдокимов был прав, картина должна отлежаться до тех пор, пока автор к ней не охладает и будет способен дать своему труду справедливую оценку. Ольга видела душевное смятение мужа и пыталась его развлечь. Они сходили на концерт симфонического оркестра в мемориал Земляка. Концерт проходил почти в пустом

зале, меломанов набралось едва ли больше чем оркестрантов и Потапов, слушая возвышенную музыку Гайдна, с грустью подумал, что искусство народу не нужно. Вот сейчас в прекрасном зале один из лучших в стране оркестров под управлением выдающегося дирижёра Серова исполняет симфонию, а людям это не надо, они включили магнитофоны и с удовольствием слушают бредовые песни столичного хрипуна. Художники всяких творческих направлений стремятся возвысить человека, внушить ему образы прекрасного, а он не возвышается, потому что это ему не нужно, он всего чуждого инстинктивно остерегается, его столько раз обманывали и небесным, и земным, что человек верит лишь тому, что может пощупать руками. Трагедия искусства не в том, что исчерпаны все темы. Вечные вопросы перестали интересовать человека, и он от них отвернулся, сложилось странное положение: музыкантами интересовались музыканты, художниками — художники, поэтами — поэты. Была ещё небольшая прослойка людей, которые искренне любили искусство, но их было равно столько, сколько находилось на концерте симфонического оркестра.

Ожидание открытия выставки истомило Потапова, он не находил себе места, его тянуло на улицу, в толпу. Борис подолгу и бесцельно бродил по городу, иногда его заинтересовывал какой-нибудь дом старой постройки, и Потапов изучающе рассматривал затейливую резьбу наличников, деревянное кружево карнизов, просто доски старого забора, словно вчитывался в какую-то ветхую книгу. Как-то раз, проходя по довольно людной улице, он расхохотался. Прохожие с удивлением на него посмотрели и, видимо, предположили, что парень явно не в себе. Потапов вдруг понял, в каком состоянии находился Лизин в ожидании звания заслуженного художника. Бедный Иван Петрович тоже не находил себе места и нарезал круги по ночному городу, не зная к кому приткнуться, чтобы излить душу, пока не нашёл Потапова. Может пора начинать делать ответные визиты, злорадно подумал он. Заявиться к Лизину часика в три ночи и опростать душу, вымочить ему ночную рубаху слёзными жалобами и стонами. Представив себе

всё это, Потапов взбодрился и стал размышлять более трезво и понял: он боится не того, что автопортрет раскритикуют, разнесут по кочкам, а ему страшно, что картину просто не заметят, не похвалят, обойдут молчком, а кое-кто и зевнёт от скуки. Вот это было бы для него болезненным ударом.

На открытие выставки Потапов не пошёл, весь день пролежал на диване в мастерской, поглядывая изредка на телефон, но тот помалкивал. В окнах уже затемнело, когда он, наконец, не выдержал и поехал на выставку. В зале было немногочисленно, всего несколько человек прохаживались возле экспозиции. Из художников был только Васин, он помогал бородатому скульптору поставить на тележку бюст Брежнева. Генсек отправился на выход, а Васин подошёл к Потапову.

— Неймётся Анатолию Петровичу, — сказал он, обхлопывая измазанные гипсом ладони. — Изваял Брежнева в полторы натур, сильно надеялся на успех, да не тут-то было. Ты присутствовал при вывозе головы Леонида Ильича на тачке.

— А что, он никому не показывал работу до выставки?

— Не знаю. Но это пустяки по сравнению с тем, как топал ногами Блисталов: кто позволил! Если каждый начнёт ляпать Брежнева, до чего мы дойдём! И опять затопал.

— Не повезло мужику, — сказал Потапов, а сам глазами отыскивал свою картину.

— Пойдём, тебя неплохо повесили. Будешь доволен.

Они зашли за выгородку, картина Потапова находилась рядом, освещение было ровным и не давало бликов.

— Тебе, наверно, интересно, что Блисталов сказал о тебе? — спросил Васин, и, помолчав, добавил. — А ничего. Постоял, покрутил башкой и хмыкнул.

— Хмыкнул? Как это понимать?

— А как знаешь.

— А остальные?

— Кому там говорить! Все языки, знаешь куда засунули? Особенно после того, как он затопал на Анатолия Петровича. А вот и сэкарэмарэ катит!

Из-за другой выгородки вышли Сева и Евдокимов, один с фотоаппаратом, другой с блокнотом.

— Ну, как, поэт, житуха? — спросил Васин.

— В привычном и бесхитростном труде день промелькнул, не грустный, не весёлый, обычный день начала ноября. Опали листья, улетели птицы, и в жизни никогда не повториться его вечерняя латунная заря.

— Ловко! — восхитился скульптор. — Когда сочинил?

— Прямо сейчас взял и вывалил. Ну, как, Борис, все тревоги позади? Издание картины состоялось?

Сева ослепил всех яркой фотовспышкой.

— Ты Сева, как чёрт из табакерки, — проворчал Васин, протирая глаза. — Так и ослепнуть можно. — Он сделал приглашающий жест рукой. — Прошу пройти в мою студию.

На выходе Евдокимов задержался возле столика, где лежала книга отзывов посетителей. Он открыл её, перелистнул несколько страниц и позвал Потапова:

— Читай!

«Возмущает самолюбованием работа Б. Потапова «Автопортрет». Напыщенное лицо эгоиста. Небрежная поза лентяя. Потапов на портрете старается выглядеть добреньким, а глаза у него волчьи. Позор!»

Подписи не было. Потапов поморщился и пожал плечами.

— Не бери в голову, — сказал Евдокимов. — На каждый поганый роток не накинешь платок.

Возле скульптурных мастерских на мраморной плите сидел Анатолий Петрович. Он жадно затягивался папиросой и сильно переживал. Блисталов отвесил ему принародно оплеуху, от которой не скоро отмоешься. Это была даже не оплеуха, а более ужасное — мнение обкома партии.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал он. — Я смотрю, никто не идёт, все бросили. Давайте ко мне, я кое-что припас.

Анатолий Петрович собирался обмыть свой успех на выставке, но не получилось. Пришлось купленным вином заливать горечь неудачи. Брежнев уже стоял в мастерской, на тумбочке.

— Дорогой Леонид Ильич! — Васин коснулся полным стаканом подбородка бюста. — Извини, что накладка вышла. Анатолий хотел тебя прославить, а тебя опять в яму. За твоё драгоценное здоровье! Не кашляй, старичок!

— Не понимаю, — сказал Потапов. — Нормальная работа.

— Сева,ними бюст, — попросил Анатолий Петрович. — Я спешил к выставке, не успел позвонить тебе. Сможешь?

— Запросто. — Сева вскинул фотоаппарат, и мастерскую озарили несколько вспышек. — Наливай.

Анатолий Петрович хлопбыстнул стакан вина и подзакосел. Щёки запунцовели, в глазах заиграли огоньки. К своей неудаче он отнёсся достойно, без обиды.

— Бывает, не подфартило. А бюст уйдёт, у меня уже и заказчик есть.

— И сколько ты за него заломил? — спросил Евдокимов.

— Вот тебе сразу всё скажи! Нормально.

Евдокимов в компании художников любил завести их на тему искусства.

— Я не знаю, к какому подвиду отнести твоего Брежнева. На дворе у нас процветает социалистический реализм, а ты что слепил? Это не реализм, а фантастика. А ты — не скульптор, а фантаст, третий брат Стругацких.

— Как это, как это? — завёлся Анатолий Петрович. — Какая фантастика! Вот у меня сколько иконографии. — Скульптор схватил толстую папку и вывалил на стол кучу репродукций Брежнева во всяких позах и ракурсах.

— Это бесспорный соцреализм, а у тебя фантастика. Правда, Сева.

Фотокор взял фотографию генсека из «Огонька», поднёс к бюсту.

— Похож, а что?

— А то, что всё искусство соцреализма — фантастика. Возьмём бюст за типичный образец. Кого изваял Анатолий Иванович? Бодрого мужика, без присущих оригиналу обвислостей и морщин, а посадка головы — самец, да и только, после операции по омоложению путём пересаживания ему яиц самца гориллы. Какой здесь реализм? Фантастика.

— Послушай, поэт, — вмешался Потапов. — То, к чему ты призываешь — натурализм, слепое копирование натуры.

— Да, да, да, — радостно подхватил Анатолий Петрович. — Именно натурализм!

— О чём вы спорите? — Васин потянулся за бутылкой и налил себе стакан вина. — Какой реализм? Какая фантастика? Какой натурализм? Это просто нормальная шабашка. Это, — он указал пальцем на бюст. — Вне искусства.

— Вот и приехали, — огорчился Анатолий Петрович. — Ты что, считаешь, я хотел выставить шабашку?

— Не огорчайся. Толя, не огорчайся. Давай договоримся: мы все здесь шабашники, кроме поэта. Правда, Сева?

— Да, конечно. Карточки, карточки, денежки!..

— Вот за это и выпьем.

Работа, конечно, беспомощная, подумал Потапов, но Блисталов топал ногами не по этому поводу. Скульптор позволил себе самовольно вылепить бюст генсека, а вслух произнёс:

— У Блисталова высокие эстетические принципы.

Ответом ему был всеобщий хохот.

— Ах, какие вы молодцы, ребята! — воскликнул Анатолий Петрович. — У меня такая неудача, а вы пришли — это здорово! Поэт! Прочитай что-нибудь своё, про нашу жизнь, ты ведь такой же как и мы, художник и бедолага.

— Это тебе стихи, Васин, — сказал Евдокимов и встал. — Прочту, и понимайте как хотите.

*Когда вокруг меня темно и пусто,
Иду я к другу в сумрачный подвал,
Чтоб на свету высокого искусства
Вновь обрести всё то, что потерял.*

*Ваятель хмур — с утра не похмелён.
Кусая бороду, он в кресле, как на троне,
Сидит и даже звука не проронит,
Пока ему стакан не поднесён.*

*Но с другом хорошо и помолчать,
Ведь в трепотне мы истин не откроем.
Мы знаем всё, что надобно нам знать,
Какую правду стоит добывать
В своём подспудном творческом забое!*

*И час, и два в молчании пройдёт.
Искусства накупь, весь симбирский сброд
Вдруг зароится, зашумит во мраке,
И сатана начертит в душах знаки,
Которых враз Господь не зачеркнёт.*

*В хмельном угаре кружится подвал.
Кто только в нём уже не побывал!
Какие только не мелькали лица —
Поэты, девы, сыщики, убийцы,
«Шестёрки» и «тузы» искусства из столицы —
Никто из них его не миновал.*

*Как духом слабым не свихнуться здесь
От зауми речей, вина и дыма!
Хотя слова звучат непримиримо,
Есть в наших душах родственное, есть!*

*Над нами красоты нетленна власть,
И душами печаль повелевает.
К художнику не липнет жизни грязь,
Когда он к воле думу простирает.*

*Он, словно сквозь немытое окно,
Глядит на мир из темноты подвала.
Ему, лишь одному, узреть дано,
Что прочих в этой жизни миновало.*

— А что? Всё про нас! — воскликнул Анатолий Петрович. — У скульпторов искусство на высоте, это живописцы сидят в своих мастерских, как сурки в норах. У нас всё открыто.

Васин был доволен, он всегда привлекал Евдокимова, собирал его стихи, которые поэт иногда записывал в его мастерской, и нанизывал листки бумаги на большой гвоздь, вбитый в стену. Евдокимов действовал на него благотворно, не давал закиснуть в подвале, где скульптор был склонен впадать в летаргию творческого бессилия.

Потапову поэзия Евдокимова показалась жёсткой и прямолинейной, он грубым мазкам предпочитал мягкую палитру, хотя к определённому выводу не пришёл, для него самого этот день был слишком значительным, чтобы обращать всерьёз внимание на чьи-то стихи. Неприязненный отзыв анонимного злопыхателя об автопортрете занозой остался в памяти. Как всякий художник, Потапов, хотя и не признавался себе в этом, был самолюбив и тщеславен, и любые колкие замечания о своих работах переносил болезненно. Правда, он ещё не дожил до того, чтобы во всяком недоброжелательном критике видеть своего кровного врага, но был уже на пути этому состоянию.

К счастью «похмыкивание» Блисталова возле автопортрета не имело последствий. Картину одобрил Турбинин, который редко кого хвалил, видный портретист Ёлкин пригласил Потапова в мастерскую, куда он пускал коллег по большому выбору, вокруг него захороводились пронирыливые личности, чьим призванием была шабашка. Они приняховались к молодому художнику в надежде запрячь его по дешёвке в какую-нибудь роспись или оформилровку.

Через месяц в мастерской Потапова появились члены выставкома зональной выставки и без замечаний приняли автопортрет на «Большую Волгу». Предчувствие значительного творческого события захватило и на некоторое время объединило всех художников города, они стали друг к другу относиться теплее и терпимее, оставили внутрицеховые дразги и недовольство правлением и худсоветом по поводу авторских гонораров и распределения заказов. Зональная выставка проводилась раз в четыре года и в это время художники чувствовали себя именинниками.

В самолёте, направлявшемся в Горький, все места были заняты художниками. Потапову досталось кресло рядом с молодой симпатичной женщиной, корреспондентом областной газеты. Она оказалась общительной собеседницей, и скоро выяснилось, что его соседка — дочь всесильного Бабая. Потапов слышал от Евдокимова о её неудачной семейной жизни, о трёх бывших непутёвых мужьях, последний из которых на площади

имени Земляка, увидев Бабая на ступеньках обкома партии, дурашливо завопил: «Привет, папаня!» И, конечно, был изгнан из высокономенклатурной семьи.

Художников родины Земляка поселили в гостинице «Нижегородская». Потапову достался номер на двоих с Лизиним. Иван Петрович оказался довольно популярной личностью среди художников Поволжья, к нему, не дав даже распаковать сумку с вещами, стали приходить приятели из всех областей. Первыми появились художники из Астрахани, затем из Твери, все со своей водкой и закуской, начались объятия, поцелуи, тосты и воспоминания. Потапов потихоньку покинул шумную компанию и вышел из гостиницы, чтобы использовать оставшиеся полдня на знакомство с городом, о котором он столько читал и слышал. Он вернулся в номер, когда уже стемнело, и застал нечто вроде товарищеского суда над Иваном Петровичем. Турбинин и Пластов, сын знаменитого художника, воспитывали пьяного Лизина.

— Тебе, Ваня, дали заслуженного, у тебя есть шанс попасть на всероссийскую выставку, а увидит тебя Ткачёв в таком виде, и всё пропало.

— Ребята зашли, четыре года не виделись, — лепетал Иван Петрович, жалобно поглядывая на художественное начальство. — Я никуда не пойду, мы с Борей кофе заварим.

— Приглядывайте за ним, — сказал Турбинин. — Из номера ни шагу!

Турбинин и Пластов ушли, Иван Петрович собрал со стола пустые бутылки, отнёс их в ванную и вернулся с полной бутылкой водки.

— Конечно, Егор Васильевич непростой человек, но я ведь художник, а он... Я правду говорю?

— Ты, Иван Петрович, бесспорно художник, — едва сдерживая улыбку, ответил Потапов. — А бутылку давай оставим.

— Ты думаешь? Ну, хорошо. — Лизин прилёг на кровать и тотчас уснул.

Потапов снял с него полусапожки, повернул собрата по живописи на правый бок и вышел в коридор. Навстречу ему шла его новая знакомая.

— С тобой хочет познакомиться Светлов.

— Это кто, художник?

— Нет, но он тесно связан с искусством. Инструктор обкома партии, курирует наш Союз художников.

В одноместном номере вокруг стола, где стояла бутылка водки и закуска, сидели Светлов и Пухова, старая комсомолка и парттруженница идеологического фронта. Светлов встретил Потапова радушно, усадил рядом с собой на диван, налил рюмку водки, пододвинул тарелку с колбасой.

— Давно хотел с тобой, Борис, познакомиться, да всё подходящего случая не было. Не вызывать же тебя в обком партии. Как устроился? Иван Петрович не мешает?

— Он лёг отдыхать, — ответил Потапов, рассматривая куратора. Светлов был слегка пышковат телом, лицо имел мягкое, округлое с типичным для обкомовцев розовым оттенком, который появлялся у них от регулярного употребления спецпродуктов — икры, белорыбицы и особоченных сортов мяса.

— Иван Петрович хороший художник, — сказал Светлов. — Надеюсь, он сейчас не выкинет какого-нибудь номера, а то на прошлой зоне пришёл босиком в ресторан и на салфетке дал расписку на две бутылки водки. Водку ему дали, но записку для оплаты предъявили выставкому.

— Лизин — безобидный человек, — вздохнула Пухова. — Женился недавно.

— А что Турбинин? — продолжил Светлов. — Впрочем, ты этого не знаешь. Неуютно сейчас Егору Васильевичу. На родине Земляка он, конечно, первый по авторитету, но не как художник. Здесь его Сапронов на обе лопатки положит. Ты не видел его триптих о войне?

— Слышал, но не видел.

— Я, признаться, тоже. Но братья Ткачёвы его высоко оценивают, а это решающий голос.

В дальнейшем говорил, в основном, Светлов. Пухова усталилась в телевизор и слушателем был Потапов. За час он успел узнать о своих товарищах по творческому цеху много такого, что заставило его грустить. Каждый поступок, каждое движение любого художника Светлову были известны. Каким путём? Об этом оставалось только гадать.

— Ты ещё не написал заявление о приёме в Союз художников? Нет? Так пиши, тебя примут, это я тебе говорю! Можешь считать, что это мнение обкома партии.

Утром Потапов пошёл на выставку. Она размещалась в нескольких зданиях в центре Горького, находившихся поблизости друг от друга. Свою работу он нашёл нескоро. Картин было представлено столь много, что можно было среди них заблудиться. Потапов переходил из зала в зал мимо полотен, которые впритык друг к другу занимали все стены почти до самого потолка. Это был зримый апофеоз развитого социализма: портреты передовиков, жанровые полотна, повествующие о трудовых буднях, немалое скульптурное поголовье, графика, и всё о нём, о человеке труда.

«Когда-нибудь, возможно, картины будут по достоинству оценены, — думал Потапов. — Но сейчас всё это гораздо легче ругать, чем хвалить».

Автопортрет был задвинут в полутёмный закуток, но всё-таки висел. А много картин, хотя они официально числились в каталоге, не вывешивались, ящики не распаковывали и после выставки отправляли обратно автору. Это — ещё одна и не последняя, издержка массовости культуры.

Вечером гостиница «Нижегородская» сотрясалась как кузнечно-прессовой цех: в огромном зале ресторана отмечали открытие выставки художники Поволжья, числом близко к тысяче человек. Ритм гульбе задавал эстрадный оркестр обильно насыщенный ударными инструментами. Потапов, Васин, Иван Петрович и Анатолий Петрович сидели за одним столиком. Скульпторы были недовольны, их работы не были выставлены в экспозиции и числились только в каталоге. Вокруг шумели, пели, спорили, даже хватали друг друга за грудки пьяные художники, в этот вечер все запоры, на которые они запирали

себя, были сорваны, душа, почти у каждого, явилась нараспашку — пей, гуляй, рванина! Завтра они опять на четыре года, до следующей выставки, станут другими, а сегодня был их вечер, и пили они не водку, а волю, которая им в их труде постоянно мерещилась и вот пролилась на них, как хмельной и очищающий от накипи повседневности чудодейственный нектар.

Потапов вернулся домой в подавленном настроении. Выставка его оглушила, он с ужасом понял, что он, наверно, ни какой не талант, вон их сколько только в Горьком побывало, а ещё множество по всей стране живут, и каждый уверен, что он мастер и чудодей в своём ремесле. Сознать это было грустно, душа не лежала к работе, она была пуста и неприютна.

Где-то через полмесяца после поездки Потапов встретил дочку Бабая. Она его не забыла, даже обрадовалась.

— Как хорошо, что я тебя встретила, Борис! — защebetала она. — Представляешь, ты мне этой ночью приснился! Знаешь, будто мы с тобой на море, в Геленджике...

— Надеюсь, ты папе об этом не рассказала?

— Конечно, рассказала, сегодня утром, за завтраком.

— Извини, я тороплюсь, — отшатнулся он от источника повышенной опасности.

И Потапов почти в панике устремился к трамвайной остановке. Представляю, думал он, направляясь домой, дочь утром за кофе поведала отцу о своих ночных томлениях, а Бабай — сразу на заметку, у него опыт общения с мужьями дочери не самый радостный, а тут какой-то художник! Хотя и не пушкинский «Сон Татьяны», и я не медведь всё-таки, но этот бред взбалмошной безмужней бабёнки, чёрт знает, к чему может привести! Она ходит по городу и болтает, что попало, а люди и рады весь этот бред расхватать и обсосать в сплетнях.

Приехав домой, он рассказал обо всём Ольге. Та сначала рассмеялась, а потом задумалась и погрустнела. Потапов пожалел о своей несдержанности, но было уже поздно.

Потапов задержался в деревне почти до конца Ольгиной командировки. Стояла сушь, и они каждый день ездили на озеро. Это место неудержимо его влекло к себе тем, что стоило ему погрузиться в воду, как он сразу начинал ощущать необычайную лёгкость в теле, и переплывал озеро по нескольку раз подряд. Ольга в этих заплывах от него не отставала. Ей тоже нравились эти уединения, и Потапов с интересом отметил, что она стала более отзывчива на его ласки, что весьма утешало его мужское самолюбие. И всему причиной было озеро, оно досталось им, как небесный подарок, как нечасто выпадающее людям чувство полного удовлетворения жизнью, которое принято называть счастьем.

Впрочем, озеро и впрямь было небесным подарком. Как-то Потапов разговорился с учительницей географии местной школы, и та рассказала ему об озере много любопытного. Оказывается, оно появилось в результате падения метеорита этак миллион лет тому назад, и вокруг него можно наблюдать магнитные аномалии. У Матрёны Семёновны об озере было своё, поддержанное её подругами, мнение.

— Заколдованное место! Я совсем малой была, как там, чуть не до смерти, уснул наш шабёр, дедко Ульян. Тормошили его и щипали, и водой обливали, а он ничего не чувствует. Принесли его домой, он ещё три дня проспал и, наконец, очнулся, как чумной, не помнит, что с ним было. С того раза и тронулся чуток разумом наш шабёр, так-то, милай!

«А ведь она, — подумал Потапов о своей хозяйке, — думает и говорит то же самое, что её мать и более дальние во времени её предки. Жизнь вроде бы идёт, но ничего не изменяется».

Городской человек, Потапов деревенскую жизнь не понимал и не любил, ему казалось сущим наказанием каждый день видеть одни и те же лица, делать одну и ту же грязную, тяжёлую и скучную работу, это был, по его представлениям, безвыходный тупик, в котором могут жить и быть счастливыми только совершенно бесчувственные люди. На стариков и старух, которые по вечерам приходили к Ольге лечиться, он смотрел с

сожалением — последним добрым чувством, которое осталось у интеллигента к народу. Он ещё верил, что каждая человеческая жизнь должна обладать присущим только ей смыслом. У него, он считал, есть смысл жизни, у Ольги тоже, а для какой цели живут эти?..

Наступил сентябрь, посыпались на землю листья с деревьев, и Потапов стал ощущать неуютность и растущее беспокойство.

Ольга заметила это и сказала:

— Тебя здесь всё начало тяготить. Ты соскучился по работе, езжай домой.

Потапов обрадовался.

— Ты всё правильно поняла. Такое настроение у меня возникает, когда что-то зарождается во мне. Может быть, и правда мне лучше уехать?

— Поезжай, Боренька. Я скоро приеду и, возможно, с подарком.

— С каким подарком? Если твои больные будут что-нибудь навязывать, не бери, я всё на базаре куплю.

Ольга недоумённо посмотрела на мужа и звонко рассмеялась.

— Боже, какой ты догадливый! Хорошо, поезжай, обещаю, что не возьму ни каких гостинцев.

Домой Потапов не заехал, а сразу устремился в мастерскую. Дверь в неё была не заперта. Наверно, Сергей, подумал он, и не ошибся. Сосед сидел на диване, у его ног стояло блюдечко, и чёрно-белый котёнок ловко лакал из него молоко.

— Это что ещё за пассажир? — поинтересовался Потапов.

— Дуська, — заулыбался Сергей. — Дочка принесла от подружки, а у моей Светланы аллергия. Вот и пришлось его сюда принести.

— Я так понимаю, — сказал Потапов, глядя на мольберт, где, закрытая тряпкой, стояла злополучная картина с молодым Земляком. — Ты привёл мне квартирантку на бессрочное жительство.

— Ты посмотри, Борис Геннадьевич, посмотри на неё! Вот на голове чёрненький платочек, на передних лапках, груди и спине белая кофта, ниже юбка из чёрного крепдешина, на задних

лапках белые чулочки, а тут, — Сергей приподнял хвост, — обещают быть оранжевые трусики. Ну чем не красавица!

— А чем её кормить? Убирать за ней не надо?

— Неужели мы, два мужика, одну кошку не прокормим? А в ящик с песком она сама ходит. Ну как, уговорил?

— Пусть остаётся. А сам иди, некогда мне.

— Понимаю — работа, до завтра.

Потапов снял с картины тряпку, отошёл на несколько шагов и поморщился: работа была провальной от начала и до конца — и в рисунке, и в цвете. Какая лажа, подумал Борис, но ведь другие пишут Земляка, их даже хвалят, премии дают, звания присваивают. Я, видимо, до них не дотянулся.

Он снял холст и сунул его на полку. Затем сел на диван и задумался. Первоначальная часть плана, который он выработал после окончания Суриковки, была им выполнена довольно успешно. Изредка Потапов встречался со своими сокурсниками и знал, что такой творческой мастерской, как у него, не было ни у кого. Все работали в развалюхах старого жилого фонда, некоторые ютились в отгороженных фанерой закутках производственных мастерских, а у него была прекрасная студия. Светлов не обманул Потапова. Вскоре после зональной выставки в Горьком его приняли в Союз художников. Членский билет вручили на открытом партийном собрании, и вручил его, как ни странно, сам Блисталов.

Художники восприняли всё это как должное, один только Васин закусил рыжую бороду, чтобы не расхохотаться. Потапов сильно волновался и, поднимаясь на невысокую сцену, довольно нелепо споткнулся на ровном месте, чем вызвал в зале смешки и вздохи.

Блисталов крепко пожал ему руку и вручил членский билет. Потапов почувствовал, что начальство ждёт от него благодарственных слов и страшно смутился.

— Не молчи! — шепнул ему Егор Васильевич.

И Потапов нашёлся, что сказать.

— Для меня сегодня полученный билет Союза художников, наверно, один из самых ответственных моментов в моей жизни. Я буду всегда помнить, что получил его на родине Земляка...

Блисталову экспромт очень понравился, он заплодировал, за ним и почти все художники, а громче всех Васин, который встал на ноги и захлопал в ладоши со всего размаха.

— Молодец! Молодец! — кричал скульптор. — Правильно говоришь!

Выходка Васина не осталась незамеченной начальством. В конце доклада секретарь парторганизации Буровский сделал лирическое отступление и, оторвавшись от текста, рассказал в самых язвительных тонах о пьяных похождениях скульптора. Тут были и гулянки в мастерской с хоровым пением, которое было слышно на центральной улице города, и дебош в медвытрезвителе...

— Вот я вам и говорю, — вклинился в речь докладчика Блисталов. — Потеряете вы, товарищи художники, этого человека, потеряете!

Потапов не обращал внимание на то, что происходило вокруг. Мало сказать, что он был на седьмом небе от счастья, он прямо таки физически ощущал, как новенький членский билет самопроизвольно пошевеливается во внутреннем кармане пиджака, и Борис время от времени дотрагивался до него рукой, проверяя, не выскочил ли он наружу, не исчез ли каким-нибудь сверхъестественным образом от своего законного владельца.

Первые выступающие в прениях по докладу говорили сухо и уныло. Но вот к трибуне вышел Погудкин, крепко сбитый брюнет с курчавой бородкой.

— Я хочу высказать мнение тех, кого наше правление числит в начинающих и молодых художниках. Но какие мы молодые и начинающие? Все мы уже состоявшиеся живописцы, у меня, например, две зональные выставки, у Шелобанова тоже две. Странно всё выходит: у Потапова одна зональная, и через полгода он уже в союзе, а мы? Чем мы не вышли? Может наружностью? Вот я и прошу уважаемого Егора Васильевича ответить на этот вопрос.

Все притихли, это было что-то новенькое, невиданное. На скулах Турбина заиграл румянец, губы побелели.

— Я скажу, я! — к трибуне кинулся скульптор Рафиков. — Молодежь обижается, это понятно. Но из них никто не имеет

высшего художественного образования. Есть даже заочники, а это, извините, не обучение, а поцелуй на расстоянии. Есть со средним образованием. Мы, члены худсовета, это видим: у того рисунок хромает, у того композиция...

Сапронов, который окончил среднее художественное училище, не выдержал.

—Что за бред! В художнике главное не образование, а талант. Среди молодёжи есть такие, кого нужно немедленно принимать в союз. Того же Погудкина, Шелобанова. Есть и другие состоявшиеся художники. Молодёжи нужно давать дорогу. Надеюсь, я правильно говорю, товарищ Блисталов?

Выступление Сапронова было неожиданным. Заслуженный художник, первый кандидат в народные, обласканный обкомом партии живописец, взял и выкинул такой фортель. В задних рядах, где сидели молодые, раздался одобрительный шум, аплодисменты, и кто-то выкрикнул:

— У Аркадия Пластова не было высшего образования! Что, он, по-вашему, не художник?

— Это гений! — вскочил Рафиков. — Такие рождаются раз в сто-двести лет!

Лизин почувствовал, что Егора надо выручать. Он не прошёл к трибуне, а стал говорить с места.

— Как мы забывчивы и недалёковидны. Полгода назад в этом же зале состоялось отчётно-выборное собрание. Молодые, хотя некоторым из них уже за полста лет, так же напирали, требовали. Был серьёзный и честный разговор, кажется, все поняли, что званию члена Союза художников нужно соответствовать и по технике, и по художественному видению мира. Художество — это, в первую очередь, ремесло. Да, Ремесло! Это основа нашего искусства. Это поэты, вроде нашего Евдокимова, могут чирикать, что им там в голову придёт. А в изобразительном искусстве нужна школа подготовки. Рафиков прав, такие, как Пластов — редкость, это гений. А нам, грешным, нужно иметь основу. Дальше. Пусть Егор Васильевич меня извинит, но я напомним, что на всех собраниях в течение последних двенадцати лет он отказывается от поста председателя областного отделения союза. И в

последний раз отказывался, даже с собрания ушёл. Нет, догнали, упростили, выбрали. А почему? Егор Васильевич, можно сказать, турбина нашей организации, её движущая сила. Это здание, галерея Пластова, мастерские, квартиры, путёвки в дома творчества — всё это его большая работа. Да, правление союза ставит высокую творческую планку для поступления в союз. Но во всех выставках так называемые молодые участвуют, заказы имеют, зарабатывают. Правление держит в поле зрения творчество каждого даровитого художника. Вот Коля Антохин. Ему место в союзе, готов по всем статьям, но всякие семейные неурядицы, банальная пьянка... Не знаю, как насчёт Васина, а Колю мы, наверно, потеряли.

Подытожил весь этот пустопорожний трёп Блисталов. Опять в зале запылали партийные лозунги, что экономика должна быть экономной, а художники должны соответствовать политическому моменту. Не был забыт и Васин, опять прозвучало: «Потеряете вы этого человека!» Всем стало понятно, что Блисталов положил скульптора под свой идеологический микроскоп, как лягушонка, и приготовился пустить электрический ток. А Васину останется только одно — трепыхаться и бессильно взвизгивать.

Потапов проснулся от того, что его царапала и громко мяукала Дуська. Он встал с дивана и налил в блюдце молоко. Был уже поздний вечер, Борис открыл дорожную сумку, достал свёрток с едой, который ему приготовила Ольга в дорогу, вскипятил чайник, поел и после закурил, и всё время его взгляд возвращался к пустому мольберту. Так и просидел дотемна, затем включил свет и с удивлением увидел, что Дуська сидит на верхней перекладине мольберта. Это подтолкнуло Потапова, он умылся, поставил подрамник с холстом и взял уголь.

Эта ночь, последующий день и ещё ночь были в жизни Потапова единственными и неповторимыми. Не он сам, а какая-то неведомая сила водила его рукой вне зависимости от него самого. Конечно, он знал, что он пишет, к чему стремится, но

достигалось это всё не путём старательного корпения над холстом, не методом проб и ошибок, не раздумьями над тем, так ли следует написать лицо, руки, кусочек неба, а на одном дыхании, без оглядок и тягостных самооценок.

Утром его потревожил Сергей, который принёс молоко для Дуськи, которая всю ночь проспала на мольберте. Потапов послал соседа в магазин за едой для себя, затем разделся до пояса и умылся. Наскоро позавтракал и снова начал работать, без всяких примериваний и оглядок. Он чувствовал себя на вершине блаженства, что был творческий экстаз — состояние, ведомое лишь подлинным художником и недоступное обычным людям. Собственно ради этих мгновений художники терзают себя тяжёлой душевной работой, а деньги, слава никогда не смогут принести им того, что должно почитать за счастье приобщения к самому творцу. Ведь Бог был художником, ибо всё созданное им воистину прекрасно. И Потапову, его сто миллиардному отпечатку, в эти полтора суток посчастливилось ощутить в себе отсвет божественного огня творчества.

Проснулся он от звонков и стуков в дверь. С трудом протёр глаза, в мастерской было светло, будильник показывал полдень.

— Боря! Ты здесь?

Потапов открыл дверь, и Ольга бросилась ему на шею.

— Всё, приехала! А как ты? Я тебе звонила из дома, ты не отвечаешь, я испугалась.

— Я ещё и дома не был!

— А это что за прелесть!..

— Сергей удружил. Дуська.

Ольга занялась котёнком, а Потапов подошёл к холсту. Из голубовато-прозрачного озера, взбивая и вспенивая воду, к нему бежала обнажённая женщина, брызги летели не только на неё, но и на зрителя, чёрные волосы тоже двигались, жило движением тело, не покрытое ржавчиной загара, в уголках губ таилась усмешка, но глаза были темны и печальны.

Ольга сразу же узнала себя и зарделась.

— Ну, как? – нетерпеливо спросил Потапов. – Получилось?

— Мне кажется, что получилось. Но ты меня улучшил, я ведь не такая. Я просто женщина.

— А я не тебя рисовал.

— Не меня? А кого?

— Сам не знаю. Ни плана, ни замысла у меня не было. Просто подхватило меня что-то, я взял и нарисовал. Тут ещё работы много, но основа есть.

— А название картине нашёл?

— Пока нет. Само как-нибудь придёт. Сейчас мне надо остыть.

— Вот и хорошо, Боря. У меня как раз для тебя сюрприз. Даже не один, а два.

Ольга достала из сумки бутылку «Варны» и конфеты. Потапов вымыл два стакана и наполнил их вином.

— Один сюрприз вижу. А где второй?

— Сейчас. Давай чокнемся.

Потапов выпил, а Ольга поставила стакан на стол.

— Это и есть сюрприз?

— Да.

Она жалко улыбнулась, в глазах блеснули слёзы.

— Я, кажется, понесла.

Потапов сначала не понял, что сказала жена, затем вскочил с дивана, подхватил её на руки и закружил по мастерской. Они прожили вместе уже пять лет, но Ольга ещё ни разу не забеременела, что их очень огорчало и наводило на печальные размышления. И вот, наконец, это случилось. Ольга крепко прижалась к мужу и горячо прошептала:

— Это случилось на озере, в самый первый раз, когда мы приехали купаться.

Потапов осторожно посадил её на диван.

— К чёрту живопись! К дьяволу картины! Давай выпьем за новую жизнь!

— Что ты, мне нельзя.

— Извини, я не подумал. Тебе нужно беречься. Может, уйдёшь с работы?

— Нет, не нужно ничего менять. Надо жить прежней жизнью. Я привыкла всегда быть с людьми. А что делать? Лежать на диване, толстеть, дурнеть? Нет, нет! Пусть всё остаётся, как было.

Работа над картиной затянулась. Но это было не дописывание полотна, отделка деталей и штрихов, а, скорее, попытки дать цену тому, что он сделал. Одно дело — писать бесспорную вещь на заказ, там есть понятные требования, есть судьи, члены выставкома, худсовета, заказчик, художнику заданы чёткие рамки, нужно в них уложиться без потери собственного творческого лица, сдать работу, получить за неё деньги и забыть. Другое дело — своя вынянченная в душе картина. Отдавая себя целиком творческому порыву, художник так с ней срастается, что не может отшатнуться и мучается сомнениями, временами впадая, то в самопреклонение, то в панику. Трезво свою работу не видит никто из художников. Им кажется, что они показали одно, а зритель видит другое, а критик пишет совсем третье, заумное и непонятное. Но о большинстве художников в наше время, как бы они талантливы не были, и зритель, и критика помалкивают. Зритель — потому, что он готов хвалить и покупать лишь то, что ему вобьют в голову, а критик пишет по заказу. И, в конце концов, кто талантлив и велик — определяют компетентные партийные органы. Они всё знают, всё видят, всё решают. И так было всегда. Знаменитый Третьяков известен и славен как меценат и коллекционер, но и он в своё время был самым компетентным органом для русских художников. Отдадим ему должное, он был лучшим начальником над художниками во все времена русской живописи, хотя и не без заскоков и не всегда обоснованных пристрастий.

Не избежал своей участи и Потапов. Он то был в восторге от своей картины, то впадал в уныние и самоуничужение, засовывал её на стеллаж и неделями на неё не смотрел. Вконец измучавшись своими терзаниями, он пригласил к себе Васина и Евдокимова, к которым не замедлил примкнуть Сева.

— Сэкарэмарэ! — вскричал он, зайдя в мастерскую. — Наконец-то позвал. А то все говорят, запёрся, никого не пускает, работает над шедеврами! Наливай!

Гости догадывались, что Потапов позвал их не ради выпивки и поэтому Евдокимов и Васин держали себя чинно.

— Выставком в сборе, — объявил скульптор. — Ждём, что предъявит нам мастер.

Потапов раскрыл мольберт и отошёл в сторону. Он волновался, но вида не подавал, решив, что в случае неудачи попытается обратить всё в шутку, благо, что Сева был рядом, и добиться от него содействия было не трудно.

Все молчали. Васин закусил ржавую бороду, что у него всегда было признаком работы мысли, Евдокимов медленно прохаживался возле картины, а Сева, мельком взглянув на полотно, взял со столика бутылку портвейна, изучал этикетку.

— Что ж, — наконец произнёс Васин. — Приемлемо, даже очень!

— Да, да! — Сева поставил бутылку на столик. — Тихоня, тихоня, а взял и выдал. Это надо sprysнуть.

— Погоди, Сева. — Евдокимов глубоко вздохнул. — Что тут скажешь! Задело меня, да — задело, а вот чем, не знаю.

— Это живопись, настоящая живопись, — сказал Васин. — И этим всё сказано. Здесь ничего и объяснять не надо. Живопись, когда она говорит своим языком, переводить не надо. Да, Борис, удивил и обрадовал ты меня. Конечно, я скульптор, но мне-то зря хвалить тебя за что? Ну, а наши ведущие художники сначала скривятся, а потом залают. Будь готов.

— А как ты назвал работу? — спросил Евдокимов.

— Пока без названия.

— Это мы сейчас, — оживился Сева. — Невеста!

— Почему невеста? — удивился Потапов. — Я не думал о невесте, когда писал.

— Не бабарочкой же называть, — рассмеялся Евдокимов. — Мне «Невеста» нравится.

Скоро о новой работе Потапова стало известно многим. В худфонде Потапов ощущал любопытствующие взгляды, кое-кто из художников с ним заговаривал, подводил к интересующей его теме, но Потапов отмалчивался. Не выдержал искустительной болтовни вокруг картины и Лизин.

— Как, Боря, живётся-можется! — спросил он, встретив его на улице. — Зашёл бы ко мне, у меня одна работа застопорилась,

может свежим взглядом, что и увидишь. Кстати, тут в фонде все только и говорят о твоей работе. Что — действительно?

— Все работают, и я работаю, — уклончиво сказал Потапов. — Есть и новые работы, но что о них говорить.

— Это верно. Картина должна выставиться в мастерской. Спешить с показом не надо. А ты заходи, заходи...

На разговоры Потапов не обращал большого внимания, но произошло кое-что покруче, о чём он даже не ведал.

Позвонила секретарша Турбинина:

— Егор Васильевич приглашает вас немедленно прибыть в правление.

Потапов собирался проводить Ольгу в больницу, затем поработать в мастерской, но планы пришлось срочно отставить в сторону и ехать в худфонд. По дороге в центр города он пытался представить, о чём пойдёт разговор, но объяснения столь срочному вызову так и не нашёл.

В кабинете председателя правления союза художников, кроме Турбинина, были Рафиков и Буровский, крайне взволнованные и о чём-то спорившие, когда Потапов открыл дверь.

— Заходите, Борис Геннадьевич, — сказал Турбинин. — Присаживайтесь. Тут вот такое дело... Вы сегодняшнюю молодёжную газету читали?

— Знаете, я её держал в руках раза два и то по случаю.

— Хорошо! — вспыхнул Рафиков. — А материал, статьи для газеты вы предлагали?

— Нет, конечно. А в чём дело?

— Не торопитесь, узнаете, — деловито произнёс Буровский. — Может быть кто-то хотел о вас написать?

— Что обо мне писать? Вроде нечего.

— Тогда полюбопытствуйте. — Турбинин бросил через стол газету. — Ваш друг Евдокимов целую оду о вас сочинил, да ещё и с иллюстрациями. Полюбопытствуйте...

— Может быть, я потом прочитаю, — сказал Потапов, но газету взял и развернул.

Ему были посвящено более двух третей страницы. В первую очередь бросились в глаза фотографии: портрет художника с кистью у картины (когда только Сева сумел щёлкнуть!) и

репродукция «Невесты». Потапов был готов поклясться, что Сева при нём эту работу не снимал. Сама публикация была названа не без апломба: «Наш современник — художник Потапов». Евдокимов, рассказывая о художнике, не пожалел сочных слов и красок. Потапов был назван «состоявшимся мастером», «тонким колористом, владеющим безукоризненной техникой рисунка», «последователем старых мастеров русской школы живописи». Были рассуждения и общего порядка. В «Невесте» Евдокимов усмотрел «стремление подняться на высшую степень реализма, поскольку реализм это не только бытописание, похожесть, сцены труда и быта, но и стремление человека к чему-то высшему, идеальному, о чём следует всегда помнить настоящему художнику».

Потапов свернул газету и положил на стол Турбинина.

— Что вы обо всём этом думаете? — небрежно сказал Егор Васильевич.

— Писал поэт, сразу видно.

— Вы хотите сказать, — подскочил Рафиков. — Что вы о статье не знали?

— Конечно, не знал. Неудобно как-то получилось. Хвалить меня, в общем-то, не за что.

— Я считаю статью возмутительной, — веско сказал Буровский. — И это мнение всех наших коммунистов.

— Вы что, будете добиваться наказания Евдокимова? — поразился Потапов. — Написал поэт, я в этом не участвовал. Что за грех?

Он посмотрел на Турбинина, но тот помалкивал, а на лице играла усмешка.

— Что за особый реализм для Потапова, — опять подскочил Рафиков. — Высший? Да, высший... Что за бред?

— Вам нужно написать опровержение, — начал гнуть уже решённую линию Буровский. — Напишите в редакцию, что автор с вами не встречался, согласия на публикацию не получал, фотографий вы ему не давали и т.д.

— Опровержение? — Потапова передёрнуло. — Знаете, меня отец этому не учил.

— Так, так, значит — не учил, — слегка опешил Буровский.
— Егор Васильевич, предложение партбюро: обсудить статью на правлении с обязательным приглашением Потапова.

— Хорошо, мы подумаем, сказал Турбинин. — А вы свободны, Потапов.

Во дворе худфонда ему встретился Иван Петрович. Увидев его, он взмахнул рукой, в которой была зажата газета.

— Читал про тебя. Ну, этот Евдокимов — шельмец! Такую подлянку тебе устроил. Даже не знаю, Боря, как ты из этой истории выпутаешься.

— Бог ты мой! — рассердился Потапов. — Сейчас в кабинете Турбинина меня стращали, теперь вы.

— Не всё так просто. Я, конечно, верю, что ко всему этому ты не причастен, но восхвалили тебя, поэтому и ты, брат, в ответе. Понимаешь, существует правило — без ведома Егора Васильевича о художниках не писать. Лет десять назад обо мне написали без спросу, так он мне такую выволочку устроил! Вот так-то...

Редакция газеты находилась рядом с худфондом, и Потапов, обозлённый донельзя, отправился туда. Он мстительно подумал, что сейчас задаст поэту взбучку, выложит всё, но когда его окликнул Евдокимов, не сказал ни слова.

— Вот здорово, Борис, что встретились! Чувствуешь, что в сумке? Нет, конечно. А я отвальную мужикам ставлю.

— Ты что, ушёл из газеты?

— Не всё сразу, в очередь, господа! Скоро обо всём узнаешь.

Они поднялись на третий этаж, прошли по коридору, и Евдокимов без стука толкнул ногой дверь, на которой висела табличка «Редактор».

— Вот, Геннадий Семёнович, это и есть тот самый художник. Ему тоже холку намылили.

Лёвин, высокий узкоплечий человек, рокочущим баском произнёс:

— С вами — художниками и поэтами, как свяжешься, то жди беды. Вот недавно Евтушенко приезжал, мы дали подборку его стихов, так Блисталов меня чуть не изгрыз.

В кабинет просочился плюгавый мужичонка с листом бумаги в руке.

— Тебе чего, Евся?

— Вот такой заголовок пойдёт: «Хлеб — всему голова?»

— Ещё как пойдёт! Только, Евся, в последний раз. Полистай подшивку, ты эту голову, куда не попадая, съешь, аш тошно!

— Не я один, Геннадий Семёнович, — заюлил Евся. — Вон в Пензе, в Мордовии, даже в Татарии — везде: «Хлеб — всему голова».

— Это Балачан придумал, поэт из Новосибирска, сейчас он, кажется, в Омск перебрался, — сказал Евдокимов. — Ну, что, снимаемся?

— А куда пойдём?

— К Васину, он своё ателье приготовил. Сева уже там.

— Что, это серьёзно? — спросил Потапов. — Ты уволился?

Лёвин сморщился, достал сигарету и закурил.

— Меня сегодня Блисталов изнахратил. Я и так, и эдак, ни в какую! Увольный и всё!

— За что же увольнять? Евдокимов, может быть, излишне перехвалил меня, но что за беда?

— Турбинин — вот беда, даже язва! С его подачи всё и пошло.

— Не о чем тут говорить, — сказал Евдокимов. — Конечно, мужики здесь хорошие, но поэту в газете долго работать вредно. Тем более, я сам подал заявление.

Васин пребывал в привычном для себя вольготном положении: ноги на чурбане, тело поперёк дивана, в руках газета.

— Севы ещё не было? — спросил Евдокимов, доставая бутылку и закусь из сумки. — Газету почитываешь, понятно.

— А мне вот не очень понятно, — ответил Васин и поднёс газету к очкам. — Вот ты пишешь «стремление подняться на

высшую ступень реализма»..., так, дальше — «стремление человека подняться к чему-то высшему, идеальному». Объясни, что за высший реализм?

— Вот и меня Блисталов об этом допрашивал, — пробасил Лёвин.

— Дюжинный реализм, если мы сейчас просто выпьем. А если мы поднимем сии чаши для вящей славы Божьей, то это будет высший реализм, — отшутился Евдокимов.

— Ты не темни, Евдокимов! — забасил Левин. — Газету подставил, художника подвёл и всё из-за этого долбанного высшего реализма. Нет, ты уж просвети нас!

— Счас вот выпью и спою, — сказал поэт, поднимая стакан. — Спасибо этому дому, то есть газете, пойдём к другому!

— Ты уже решил, куда пойдёшь работать? — спросил Потапов.

— Думаю. Знаю куда, но пока это военная тайна. Но вернёмся к реализму, пока не к высшему, а как творческому методу. Сначала нужно договориться, что, кроме реализма, другого в искусстве нет и быть не может.

— Я не знаток в этих делах, но меня даже в высшей партшколе просвещали, что есть авангардизм, сюрреализм, у нас футуристы были, а Есенин кто? Имажинист.

— Всё это досужие выдумки, желание привлечь к себе внимание. Любое искусство имеет дело с действительностью, с реальностью. Искусство не может создать того, чего в природе нет. А раз это так, то есть только реализм.

— А «Чёрный квадрат» Малевича?

— Просто чёрный квадрат и ничего больше. Обычный реализм. В любом супермодерновом полотне всегда присутствуют цвет и линия.

— Хорошо, я с этим согласен. А в литературе? Хлебников, Бурлюк, Кручёных? Был — дыр-щур...

— Без слова литература не может существовать. И эти дыр-щур тоже реальность или осколки той же реальности. Как художник далеко ни зайдёт в творческом самоистреблении, какую заумь ни откаблучит, он всегда имеет дело с реальностью,

хотя понять это можно, узнав честный медицинский диагноз живописца или поэта.

— Пусть это так, — сказал Васин, нянча в руке стакан с вином, — но что такое высший реализм?

— И тут всё просто понять, если иметь свободную от всякой дури голову. Высший реализм, может я неудачно его так назвал, — это те произведения ума и сердца, в которых есть то, что мы называем Божьей искрой.

— Я не видел этой картины «Невеста», но у Потапова там есть это самое? — пробасил Лёвин.

— Определённо есть. Вот за это и выпьем.

Расходились по домам уже в сумерках, изрядно выпившие. Стоя на пороге мастерской, Васин вслед гостям орал:

*Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силёнку!..*

Евдокимов дошёл с Потаповым до остановки трамвая возле городских часов.

— Ты не заметил, — сказал он. — Сева так и не появился.

— В самом деле. Может дела задержали.

— Эх, Боря! Сева чувствует, что вокруг меня опасно дует, как бы ни простыть. Ты меня прости, что так получилось со статьёй.

— Не жалею о том, что было.

Его ещё ни разу не прорабатывала общественность, и поэтому Потапов не представлял, что это. Он крепко надеялся на свою непричастность к статье, тем более, что Евдокимов приходил к Турбинину, всё объяснил и, зная, что слова, сказанные один на один к делу не пришьёшь, оставил у секретарши и даже зарегистрировал своё объяснение, больше похожее на торжественную оду в честь проштрафившегося художника. Эту бумагу и зачитал Рафиков, делая паузы и усиления в самых хвалебных и полностью обеляющих Потапова местах. Затем началась проработка. Солидные художники, отцы семейств, маститые интеллигенты родины Земляка набросились на Потапова, как стая одичавших голодных собак на одинокого

прохожего. Боже мой, думал он, глядя на оравшего на него графика Мулина, у которого белые глаза так и выкатились наружу, а крашеную хной бороду он заплевал сразу, как только открыл рот. Громко лаял, как сторожевая овчарка, Буровский, заливисто, что есть силы, взбрёхивал Рафиков, что-то прорывал сквозь жёлтые прокуренные зубы Толстяков. Потапов надеялся, что в его защиту замолвит слово Лизин, но и тот усердно подтягивал остальным.

Молодого художника обвиняли в зазнайстве, в неуважении к коллективу, в попытке нечестным способом, через газету, заполучить известность, в неуплате профсоюзных взносов, припомнили неявку на субботник в честь дня рождения Земляка, и особо напирала на неблагодарность: его, нищего студента, пригласили в город, всем обеспечили, а он, такой-сякой, плюнул в чистый родник искусства, бьющий на родине Земляка.

Все усиленно проявляли своё рвение, и только Турбинин помалкивал с равнодушным видом, будто всё это его не касалось. Наконец Потапова отпустили восвояси, не дав ему даже выговора. Ошеломлённый и оглушённый тем, что на него свалилось, он вышел на улицу и направился через улицу в магазин, где выпил стакан коньяка, вышел на бульвар, который был усеян талой липовой листвой и сел на скамью. Мимо него шли люди, обременённые сумками, портфелями и своими, понятными только им, надеждами, заботами, радостями и страхами. «Надо решать: быть как жалкий скульптор, вытаскивавший из выставочного зала бюст Брежнева, или быть собой, таким, каким ты родился, — подумал Потапов. — Надо решать...»

Ольга уже вторую неделю лежала в роддоме и вот-вот должна была родить. Каждый день Потапов ходил в больницу, перезнакомился со всем персоналом, не жалел денег на конфеты и торты врачам и медсёстрам. Ему даже позволяли накоротке встретиться с женой, которая переносила свои тяготы с удивительным спокойствием и добродушием. Самое главное, сами роды её не пугали, она была уверена, что всё будет

хорошо. Так оно и вышло: всё обошлось, да не просто обошлось, Ольга родила сына, на что Потапов надеялся и ждал, но никогда об этом не говорил, чтобы не сглазить.

Он три месяца не появлялся в союзе художников, не заходил в мастерскую, полностью передоверив её и квартирантку Дуську Сергею. Стирал и гладил пелёнки, ходил в магазины за продуктами, вставал ночью, если ребёнок просыпался и начинал кричать. Им на помощь приехала мать Ольги, она сразу с порога спросила, крещён ли мальчик и заохала, запричитала, что ни дочь, ни зять об этом даже не думали. Первым делом достала из сумки икону и повесила в правом углу на кухне. Ольга изумилась: учительница истории и многолетний председатель месткома школы стала верующей и всё это случилось вскоре после выхода на пенсию. Потапов, наслушавшись тещу, тоже стал говорить, что сына надо крестить, на всякий случай, не помешает. Хватились, кого взять в крёстные отцы, и он понял, что звать ему некого. Были только Васин и Евдокимов, но скульптора он решил не приглашать, вдруг нечаянно скажет об этом, неприятность могла выйти и большая. Оставался Евдокимов, который почти ни с кем не общался из прежнего своего круга газетчиков. Он что-то поделявал в военно-техническом училище, но чем он занимался, никто не знал. Крёстную выбрала Ольга, подругу со своей работы.

Возле храма всюду были видны следы кладбищенского запустения и разрухи. Дожидаясь своей очереди для совершения обряда, Потапов прошёл вокруг него мимо могил известных людей прошлого, постоял возле памятника поэту Дмитрию Минаеву, который после отмены крепостного права с пустым и злобным рвением громил общественные язвы русской жизни. Досталось и симбирянам, к которым он вернулся, всем надоев в Петербурге своими бездарными виршами и злобствующим ко всему русскому заёмным либерализмом. В Симбирске поэта встретили неласково, на руках не носили, он умер в затрапезной избе на подгорье Свяиги, не подозревая, что советская власть зачислит его в свои богохульные святцы как предтечу победы над Россией и назовёт его именем одну из центральных улиц города.

Сам обряд крещения занял немного времени. Священник сноровисто окунул младенца в небольшую купель, скороговоркой произнёс положенную в таких случаях молитву, новокрещённый Анатолий Борисович пискнул и тут же затих, озадаченный вспышкой фотокамеры. Хотя Потапов не приглашал Севу, тот, встретив Потапова, увязался за ним, и одним свидетелем события стало больше. Сева знал всех, и священника тоже. Пока Потаповы одевали младенца, они с батюшкой шмыгнули в какую-то подсобку и через несколько минут вышли. Фотограф облизывался, а священник утирал бороду ладошкой. «Оскоромились кагором, — шепнул Евдокимов. — Честное слово, я никому не говорил, уже подходил к кладбищу, как Сева выскочил из кустов, как чёрт из табакерки». Потапов махнул рукой, не важно, мол, от всех не спрячешься.

Тёща на крестины расстаралась: на столе были и рыбные, и мясные, и овощные пироги, холодец, мясной рулет и спиртное в хрустальных графинах. Сева увивался вокруг крёстной, Ольгиной подруги, и, судя по всему, контакт между ними налаживался, «бабарочка» от рюмки коньяка и Севиных разговоров зарделась, и, конечно, он опять затанцевал, залетал по комнате, вспыхивая фотоаппаратом, вокруг незадачливой и ещё незамужней врачихи.

Известие о том, что Потапов крестил сына не осталось в тайне от тех, кто был призван надзирать и воспитывать. Где-то месяца через два состоялось совещание творческих работников родины Земляка. Писателей, художников, артистов призвали к осуждению литературного власовца Солженицина, высланного из страны. И все единодушно осуждали нобелевского лауреата, кипели негодованием и клялись в верности заветам великого Земляка.

Потапов, сидя в третьем ряду зала областной филармонии, вдруг услышал свою фамилию. Блисталов любил импровизировать, оторвавшись от текста доклада, переходя на волжский выговор, яростно жестикулируя и пуча глаза в зрительный зал. До этого он в пух и прах разносил сектантов и сразу же перешёл на тех, кто не разорвал своих связей с

церковью. Тут-то Потапов и пригодился. Блисталов обрушился на него как на отступника советского образа жизни. Одно дело, кричал он с трибуны, когда ребёнка крестил какой-нибудь колхозник, а другое — художник, боец идеологического фронта, да ещё на родине Земляка. Потапов сжался в кресле, на него стали оборачиваться, указывать пальцами — всё это было невыносимо. В какой-то миг ему захотелось вскочить и заорать на Блисталова, но силы его оставили, он опустил голову и зажал уши руками.

- 6 -

Каждый человек вступает в жизнь с надеждами на лучшее, ему кажется, что непременно исполнится всё, о чём он мечтает, к чему он стремится, и помешать этому сможет только какой-нибудь всемирный катаклизм. И Потапов не был исключением, он верил, что добьётся многого, будет известен, чтим и богат. Конечно, он догадывался, сколько ему нужно будет положить труда и здоровья, чтобы достигнуть желаемого, даже был заранее готов поступиться многим, но не случилось ничего ужасного: ни войны, ни мора, не рухнул дом вместе с ним и мастерской, катастрофа произошла весьма банально и противно. Вершителем судьбы Потапова стал не предводитель муз Аполлон, а партийный вахлак и неуч с вполне молниеносной фамилией Блисталов, поставивший на художника несмываемый штампик чуждого и опасного для общества строителей коммунизма элемента. И с этим штапиком чужака ему предстояло существовать оставшуюся половину жизни. Перспектив смыть это клеймо не было никаких. На всей одной шестой части земного шара не нашлось бы ни одного населённого пункта, где бы заклеяённому отщепенцу не напомнили об этом. Уж что-что, а гнать человека, зафлажив его как волка, подглядом и подслухом, советская власть умела и могла.

Эта неизбежная перспектива ещё не открылась Потапову во всей своей устрашающей обнажённости. Первое время он жил в состоянии оглушённости и обиды. Как же так, недоумевал

Потапов, я родился при советской власти, я другой жизни не знаю, я всё люблю в моей стране от красного флага на сельсовете, до последнего пограничного столба на Чукотке, какой же я отщепенец? Я ваш, ваш, хотелось порой закричать ему, но вряд ли из услышавших это вопль кто-нибудь поверил бы Потапову, а не побежал бы прочь, как от заразного больного.

Люди склонны радоваться чужой беде, и причина этой подленькой радости в том, что несчастье случилось не с ним, а с другим. Иногда в этом присутствует утолённая мстительность, если не повезло тому, кого до сих пор опекала фортуна. Поэтому в союзе художников нашлось немало и тех, кто с интересом ждал, каким образом Потапова будут растаптывать на правлении. Однако ничего подобного не случилось, Турбинин не стал размазывать этот случай, в чём был смысл: вряд ли стоило привлекать внимание к организации, ну, завелась одна паршивая овца среди идеологически выдержанных баранов, смазали её дёгтем и оставили в покое, до излечения.

От запаршивевшего Потапова отстранились все. При его редких появлениях в худфонде художники становились весьма занятыми и замкнутыми, у всех находилось дело, в производственном отделе женщины перестали с ним шутить и едва узнавали. О заказах на ту или иную работу его извещали по телефону, в мастерскую перестали ездить раньше весьма благожелательно настроенные члены худсовета, выполненную работу приходилось везти в худфонд. Рафиков и Лизин мельком оглядывали её и принимали, сомнений в мастеровитости Потапова пока не возникало даже у портретиста Парамонова, который в своих оценках бывал иногда ядовит. Речи о больших заработках не могло и быть, все финансовые купоны стригла головка Союза художников, но на хлеб с маслом Потапову удавалось зарабатывать без особого напряжения.

Со временем стала ясна и настоящая причина, почему «дело Потапова» спустили на тормозах. Приближались перевыборы, и свои претензии на пост председателя Союза художников родины Земляка стал явно предъявлять Сапронов. Вокруг него закучковались все недовольные Турбининым художники, и таких было немало, но решающего перевеса голосов они не

имели. Турбининская гвардия вполне бы могла победить, но Егор Васильевич решил отказаться от борьбы, и в своей обычной сдержанной манере объявил на отчётно-выборном собрании, что устал и просит его освободить от обязанностей. Это выступление, в искренность которого многие притворно поверили, позволило Сапронову взять верх. Верными Егору Васильевичу остались только его преторианцы — Рафиков, Буровский и весьма колебавшийся, но примкнувший к ним Лизин, проголосовавшие против Сапронова.

Победе Сапронова оголтело обрадовались Погудкин и все художники, бывшие вне союза. Они почему-то решили, что новый председатель правления поднимет запретительный шлагбаум, и они вступят в Союз художников. Сапронов, конечно, делал им авансы, но на проверку оказался консерватором, едва ли не более замшелым, чем Турбинин. На творчество своих приспешников он не обращал внимания, ему вполне хватало своей живописи, Сапронова интересовал только он сам, и это было нормально для художника, но для начальника областного художественного ведомства явно противопоказано. И вскоре художники сначала загрустили, затем вознегодовали. У каждого были свои проблемы: мастерская, жильё, заказы, всё это надо было рассматривать и удовлетворять, нужно было знать мнение обкома партии, постоянно крутиться на партийных совещаниях и пленумах, спокойно выслушивать идеологические бредни Блисталова, участвовать в пирушках и вести себя там соответственно должности, но не заноситься. Сапронов был импульсивен, горяч, мог резануть в глаза любому чину правду-матку, это обкомовцам мало нравилось. Они свято блюли свою кастовость, редко кого допускали в свой круг, даже по пьяни пели партийную песню: «Земляк наш такой молодой, и юный Октябрь впереди!» А Сапронов взял да и запел на банкете в честь дня рождения Блисталова романс «Средь шумного бала случайно...», и большой конфуз вышел. Не к месту обнаружил Сапронов свою интеллектуальную паршивость, и руководящие бараны шарахнулись от него в сторону.

Турбинин в это время вёл жизнь художника-отшельника, изнуря себя до умопомрачения потугами создать

художественное полотно прорывной силы и большой общественной значимости. Посредственный рисовальщик, он решил найти себя в цвете, но если рисунку ещё можно научиться, то владение цветом — это природный дар, а он или есть, или его нет. Но упорства у Турбинина было предостаточно, он приходил в мастерскую ни свет, ни заря, отключал телефон, питался только кефиром и бутербродами, по двадцать часов не отходил от мольберта, старательно писал с натуры, и некоторые его этюды были превосходны, но чего Бог не дал, того взаймы не возьмёшь. Год работы был закончен тем, чем начат: истерзанным, многократно записанным холстом, безнадёжным и унылым разочарованием. Нетрудно было возненавидеть своё ремесло, но Егор Васильевич любил живопись, как самого себя, и эти чувства, равно владевшие им, боролись между собой с бескомпромиссной страстностью и составляли стержень характера номенклатурного живописца.

Его сосед по мастерской Иван Петрович Лизин виделся за этот год с ним считанное число раз, они коротко здоровались и расходились. Лизин, в противоположность Турбинину, не унывал, старательно работал над продолжением серии картин из совхозной жизни «Корма будут», не пытался создать нечто эпохальное, писал как писалось, у него выходило всё удачно, иногда не очень, но всегда мило и душепокойно. Он слышал, как за стеной скрипит половицами Егор Васильевич, из-под дверей в его мастерскую несло табачным дымом, и понимал, что сосед опять упёрся в творческий тупик, такое с ним уже бывало, и сожалеющее вздыхал. Егор Васильевич его постоянно тиранил, даже унижал прилюдно, но более верного друга, чем Лизин, у Турбинина не было. Поэтому, узнав о сулящих перемену новостях, он нарушил запрет и открыл со своей стороны дверь в мастерскую Турбинина.

Тот лежал на диване, на столике стояла бутылка коньяка.

— Не потревожил, Егор Васильевич? — робко спросил Лизин, бросив взгляд на испорченный холст. — Извини, но тут такое дело. Вчера Сапронов объявил на правлении о своём уходе. Нароботался, значит.

— Ты какого хрена сюда припёрся! — заорал Турбинин, вскочив на ноги. — Вон, тряпка! Вон, пальто ношеное!

Испуганный Иван Петрович едва успел захлопнуть за собой дверь, как об неё вдребезги разбилась бутылка.

«Вот изверг, — улыбаясь, подумал Лизин. — Чего только от радости человек не может выкинуть!»

Смена председателя правления художников прошла без шума и пыли под недрёманным оком присутствовавшего на собрании Блисталова. Егор Васильевич никого ни в чём не упрекал, а художники дружно его хвалили, одни, конечно, погромче, другие потише, и как бы сквозь зубы. Под занавес собрания Турбинин вдруг неожиданно объявил, что правлению нужно решать застарелую проблему с молодыми. «Их у нас человек двадцать, — сказал Егор Васильевич. — Я думаю, что пора принять их в Союз всех разом, за один заход».

— А что? — встрепенулся Блисталов. — Всех, всех принять! Работы всем хватит. Авиапром строим, глубинку надо украшать. Не в каждом колхозе портреты членов политбюро имеются. Это безобразие!

Через полгода в ресторане «Волна» состоялся грандиозный банкет по случаю приёма в Союз художников двадцать новых членов, от участия в котором не отказались ни Егор Васильевич, ни члены правления. За столами царило братство и стремление к единению душ. С рюмкой коньяка к Турбинину приблизился главный оппозиционер Погудкин.

— Егор Васильевич! — торжественно произнёс. — Мы вам всем обязаны!

Они сдвинули наполненные рюмки, выпили, обнялись и троекратно расцеловались. И это была лучшая композиция, как сказал Васин, из всего, что создал за свою долгую творческую жизнь Егор Васильевич Турбинин. Нашёлся и художник, который её запечатлел. Ресторан был закрыт для посетителей, но Сева просочился в него через кухню и защёлкал фотоаппаратом направо и налево, такой улыбчивый и простодушный, что всем сразу захотелось его приветить и угостить. Сева плюхнулся на свободный, рядом с Васиным, стул, засунул камеру в кофр и радостно воскликнул:

— Наливай, сэкарэмарэ! Ты что такой хмурый? А где Потапов?

Скульптор выпил стопку, закусил бороду, затем резко выдохнул.

— Творит, наверно. Я его больше года не видел.

— Надо бы сходит к нему, может вместе?

Васин отвернулся от фотографа и засопел. Классик по воспитанию, он был недоволен всем: собой, жизнью, современным искусством, которое не горит, подобно Прометееву огню, а тлеет, как гнилушки, усеянные светляками, что остались от пожара человеческих страстей и надежд, увы, безвозвратно канувших в бездну времени.

Потапов почти год, после своего заклеяния Блисталовым на собрании творческого актива, ничего не писал для себя, сделал несколько несложных заказов для заработка, сдал их, получил деньги и постарался выкинуть из головы всё, что связано с Союзом художников. На собрания он не ходил, но его не очень и приглашали, в Союзе всегда кипели такие нешуточные страсти, и о заклеяённом художнике там на время забыли.

В квартире Потапова во всём властвовала тёща. После неприятной с ней стычки Потапов стал рано утром уходить в мастерскую и возвращаться поздно ночью. Он не пытался даже приступить к творческой работе, ощущая, что не сможет сделать даже мало-мальски правильного движения карандашом или кистью.

Наступило предзимье, по крыше и большим окнам мансарды стучал стылый дождь, в мастерской было холодно, уныло, безуютно. Потапов, в ватной куртке и валенках, часами сидел на диване, уставившись в стену. Изредка, не чаще раза в неделю, ему кто-нибудь звонил. Обычно это была Ольга, которая интересовалась, чем он занимается. Работаю, отвечал Потапов, и немногословно, одними междометиями, переговорив с женой, опять садился на диван. Хотя и не вполне он всё-таки понимал, что с ним происходит неладное и пытался разобраться, почему

им утрачен интерес к жизни, почему ему нескучно просто сидеть, ни о чём не думая, на диване, пялиться на пустую стену, няньча на коленях пёструю кошку.

На Блисталова он не таил ни зла, ни обиды. Было, правда, сначала яростное, до ослепления, возмущение несправедливостью и наглой бесцеремонностью, с которой тот пнул его под душу, но, остыв, Потапов начал понимать, что секретарь обкома партии, сам того не предполагая, сделал для него, как художника, доброе дело: протёр ему глаза, чтобы он трезво посмотрел со стороны на самого себя и решил, тому ли он поклоняется и к тому ли стремиться. Вот твоё место в строю, указал ему Блисталов, вот, жвачная особь, твоя кормушка и твоя поилка, а дальше — не смей! Не смей перечить руководящей и направляющей линии партии и моему воеводскому нраву! Со временем Потапов это промывание глаз и очищение мозгов должным образом оценит и в душе возблагодарит Блисталова, а пока он только ещё начал освобождаться от слепоты и уныния.

Когда человек растёт, он этого не замечает, вот и Потапов не понимал, что с ним происходит, почему он потерял интерес к жизни, перестал видеть и ощущать её вкус, цвет и запах. Его повергла в растерянность, а затем и в уныние, вдруг открывшаяся перед ним пустота и никчёмность своей прошлой жизни, в которой были лишь суета, погоня за призраками успеха и неудовлетворённое тщеславие. И впереди зияла пустота и беспросветность, а душу свербил одна и даже беспощадная мысль: «Ну, напишу я ещё несколько полотен, пусть даже прекрасных, ну, и что из этого?»

Утром, после долгого и затяжного ненастья, пошёл снег, который бывало всегда веселил душу Потапова, и он оживал и начинал смотреть вокруг промытым снежной белизной взглядом. На этот раз этого не случилось, загребая снег сапогами, он прошёл по пустой аллее Винновской рощи к дому, где была его мастерская, поднялся на верхний этаж, не раздеваясь, сел на диван и уставился в стену. Дуська с жалким мяуканьем потёрлась об его ноги, подошла к мольберту и

вспрыгнула наверх. Это побудило Потапова встать и подойти к распятому пустому холсту.

Может не записывать его маслом? — усмехаясь, подумал он. — Приклеить на раму табличку: «Серый квадрат», и предложить зональному выставкому. Как-то они посмотрят на эту выходку? Хотя вряд ли удивятся: наши соцреалисты — сплошь людоеды, схавают и не облизнутся.

Дуська вдруг прыгнула на пол и побежала к двери, в которую кто-то начал стучать. Потапов пошёл за ней следом, повернул ключ в замке и увидел радостно улыбавшегося Евдокимова.

— Извини, что пришёл без спросу, — сказал поэт, выставляя на стол бутылку водки, колбасу и хлеб. — Знаешь, мне сегодня пришлось в голову отпраздновать первоснежье. А ты как, всё киснешь?

— Тебе какое до этого дело? — процедил Потапов и потянулся за сигаретой.

— Э, да ты, я вижу, совсем отчаялся, что ж — с этим и поздравляю! — живо сказал Евдокимов. — Заметь, я не в насмешку это говорю, а от чистого сердца.

Он наполнил водкой стаканчики и, улыбаясь, провозгласил:

— Давай, Борис, выпьем за первый снег и твоё искреннее отчаяние!

Потапов взял свой стаканчик, пожал плечами и выпил.

— Теперь объясни мне, Петруха, — сказал он, — чему ты так возрадовался? Пусть я в отчаянье, но тебе-то какая радость от этого?

— Объясняю для непонятливых, — посерьёзnel Евдокимов. — Твоё отчаянье говорит о том, что ты стал постигать творческое одиночество. Но я лучше про себя скажу, ведь мне уже пришлось испытать такое. Так вот, написал я книжку стихов и послал в московское издательство. Через какое-то время получаю рукопись обратно, а с ней и разгромную рецензию. Меня, конечно, она как колом по голове ошарашила, и я впал в месячный загул, а когда протрезвел, то не мог без ненависти смотреть на лист бумаги. Ты сейчас хоть чистый холст на

мольберте держишь, а я сложил все свои рукописи в мешок и выбросил в мусорный контейнер.

Евдокимов замолчал, взял бутылку и наполнил стаканчики.

— Погоди, выпить успеем, — сказал Потапов. — Выкинул свои рукописи, а что дальше?

— Какое-то время гнал от себя мысли о поэзии, пялился в телевизор, но рукописи-то я выбросил, а душа осталась, вот и почувствовал, что стало завывать в ней, как ветер в печной трубе, стонать, скрестись, бормотать и нащёптывать... А у тебя, Борис, сейчас не то же самое?

Потапов задумался, нечто подобное происходило и с ним, но открываться перед Евдокимовым он не стал.

— Скучно мне стало жить, Петя, и в этом вся беда. А у тебя долго это продолжалось?

— Наверно, с полгода. Однажды проснулся ночью, а в голове готовое стихотворение, как раз о том, что со мной было.

*Угрюмо дышит ночь тревогою,
И страшно в душу заглянуть
В такую ночь рыдалось Гоголю,
И мне сегодня не уснуть*

*В такую ночь погодой бешеной
Обречена земля на слом.
И мрак, и ветер перемешаны
С хрипящим снегом и дождём.*

*В такую ночь бессильно творчество,
Над миром, немощью больным,
Царит, как деспот одиночество,
И мы его боготворим.*

*В такую ночь мир бредит страхами
Впотьмах мятущихся людей.
И жизнь стоит, как перед плахою, —
Казнящей совестью своей.*

*В такую ночь нас всех молчание
Роднит на миг между собой.
Мы слышим звуки мироздания,
Его часов урочный бой.*

— Если ты такие же стихи выбросил в мусорку, то явно сбрендил, — сказал Потапов и протянул Евдокимову ручку и лист бумаги. — Запиши мне вирши, кажется, в них что-то есть и про меня.

— Вот за это мы и вздрогнем! — поэт взял бутылку и наполнил стаканчики. — К сожалению, Боря, свои стихи, даже плохие, я не смог выбросить в мусорку, они у меня в голове.

— Тебя, видишь, что-то толкнуло, и ты ожил для поэзии, — задумчиво сказал Потапов. — А я могу просидеть в мастерской всю жизнь и не дожидаться этого.

— А ты поменьше сиди на диване, — оживился Евдокимов. — Поезжай в деревню, откуда свою «Невесту» привёз, ищи то, что тебя душевно затронет. А я не всё сказал о том, что предшествовало появлению этого стихотворения. Так вот, слушай... Может, это тебе покажется поэмой, но, клянусь, я не вру!..

— Нашему редактору газеты, ты его видел, с похмелья всегда резвые мысли приходили в голову. И вот как-то вызвал он меня, поворчал, что я мало бываю в области и послал в Майну. Я быстренько выписал командировку и на следующий день был в тамошнем райкоме комсомола. Двух часов мне хватило, чтобы наскрести материала на статейку, до вечернего пригородного поезда у меня была уйма времени, и я за час прошёл эту Майну вдоль и поперёк, пока не упёрся в лесопосадку. Делать мне там было нечего, и я уже повернул назад, как моего слуха коснулись звуки неземной волшебной музыки. Знаешь, Борис, впечатление было такое, будто меня окатило волной живой воды, я встрепенулся и устремился по дорожке сквозь заросли тополей и клёнов, и скоро вышел на стадион. Посреди пустого футбольного поля паслась пёстрая корова, а на скамейках для зрителей, блистая музыкальными инструментами, при полном параде — в смокингах и ослепительно белых рубашках — играл

государственный симфонический оркестр под управлением Эдуарда Серова. Это было необыкновенное зрелище! Я вдруг почувствовал себя зрителем, опоздавшим к началу концерта и, осторожно ступая по траве и пригнув голову, прокрался к скамейке на пустой стороне стадиона. И вот я уже сижу в необыкновенном концертном зале, стены которого тополя и клёны лесопосадки, потолок — пронзительной голубизны майское небо с белым, как люстра, облаком посередине и слушаю увертюру Россини. Хотя я не завзятый меломан, но мне доводилось бывать в лучших концертных залах Москвы и в нашем мемориале Земляка, но здесь, на футбольной поляне, где, кроме меня и беспризорной коровы никого не было, музыка великого итальянца звучала более проникновенно и возвышенно, чем среди мраморно-золочённых стен. Здесь она обрела свободу, ей вольно было исторгаться на всю округу и в небеса не для тупо дремлющих слушателей, а для себя самой, став тем самым выдохом, которым творец оживил мёртвую глину, вложил частичку своего бессмертия в человеческую плоть, дав ей надежду на грядущее бессмертие.

Я сидел на скамейке, не шелохнувшись, стараясь не спугнуть подаренное мне чудо соприкосновения с прекрасным, и когда прозвучали и растворились в сиянии бездонного неба последние аккорды увертюры, вскочил и захлопал в ладоши: «Браво! Браво! Браво!..» Маэстро Серов непринуждённо поклонился в мою сторону и взмахом своей дирижёрской палочки приподнял исполнителей со своих мест. Тут и до коровы дошло, что концерт окончился, она подняла голову от земли и протяжно-басовито, как тромбон, замычала, обмахивая себя хвостом. Она, казалось, тоже была в восторге от симфонической музыки и прогалопировала по беговой дорожке перед музыкантами, но те уже укладывали свои инструменты в футляры, и я, не выбирая пути, пробрался через лесопосадку и взойшёл на крутой взгорок. Вокруг, сколь только мог охватить мой взгляд, простиралось огромное поле зелёных хлебных всходов. Невнятные чувства овладели мной, неведомо откуда, а потом и во мне зазвучала музыка, совсем не та, которую я слушал, в ней не было совершенной гармонии, но она так захватила мою душу, что я

был готов петь и плакать... Тебе, Борис, приходилось испытывать нечто подобное?

— Не знаю, не помню, — сконфуженно пробормотал Потапов. — А что, это так важно?

— Ещё как! — воскликнул Евдокимов. — Истинное искусство как раз и состоит в способности услышать звучащую в душе музыку, будь ты живописец, поэт или композитор, и донести её отголоски людям. Вот я сейчас смотрю на твою «Невесту» и вижу, что она написана в тот момент, когда ты был охвачен именно тем, о чём я сейчас тебе говорю.

— Не знаю... Возможно... — неуверенно произнёс Потапов. — Но всё равно я не могу сказать, что слышу какую-то музыку. Как ни крути, а живописец — это, в первую очередь, ремесленник, а музыка... Не знаю...

Поэт с видимым сожалением смотрел на Потапова, ему было жаль, что он не нашёл в нём единомышленника. «Всё-таки убогий народ наши живописцы, — думал он. — Как это, не слышать звучание века и мира и считать, что ты способен создать шедевр?» Ему стало скучно и неуютно рядом с Потаповым, который всем своим понурым видом источал отчаянье и безнадёгу.

Художник не удерживал Евдокимова, но, прежде чем закрыть за ним дверь, спросил:

— Признайся, Петя, насчёт стадиона и симфонического оркестра, ты выдумал?

— Разве такое можно выдумать? — удивился Евдокимов. — Не веришь, так спроси у Серова или музыкантов. Не надо мне льстить, Потапов! Увы, мне такое выдумать не под силу.

Поэт расшевелил душу Потапова, но ненадолго, и всю зиму он продолжал пребывать в состоянии оглушённости и явной неспособности взяться за работу. Его одолевала ставшая привычной усталость и ленивая замкнутость от всего, что происходило вокруг. Это заметила Ольга и решила, что Борис чем-то болен, она потащила его, чуть ли не за руку, провериться у лучших специалистов. Но те, простукав, прослушав и

проглядев все его выделения, пришли к выводу, что Потапов практически здоров, и только кардиолог уловил шумы в сердце, но сказал об этом лишь Ольге:

— Неплохо бы вашему мужу лечь в больницу на более глубокое обследование.

Узнав об этом, Потапов возмутился и накричал на Ольгу, первый раз за всю совместную жизнь. Она заплакала, Борис тут же раскаялся и стал просить у неё прощения, но был яростно против больницы.

— Что, нет других врачей? — сказал он. — У этого старикашки в ушах шумит от ветхости, покажи меня другому врачу.

Потапов оказался прав: другие специалисты нашли, что сердце у него в норме, Ольга успокоилась, да и сам Борис верил, что он здоров, и болит у него другое, и этот недуг определить медикам не под силу.

Где-то уже близко к весне, заметив, что в мастерской нужно прибраться, он стал перебирать свои работы и наткнулся на картину Игнатьева. Холст был сильно запылён, Борис протёр его слегка влажной тряпкой и поставил к спинке стула. Теперь он глядел на него по-другому, чем в день своего приезда на родину Земляка. Игнатьев был определённо неслаб как художник и даже мастеровит, но в первый раз, привлечённый слишком уж ясным намёком — газетой «Правда», Потапов не обратил внимание на фигуру тряпичника, а сейчас увидел, что из-под смятой кепки на зрителя смотрел ощерившийся беззубым ртом небритый человек, который одной рукой протягивал мальчику деньги, а пальцы другой руки были сложены в фигу, и кому она предназначалась — предлагалось угадать зрителю.

Внезапная догадка осенила Потапова, и он, поколебавшись, набрал номер телефона Лизина.

— Здравствуй, пропащая душа! — раздался в трубке приветливый голос Ивана Петровича. — Тут недавно тобой интересовался Турбинин. Ты будешь выставяться на областной выставке?

— Пока нечего показывать, — сказал Потапов. — Ты ведь знал, Иван Петрович, Игнатьева?

— Как не знал, — голос Лизина стал посуше. — А тебя что интересует?

— Его картина у меня осталась, вот и заинтересовался, в чём ему не повезло?

— Какая у него могла быть судьба, стал писать против ветра и не устоял...

— Ветер, я так понимаю, Егор Васильевич?

— Зачем ты про него так? Он здесь ни причём, тут всё повыше решалось.

— Значит Блисталов? Или сам Бабай?

— Извини, Боря, — торопливо сказал Иван Петрович. — Мне стучат в дверь.

Потапов положил телефонную трубку, сел на диван и посмотрел на картину. «Лизин определённо дал мне понять, что Игнатьева в своё время схавали и не поперхнулись, — подумал он. — Тогда понятно, кому тряпичник кажет фигу. Но может быть, он написал самого себя?»

Большой конверт с фотографиями лежал на полке, рядом со стопкой старых эскизов. Потапов вывалил снимки на стол и стал их перебирать. Их было много — целая фотолетопись жизни покойного художника. Борис выбрал несколько фотографий, где Игнатьев был изображён в матёром возрасте, сравнил с картиной и убедился, что тряпичника живописец написал с себя. Но зачем он это сделал? Если хотел отомстить таким образом своим гонителям, то он этого не добился. Его фигу видел лишь Потапов, ни Турбинину, ни Блисталову, ни ещё кому там из партийных дуболомов этот эпатажный жест Игнатьева был неведом, да, и вряд ли, даже увидев картину, они оскорбились и, тем более, раскаялись в том, что походя растоптали талантливого человека. Потапов по своему горькому опыту знал, что делают они это с садистским наслаждением и в полной уверенности, что укрепляют советскую власть.

Но всё-таки, кому адресовал свою фигу несчастный Игнатьев? Это вопрос занимал Потапова много дней, пока его не озарило: своей последней картиной художник показал фигу всем живым, кто, после того, как он отбыл в неизвестность, остался бедовать, властвовать, блудить, лгать и замусоривать землю,

дескать, вот вам всем от меня прощальное напутствие, а я отбываю от вас туда, где нет ваших судов и пересудов, откуда вы меня не сможете вынуть, если за это дело возьмётся даже всё политбюро ЦК КПСС во главе с верным ленинцем Леонидом Ильичом Брежневым.

- 7 -

Эта зима выдалась для Потапова затяжной и сумеречной. Он продолжал бездельничать, смутно надеясь, что чёрная полоса в его жизни когда-нибудь да закончится, и перед ним забрезжит выход из творческого застоя. Хотя Потапов засиживался допоздна в мастерской, от Ольги не укрылось, что с ним продолжает твориться что-то неладное, но на её расспросы он отмалчивался, и лишь однажды, когда жена его допекла, не выдержал и вспыхнул:

— Оставь меня в покое! Деньги у тебя есть, и не мешай мне жить, как я хочу!

Ольга обиделась, прослезилась, Потапов спохватился, стал её утешать, пытался объяснить, что с ним происходит, но она приняла его душеизлияния за неловкую попытку вранья и со слезой в голосе спросила:

— У тебя появилась другая женщина?

Не успел Потапов опомниться от изумления, как на пороге появилась тёща и вопрошающе-грозно уставилась на растерянного зятя.

— Что здесь происходит? — воскликнула она. — Это дебош, я вызываю милицию!

— Мама, не надо!

— Нет, надо! — решительно сказала тёща и направилась к телефону. Ольга бросилась за ней, а Потапов, пока они вырывали друг у друга телефонную трубку, сорвав с вешалки полушубок и шапку, сумел выскочить за дверь. Не оглядываясь, он сбежал с лестницы и пошёл в мастерскую.

Уснул он поздно, всё ждал звонка от Ольги, но телефон молчал. Утром Потапов несколько раз брался за трубку, чтобы

позвонить ей на работу, но так и не решился это сделать, мешала обида — он никак не мог предположить, что тёща окажется в состоянии ни за что сдать зятя в ментовку.

Утром пришёл Сергей, принёс Дуське кулёк мелкой речной рыбёшки.

— Где ты успел так загореть? — спросил Потапов. — Возле сварки?

— Вчера на рыбалку ездил, на Красную речку, — сказал Сергей. — Конец зиме, Геннадьич, на льду загар к лицу прилипает сразу. А ты что сидишь в потёмках? Иди, прогуляйся по Винновской роще, а я в мастерской приберусь. Иди, иди! На обратном пути бутылёк прихвати, а закусь у меня мировая — жаренные судачки и, представь — сомёнок.

— А что, — подумал Потапов, — пусть приберётся, раз сам вызвался, а мне в магазин сходить надо, домой я сегодня не пойду.

Сергей уже набрал в ведро воды и взял швабру. Дуська, поджав хвост, грызла рыбы кости и искоса поглядывала на хозяина — а вдруг отберёт? Потапов обошёл её стороной, и открыл дверь.

— Тебе часа хватит?

— Иди, Борис Геннадьевич, управлюсь.

Дорожки в роще, к удивлению Потапова, были расчищены, солнце грело почти по-летнему, и от асфальта поднимался лёгкий парок. Борису стало жарковато, он распахнул полушубок, сдвинул на затылок шапку и повернулся лицом к солнцу. Невдалеке от него, в окружении рябин и лип стояла, ослепительно сияя атласной корой, раскидистая берёза. Мартовская оттепель разбудила её от зимнего сна, и с берёзовых ветвей осыпались прошлогодние серёжки, жёсткая кора внизу дерева освободилась от коросты наледи, ветви приобрели большую свободу движения и покачивались от несильного верхового ветерка. Однако это было ещё не полное пробуждение от зимней спячки, корни берёзы сковывала мёрзлая земля, но было видно, что оцепенение от морозов уже минуло, и первые, пока ещё незримые, пульсы жизни начали биться в её прекрасном нагом теле. Пройдёт ещё одна неделя, другая, и

запунцовеют концы веток и почки, и где-нибудь из еле заметной трещины в коре прольётся на вытаявшие из-под снега жухлые прошлогодние листья прозрачный, вспыхивающий от солнечных лучей алмазными брызгами, берёзовый сок. Сок жизни. День ото дня будет нарастать его напор, он достигнет самой дальней, отстранённой от ствола почки, разорвёт её жёсткую оболочку и выбросится на волю зелёным клейким листом.

Проваливаясь сапогами в крупитчатый, покрытый ледяной коркой наста, снег, Потапов подошёл к берёзе и прикоснулся к атласной коре. Она была холодна, под дуновением ветерка ствол дерева чуть слышно поскрипывал, а ветви перешёптывались, роняя старые серёжки и зимнюю чешую почек.

— Сэкэрмарэ! — раздался знакомый голос. — Глянь, Виктор Петрович, на художника: ещё десять утра, а он уже с берёзой обнимается!

Это был неугомонный Сева. В его спутнике Потапов с трудом узнал директора совхоза Грехова, с которым после отъезда из Родников он ни разу не встречался. Оба улыбались и были в лёгком подпитии.

— Вас, наверное, Сергей сюда направил? — сказал Потапов, недоумевая, зачем к нему пришли гости.

— У тебя в мастерской какой-то мужик полы моет, он и сказал, что ты где-то здесь, — Сева жестом фокусника извлёк из кофра фотоаппарат. — Виктор Петрович, встань с ним рядом, это нужно запечатлеть.

— Ты, Сева, наверное, меня разоришь: за сегодняшнее утро уже раз десять щёлкнул. Как потом с тобой рассчитываться?

— Это презент, — сказал Сева. — Раз, и готово! Теперь я пройдуся, а вы потолкуйте.

Грехов достал из кармана дублёнки пачку сигарет, они закурили, оценивающе поглядывая друг на друга.

— Собственно, тайны никакой нет, — сказал Грехов. — В этом году исполняется пятьдесят лет, как было организовано наше хозяйство. Я, признаться, проворонил эту дату, но мне об этом напомнили из обкома партии. Совхоз на хорошем счету, но дело даже не в этом. В наших Родниках угораздило родиться Роману Калистратовичу Панкратову. Слышал про такого?

— Нет, не слышал, — пожал плечами Потапов.

— Вот и я до сей поры не знал бы его, да подсказали с самого верха. Роман Калистратович — один из заместителей министра сельского хозяйства Союза. Родственников у него в селе не осталось, изба, где он родился, не сохранилась, но он вдруг воспылал чувствами к своей малой родине и вздумал её посетить не позднее июля. В обкоме партии решили, что лучшей площадкой для встречи замминистра, от которого зависит снабжение области новой сельхозтехникой, будет юбилей совхоза.

— Значит, фактически юбилея нет? — догадался Потапов.

— В обкоме сказали, что есть, значит — есть, — уклончиво сказал Грехов. — Но мне нужно к его приезду сделать в селе музей истории совхоза. Вот я прямо из обкома и кинулся к Севе, он обеспечит фотографии, а ты, Борис Геннадьевич, напиши нам несколько портретов. Оплата по договору, сколько скажешь столько и заплачу.

Потапов задумался, он после ссоры с тещей оказался без денег, шабашка была бы ему кстати, но не мешало удостовериться, что заказчик не кинет его, как лоха.

— По рукам? — сказал Грехов.

— По рукам, но сделаем договор по всей форме и дайте мне тысячу рублей аванса. — Потапов чуть помедлил и добавил, — я сейчас на мели.

— Добро, — усмехнулся Грехов. — Через неделю я буду в городе, привезу договор и деньги.

— Договорились? — Сева уже был рядом с ними. — Сергей, наверно, мастерскую вымыл, неплохо бы посмотреть твои новые работы, Борис. И Степаныч на них глянет.

— Стоп, стоп, Сева! — Грехов нетерпеливо взмахнул рукой. — У тебя командировка и деньги в кармане, сейчас я тебя подброшу до вокзала и дуй в Москву.

— Зачем тебе в Москву? — спросил Потапов.

— Ему нужно сфотографировать замминистра во всех ракурсах. Иначе, с чего ты будешь писать его ростовой портрет?

— Ростовый! — поразился Потапов.

— Да, в полный рост и со всеми орденами. Это не моя блажь, а указание сверху.

Потапов купил в магазине бутылку водки, две банки рыбных консервов, пачку пельменей, молоко, хлеб и пошёл в мастерскую. Сергей уже закончил уборку и ждал его, выставив на стол жареную рыбу и стаканчики. На вымытом крашеном полу играли солнечные пятна, поэтому Потапов разулся у входа и в носках прошёл к столу.

— Я тут без тебя, Геннадьевич, разглядываю эту картину и гадаю — твоя или не твоя работа? — сказал Сергей, показывая взглядом на холст, стоявший на мольберте. — Ты вроде так не рисуешь.

— Ты угадал, — Потапов снял картину Игнатьева и поставил её на стеллаж. Сергей уже откупорил бутылку и разлил водки в стаканчики. Борис прошёл мимо стола в угол мастерской, взял запыхавшийся этюдник, протёр его тряпкой, открыл и положил в него чистые кисти и краски.

— Стол накрыт, — объявил Сергей. — Угостись, Геннадьич, сомёнком, он помягче будет, чем судачки.

— Ты без меня гуляй, — сказал Потапов, перебирая подрамники с натянутыми на них холстами. — Если кто-нибудь станет меня спрашивать, то я в роше.

— Что ж, хозяину виднее, — сказал Сергей. — Я здесь посижу, ты не возражаешь?

— Сиди, только Дуську не спаивай, — улыбнулся Потапов.

А ведь Евдокимов прав, раздумывал он, входя в Винновскую рошу: творческая беспомощность порой овладевает каждым художником, когда кажется, что ты исписался вчистую, поглупел, ослеп и оглох, и не видишь вокруг себя ничего, что затронуло бы тебя за живое. В этом вопросе каждый умирает и выживает в одиночку, чужое сочувствие и помощь не выручат из этой безнадёги, и остаётся только одно — ждать, пока не отболеешь и не выздоровеешь. Евдокимову помог симфонический оркестр, а меня встряхнула ругань тёщи, не будь этого я не пришёл бы сюда и не увидел берёзу.

Солнце поднялось высоко и, найдя для работы подходящее место, Потапов поставил этюдник на ножки, закрепил на нём

небольшой загрунтованный колет и провёл углём первую линию наброска. Он работал увлечённо, и через пару часов этюд был закончен. Потапов отступил от него на шаг и понял, что поработал удачно. И у него сразу мелькнула мысль написать с берёзы ещё два этюда — когда она залистует и когда наступит пора листопада, пусть будет триптих: рождении, жизнь и смерть. Ему и раньше приходило на ум, что человек, как он не трепыхается в своей гордыне, обречён жить в кругу простых и банальных истин, которые он постигает с большим трудом и неохотой только тогда, когда жизнь со всего разбегу опрокинет на него несчастье. До тех пор человек, а художник особенно, в своём творчестве безмерно усложняет очевидную простоту мира, путается в нахватанных отовсюду бредовых идеях, в которых, как правило, нет ни прекрасного, ни доброго, ни вечного. Очевидная простота мира состоит в том, что всё в нём смертно, и это — единственная истина, которую надлежит знать человеку, даже верящему в жизнь вечную, ведь чтобы попасть туда, ему всё равно придётся переступить через смертный порог.

«Нужно рисовать только то, что даёт художнику умиротворение и удовольствие, — подумал Потапов. — Нужно работать себе в радость, не насиловать душу пустыми и надуманными терзаниями, не измываться над собой и своим дарованием, а я сдуру согласился написать портрет для Грехова, даже потребовал аванс и договор».

Потапов имел опыт общения с заказчиками, большинство из них, посулив заказ, на вторую встречу не приходили, но Грехов явился в мастерскую, как и обещал, ровно через неделю. Борис, открыв ему дверь, заглянул гостю через плечо и вздохнул с облегчением: Севы не было, его посещения всегда вызывали у художника смутное беспокойство, вроде и свойский парень, но что у него на уме, не разгадать.

Грехов расстегнул пузатый портфель и вынул договор.

— Прочитай и подпиши.

Потапов внимательно просмотрел все пункты соглашения и удивился:

— Речь шла об одном ростовом портрете, а тут ещё восемь поясных. Я не успею управиться к сроку.

— А ты не ленись, — хохотнул Грехов. — Или плата мала?

— Да, нет, меня устраивает.

— Так в чём же дело? — директор достал из портфеля бутылку коньяка и свёрток с закуской. — Сейчас мы это спрыснем, а с утра начинай творить.

Он вынул большой пакет и вывалил на стол кучу фотографий. Сева в Москве поработал на славу, замминистра был отснят со всех сторон: в профиль, в фас, в полуфас, со спины, сверху и снизу. Отдельно на большой фотографии был пиджак с орденами и медалями и лауреатскими значками.

— Вот держи, — сказал Грехов, протягивая Борису кусочек тёмной тряпочки.

— А это что за экспонат?

— Роман Калистратович хочет быть на портрете в костюме точно такого же качества и цвета.

— Какой дотошный! — удивился Потапов. — Ладно, это не проблема. Одну его в бостон. Может он и ботинки прислал?

— Нет, — ухмыльнулся Грехов. — А на этих фотографиях мои предшественники.

— Да, немалое поголовье вы мне подогнали, — сказал Потапов. — А почему себя обошли стороной?

— Это лишнее, — отмахнулся Грехов. — Я каждый день свой портрет, когда бреюсь, вижу и вздрагиваю.

Потапов стал складывать снимки в пакет, директор запустил руку в портфель, вынул из него пачку десятирублёвок в банковской упаковке, и вдруг зазвонил телефон. Борис вздрогнул, скорее всего, звонила Ольга, больше никому. Он, слегка побледнев от волнения, снял трубку и кашлянул.

— Как ты поживаешь? — голос жены слегка вибрировал.

— Нормально. А ты?

— А я нет! Мама вчера собралась и уехала домой. Ты хоть осознаёшь, что ты наделал?

— Я готов просить у неё прощение, — сдержанно сказал Потапов, ещё не веря своему счастью. — Может, что ещё случилось?

— Представляешь, она выходит замуж.

— Не может быть! — воскликнул, ликуя, Потапов. — А кто жених?

— Ты своего добился, — с горечью вымолвила Ольга. — Поражаюсь тебе: о женихе спросил, а сын тебя не интересует!

— Извини, Оленька, — искательно произнёс Потапов. — У меня сейчас заказчик, поговорим дома.

Грехов стоял возле мольберта и смотрел на этюд с берёзой.

— Извините, Виктор Петрович, — сказал Потапов. — Семейные заморочки.

— Понимаю, — Грехов подошёл к столу, открыл бутылку и разлил коньяк по стаканчикам. — Что ж, за успех нашего безнадёжного дела!

Закусив и вольготно раскинувшись на диване, он огляделся и вздохнул:

— Хорошая у тебя работа, Борис Геннадьевич! Ни подчинённых нет, ни начальников.

— А кто мне сейчас звонил? — сказал Потапов. — Тёща сбежала к себе домой, замуж выходит.

— Разве это горе? — рассмеялся Грехов. — Дай бог, ей счастья на многие лета! А ты, наверно, свою деньгами разбаловал, всю зарплату ей отдаёшь, ведь так?

— Почти всю, она — хозяйка.

— А вот это с твоей стороны серьёзная ошибка. К большим деньгами легко привыкнуть, а случись у тебя безденежье, и ты сразу во всём виноват. Могу своим опытом поделиться: отдавай жене среднюю зарплату по стране, сейчас она двести рублей, а остальное держи при себе. Раз или два раза в год делай ей хорошие и дорогие подарки — одежду, обувь, какую-нибудь вещь в дом, и вот увидишь — ты, как мужик, в глазах супруги будешь в настоящей цене.

На следующий день Потапов к обеденному перерыву, чтобы ненароком не столкнуться с Турбинным, поехал в худфонд: для выполнения заказа ему нужны были рамы, краски, кисти и холст. По крутой лестнице он спустился в столярку, открыл дверь цеха и чуть не попятился, увидев, что там происходит. На верстаке стояли две бутылки портвейна, на бумаге лежала горка

пирожков, а столяры, кто — присев, кто — стоя, ухватившись за животы руками, хохотали изо всех сил. Источником веселья был оформитель Кеша, сказавший что-то такое, отчего мужики не могли устоять на ногах.

— Заходи, Борис! — сказал, вытирая с глаз слёзы, столяр Бызов. — Ты как раз вовремя. Кеша нам только что похвалился книгой Брежнева «Малая земля» с дарственной надписью от Генсека.

— Что же здесь смешного? — улыбнулся Потапов. — Это же счастье, которое бывает не у каждого. А где книга?

— Комитетчики отобрали. Да ты расскажи ещё раз, как было дело, — сказал Бызов.

— Сейчас, — Кеша выпил залпом стакан портвейна, крикнул и отёр жиденькие усы ладошкой.

— Получили мы с Валеркой деньги за шабашку, накупили вина и жратвы, и, по пути в мастерскую, я заглянул в газетный киоск и, чёрт меня дёрнул, купил эту самую «Малую землю». А может от болтовни по радио и телику заразился, там ведь про героизм Леонида Ильича весь день базарят. И вот, я проснулся на следующий день, Валерка дрыхнет, а книжка на стуле лежит. Взял я её, полистал, но больше на подпись Брежнева внимание обратил. А что если, думаю, автограф изобразить? Взял и черкнул, дескать, дорожному Иннокентию от всей души, и так далее, твой Леонид Брежнев. Валерка проснулся, прочитал и разбалделся: а ну, говорит, пусть все теперь знают, какой у тебя друган в Кремле живёт. Вот весь день вчера бродили от одного пивного ларька к другому и показывали книжку, кому ни попадя. А вечером нас замели кэбэшники...

— И что теперь будет? — спросил Потапов.

Кеша пожал плечами и развёл руками.

— Ничего тебе не будет, Кеша, — сказал Бызов. — Привяжутся, говори, что пропагандировал книгу генсека в массах. Если бы ты десятку подделал, тогда верный срок, тут просто попытка сделать копию почерка, за это не судят.

— Не судят, — вздохнул Кеша. — Однако мне такого здоровенного пенделя дали, что и сейчас присесть больно.

Эта подробность, поставившая точку на вчерашних похождениях оформителя по родине Земляка, снова заставила слушателей скорчиться в судорогах хохота.

Улучив момент, Потапов отозвал Бызова в сторону и договорился с ним об изготовлении рам. Столяра заказ заинтересовал возможностью получить за работу наличкой, и он пообещал сделать рамы не более, чем в две недели.

— Тогда ты уж и привези их ко мне, — сказал Потапов. — Не хочу лишний раз светиться в фонде. За машину я расплачусь.

Он вышел из столярки и метнулся за куст акации: ему показалось, что прямо на него идёт Турбинин, но это был живописец Парамонов. Он весело посмотрел на Потапова и, не без яда в голосе, произнёс:

— Понятно, зимой бутылку в снегу спрятал, а теперь ищешь, может, вытаяла.

— Вовсе нет, Сергей Викторович, сапоги снегом очищаю.

Это происшествие испортило Потапову настроение. Пуганый заяц и пенька боится, подумалось ему. Откуда во мне такое слабодушие? Или я всегда был таким, только случая не было узнать, кто я такой на самом деле, вон, как сердце затрепыхалось, хотя, что мне Турбинин? Или так жизнь устроена, что все кого-то да боятся, но не все признаются себе в этом?

С этим неприятным чувством Потапов приступил к работе над портретом замминистра, который выполнил быстро, в четыре недели. Над остальным портретным поголовьем он не мудрствовал вовсе, написал их сухой кистью, самой распространённой среди шабашников техникой письма, позволявшей закончить каждую работу в один день.

За это время к нему два раза заезжал Грехов, портрет Романа Калистратовича ему понравился целиком и сразу, другим персонажам он посоветовал сделать поярче ордена и медали.

— А этому, что сделать поярче? — Потапов указал на портрет первого директора совхоза, которого он написал с крохотной фотографии на паспорт. — Наград у него нет, только одна лысина.

— Вот и сделай, чтобы она заблестела, — сказал Грехов. — Я вижу, ты не понимаешь, о чём я говорю, а, между прочим, это очень важно. Тот же замминистра подойдёт к портретам и сразу обратит внимание на ордена, значит, точно передовики, ветераны, лучшие люди села. Награды на то и дают, чтобы их все видели.

— А этот пусть лысиной посверкивает? — усмехнулся Потапов.

— Не дожил он до награды.

— Что, репрессировали?

— Да нет, — сказал Грехов. — Его в тот же год, как он приехал в Родники, сожгли в совхозной конторе. За что сожгли понятно, но кто это сделал так и не нашли.

Наступил июль: приближался юбилей совхоза, Потапов предавался ставшими снова привычными для него бестолковым раздумьям, куда ему плыть в своём творчестве и к какому берегу причалить, когда в его мастерской появился франтоватый субъект в бабочке, клетчатом костюме, соломенной шляпе и представился директором Родниковского дома культуры.

— Альберт Вениаминович Соловейчик, — сказал он, и простёр свой взгляд на ростовой портрет. — Так вот он, значит, каков, наш земляк и персона грата, ради которого подняли такой шум и бряк!

— Вы осторожнее с портретами, — сказал Потапов. — Холсты не порвите.

— Об этом не беспокойтесь, — заверил Соловейчик. — Я закончил институт культуры и как обращаться с предметами искусства знаю.

Пока рабочие выносили из мастерской картины, Потапов позвонил Ольге, предупредил её, что уезжает в Родники, погладил Дуську и спустился с Соловейчиком к автобусу.

— Без меня картины не развешивайте, — сказал он. — Я поеду за вами на своей машине.

Борис был неважным водителем, за это лето он выезжал из гаража всего несколько раз, поэтому поездка далась ему непросто. Он боялся встречных машин, особенно грузовиков, которые, как ему казалось, с бешеной скоростью летели прямо

на него и проскакивали мимо в каком-нибудь метре от «жигулей», обдавая гарью и пылью. Боялся Потапов и обгонов, одному водителю пришлось в голову обойти Потапова на подъёме, а тут навстречу с горы вылетел бензовоз и, запаниковав, Борис выехал на обочину и затормозил. Спокойнее он почувствовал себя, когда свернул с оживлённого большака к Родникам на просёлочную дорогу, покрытую новым ещё не разбитым асфальтом, уложенным, видимо, к юбилею совхоза.

Асфальт появился и на центральной улице Родников, но всё остальное было прежним — обочины, заросшие лопухами и бурьяном, бревенчатые дома, собаки, норовившие облаять всё, что движется, старое здание больницы, даже петух возле дома Матрёны Семёновны показался ему старым знакомцем. Когда Потапов вышел из машины, петух, растопырив перья на шее, кинулся к нему, но, не добежав, прочертил крылом по земле кривую черту и, гордо выпятившись, направился к своему гарему. Потапов рассмеялся и, поднявшись на крыльцо, стукнул несколько раз кольцом щеколды.

— Заходи, чаво стучишь! — раздался сл двора надтреснутый старушечий голос.

Матрёна Семёновна сидела на низкой скамеечке и лущила горох. За два года она ничуть не изменилась, всё такая же маленькая, плотненькая, как кадушечка, сходство с которой ей придавали жёлтые рюшки на чёрной юбке и белой кофте.

— Вы меня помните, Матрёна Семёновна? — спросил Потапов.

— Ах, ты, батюшка — свет! Как же не помнить? Тут вся деревня добром поминают жену вашу. А где она?

Потапов смутился: Ольга здесь лечила многих, ей, конечно, люди были благодарны, а он запомнился, как городской бездельник, если, конечно, запомнился.

— Она дома, работает. Сын у нас.

— Это хорошо, что Бог сына дал.

— У меня к вам дело, Матрёна Семёновна. Та комната, где мы с женой жили, не свободна? Я хотел бы остановиться у вас.

— А в ней после вас никто и не жил. Врача как не было, так и нет. Живи, сколь похощь!

Потапов вернулся к машине, достал из багажника две сумки, одну с вещами, другую с продуктами, этюдник и несколько холстов на подрамниках.

— Ты и впрямь собираешься пожить, — сказала хозяйка. — С вещами прибыл.

— Не знаю, как получится, надеюсь поработать. А тут пряники, конфеты, сахар, консервы, колбаса, — сказал Потапов. — Берите, распоряжайтесь.

Матрёна Семёновна, не чинясь, взяла продукты. Она, как многие старушки, была сладкоежкой.

— Чаёвничать будем.

Хотя в комнате никто два года не жил, в ней было чисто прибрано. Сияло белизной покрывало на кровати, из-под которого виднелся кружевной подзор простынки, занавески на окнах тоже по нижнему краю были кружевными, как и полотенце на божнице над иконой. Комната словно ждала их с Ольгой, а он приехал один, и, вздохнув, Потапов поставил сумку на пол, открыл форточку и вышел во двор.

— Ты куда это наладился? — спросила Матрёна Семёновна. — Чай готов, испей чашечку.

— Меня ждут в доме культуры, — сказал Потапов. — Нужно развесить картины, ведь у вас скоро юбилей.

— Кому и юбилей, а у нас колонка сломалась, — проворчала хозяйка. — Без воды маемся уже какой день, и никого из начальства не докричишься.

— Я скажу Грехову, — сказал, выходя со двора, Потапов.

— Скажи, скажи, может не нас, так городского человека устыдит.

По дороге в Родники Потапов обогнал совхозный автобус и, когда подъехал к дому культуры, тот уже прибыл на место, и из него выносили картины. Увидев художника, Соловейчик радостно сообщил, что все полотна целы и нужно немедленно их развесить, потому что экспозицию пожелал осмотреть первый секретарь райкома партии Раков.

Под музей была отведена большая комната на северной стороне здания, что порадовало Потапова: солнечный свет бликует на живописи и искажает цветовую гамму.

— Вот место для нашего самого главного героя, — сказал Соловейчик, указывая на пустое пространство стены, между двумя стендами.

Потапов подошёл поближе и ухмыльнулся: конечно, под стеклом всё было о нём — выдающемся уроженце Родников — фотографии с детского возраста, до огромного снимка, запечатлевшего Романа Калистратовича, слившегося в перманентном поцелуе с Леонидом Ильичём Брежневым.

— Замминистра был директором совхоза на целине, — сказал Соловейчик. — А это радостная встреча на съезде первоцелинников в Москве.

— Что же вы не заказали картину с этого снимка? Лучшей композиции самому Сурикову не придумать.

— Фотографию привезли из Москвы всего неделю назад, — виноватым тоном произнёс Соловейчик. — Портрет замминистра был уже вами написан.

На новом месте Потапову спалось приятно и долго. Проснувшись, он пошёл в баньку, побрился и, выйдя из неё, сорвал с грядки маленький упругий огурчик. За соседским забором кто-то кашлянул, Борис присмотрелся: на него в дыру смотрел вихрастый пацан.

— Ты кто, новый доктор?

— Нет, я не доктор, я — художник, — улыбнулся Потапов.

— Самый настоящий?

— А ты иди сюда, увидишь.

Пацан ловко перелез через забор и подошёл к Потапову, тот погладил его по голове и, достав из кармана блокнот и карандаш, быстро нарисовал парнишку, сидящим на заборе.

— Это же я! — восхитился пацан. — А как тебя зовут?

— Борис.

— А я Лёнька.

— Слушай, Лёнька, я сейчас на озеро поеду, хочешь, возьму с собой?

У Матрёны Семёновны с Лёнькой отношения были небезоблачными.

— Озорник! — ворчала она. — Весь горох перетоптал! Своё нет, что ли?

Озеро лежало перед ним, как большое серебряное блюдо. Вода была недвижима, в ней белокипельными стогами отражались кучевые облака. Иногда порыв невесть откуда взявшегося ветерка, как чей-то выдох, слегка морщил воду, покачивая белые и розовые бутоны кувшинок, стебли камыша и маслянисто блестящую осоку. Я здесь был счастлив с Ольгой, подумал Потапов, у нас был целый месяц счастья.

— Дядя Боря! — закричал Лёнька. — Бежим купаться!

И он побежал к воде, на ходу скидывая с себя одежду. Потапов сел на траву, закурил и задумчиво смотрел на пацана, который шумно плескался в воде.

У самого Потапова не было ни нормального детства, ни места, которое бы он мог назвать своей малой родиной. Он родился в середине войны с немцами, когда с фронта уже пришла на отца похоронка. Мать работала на руднике, в забое, и умерла вскоре от силикоза, и её он едва помнил. Воспитывал Потапова брат отца, потерявший на фронте руку. Дядька был добрым мужиком, Бориса не обижал, приохочивал его к своему ремеслу, вольному художничеству. В те годы в русской глубинке в большом ходу были картины, нарисованные на ткани масляными красками. Этот запах прочно вошёл в жизнь Потапова, он, сделав уроки, включался в работу, сначала помогал стирать большие куски обтирочного материала, которыми дядька за бутылку бормотухи разживался на руднике, затем научился грунтовать их смесью из столярного клея, мела и цинковых белил. Дядька, создавая красоту для барачных и земляночных жилищ, много не мудрил: лебедей, журавлей, лосей, оленей и прочую живность рисовал по заготовленным трафаретам. К десятому году Потапов вполне освоил нехитрую науку живописного ремесла, а дядька продавал ковры на базаре посёлка и иногда ездил по другим городкам, деревням и железнодорожным станциям. Так бы и жили они, почти припеваючи, но его угораздило жениться на весьма распутной и пьющей бабёнке, которая после недолгой борьбы с мужем, отправила Бориса в детдом, хотя ему уже исполнилось тринадцать лет.

В послевоенные годы забота о молодёжи была не показной, а реальной. Закончив в детдоме семь классов, Потапов поступил в художественно-промышленное училище. Его кормили, одевали, учили и даже давали немного денег на кино и газировку. После училища он год проработал формовщиком моделей для художественного литья на чугунолитейном заводе, выпускавшем статуэтки и узорные ограды. К тому времени Потапов уже неплохо рисовал, и главный художник завода посоветовал ему учиться дальше. Одобренный напутствием, он поступил в художественное училище по классу живописи. Три года учёбы растянулись в шесть: пришлось служить в армии. На последнем курсе Потапов был уже в числе первых студентов. Он вполне освоился в житейском плане, научился зарабатывать своим ремеслом на шабашках, у него появились деньги, съёмная комната, возможность покупать себе одежду, неплохо питаться и приобретать книги. Потом были шесть лет учёбы в институте, и всего своей профессии живописца Потапов учился одиннадцать лет.

«Я прожил полжизни перекати-полем, — думал Потапов, — даже прописка у меня, до приезда на Волгу, была всегда временной. Спросить меня, где моя родина, и я не отвечу, конечно, я — русский, у меня есть Россия, но для родины это слишком велико и малопонятно. Рудника я не помню, не хочу помнить и знать, там даже могилы мамы не осталось, карьер сожрал кладбище, кости предков отправили вместе с рудой в агломерационные печи».

Лёнька выбежал из воды и, дрожа от озноба, сел на корточки рядом с Потаповым, который, сняв рубашку, укрыл ею мальчугана.

— Что, замёрз? — улыбнулся он.

— Нисколечки, дядь Боря. Хочешь, я ещё нырну?

— Нет, брат, хватит. Давай, лучше поедем. В машине тепло.

На следующее утро Потапов проснулся рано, распахнул окно в палисадник, и белая испарина тумана потекла в комнату. По дороге, взмакивая, шли коровы на выпас, спины, бока и рога влажно блестели, не одну не было видно всю целиком из-за клубов тумана, который с верхнего края деревни сполз в низину.

В брезентовом дождевике на вороной лошадке ехал пастух, который время от времени щёлкал бичом и покрикивал на стадо.

Матрёна Семёновна была уже на ногах, кормила своё хозяйство — штук двадцать хохлаток и матёрого петуха, который, увидев Потапова, опять совершил на него скоморошное нападение.

— Топор в хозяйстве имеется? — спросил Потапов, поприветствовав хозяйку.

— Как не быть, а на что?

— Вот смотрю, у вас чурбаки не расколоты.

— Привезли сельсоветовские дрова, распилили, а коли сама. Сейчас все в поле, кого просить — нанимать?

Дрова были разнопородные: сосна, берёза, больше осина, сучковатые и комлистые. Потапов прикинул — кубов восемь, не на один день работы. Взял в руки топор, увидев это, Матрёна Семёновна обрадовалась. Сама подкатила чурбак и поставила на попа.

Колоть дрова — мужицкая работа, и сила нужна, и верный удар, и Потапова сразу охватил весёлый азарт, поленья, как посыпались из-под каждого его размашистого удара.

Матрёна Семёновна начала было укладывать поленья в поленницу, но Потапов её остановил:

— Погодите. Лёнька, иди сюда, что на заборе висишь? Горох истоптал, давай отрабатывай!

Хозяйка растопила уличную печурку, и поставила на неё большой закопчённый чайник. Белый дымок пополз, касаясь земли к забору, уткнулся в него и растёкся в зарослях малины. Лёнька, хлебнув дымку, закашлялся.

— Что перхаешь? — спросила Матрёна Семеновна. — Третьего дня с Колькой у меня на задах курили и не подавились дымом?

Лёнька, будто не слышал, схватил несколько поленьев за раз и потащил к стене сарая, где заметно прирастала поленница.

— Кто курит с детства, — сказал Потапов, — тот и на полтора метра не вырастет. А таких и в армию не берут, а кто не был в армии, того девчата не любят, вот таки дела тебе, Лёнька, предстоят в жизни.

— А мы всего один раз, сигарету на двоих.

Потапов посмотрел на присмирившего пацана, и взъерошил ему волосы.

— Поедешь со мной на озеро после обеда?

— Поеду, я уже мамке сказал, она разрешила!

На озеро Потапов взял с собой этюдник. Лёнька наплескался в воде, замёрз до посинения, прибежал, сел рядом, а Потапов одобрительно на него посмотрел и сказал:

— Вот и прекрасно, посиди так...

Он увлёкся работой, не думая, пригодится ли ему она, может быть себя увидел, три десятка лет назад, такого же продрогшего после купания в рудничном пруду. Ребятня начинала полоскаться едва лёд растает. Нырнув в ледяную воду, выскакивали из неё, как обожжённые, бросались к костру и хватали руками пламя. Потапов забыл это, но увидел Лёньку и вспомнил, как хорошо и весело ему тогда было. Вспомнил, как делал с дядькой скворечник, копал в огороде землю под картошку, округлые поросшие хвойным лесом, всегда сумрачные горы, клубы дыма и пыли над обогатительной фабрикой, несытую послевоенную жизнь. Детство, как и родину, не выбирают, а, вернее, оно и есть родина и, какое ни есть, твоя основа жизни, на нём человек строится, обосновывает себя, постоянно припадает к воспоминаниям, как к живой воде, которая вытекает из детства.

Зима в Поволжье крадётся с северов медленно, но неотступно. Сначала она спугивает с насиженных гнездовий птиц, и они, сбившись в стаи, летят вдоль Волги на юг, затем зима высылает своих первых разведчиков — зазимки, которые своим острым и колючим дыханием покрывают инеем жухлую траву и листву, заборы домов, стеклят хрупким ледком лужи и побережья рек и озёр. Иногда притворяется, что раздумала приходить, внезапно, и порой недели на три, наступает тихая и тёплая погода, об утренних морозцах нет и помину, кажется вот-вот и зацветут липы и вишни, а отава поднимется выше летней травы, просыпаются заснувшие было бабочки и мухи, но зима и

на этом обмане поставит свой белый метельный крест, придёт морозная и вьюжная, возьмёт положенное ей своё.

В смене времени года много таинственного и загадочного. Став наполовину деревенским жителем, живя в Родниках по месяцу несколько раз в год, Потапов поневоле стал ближе к природе. Конечно, он не воспринимал её так, как крестьянин, работающий на земле, его скорее можно было назвать созерцателем, но смена времён года казалось ему неразгаданной тайной. Конечно, он читал, что причина этих взаимопроникающих превращений мира кроется в астрономических закономерностях вращения Земли вокруг Солнца, но это объяснение казалось ему совсем не полным, должно быть ещё что-то важное, объясняющее это без всяких математических формул. Утверждать, что смена времени года происходит от годовичного круга Земли вокруг Солнца, размышлял Потапов, значит признать, что Земля является мёртвой в целом, а живёт только какой-то микроскопический слой на её поверхности, флора и фауна, к которой относится и сам он, Потапов. Нет, уверился он, Земля — живая вся насквозь, её пронизывают неизвестные нам токи жизни, она дышит как раз теми природными ритмами, которые мы называем весной, летом, осенью и зимой. И в этом глубинная суть смены времён года, из которых художнику своим многоцветьем, медленным и прерывистым умиранием особенно близка была осень.

В этот раз Потапов приехал в Родники не работать, а проводить осень, уходящую в зиму. Не заезжая в деревню он подъехал к озеру, вышел из машины и огляделся окрест. Было ветрено, в небе клубились серые тучки, а с западной стороны, захватывая половину горизонта поднимались громады снежных облаков. Встревоженный близкой непогодой лес гудел верхами золотоствольных сосен, над Потаповым, яростно галдя, пролетела стая ворон, и ветер пах свежим снегом.

Потапов спустился к озеру и ступил на зеленоватый прозрачный лёд. У побережья он был крепок, но середина озера вода ещё не замёрзла и дымилась, закрывая испарениями дальний берег. Потапов осторожно сделал десятка два шагов, вышел на глубину и невольно зажмурился. Слепополуденное

солнце вдруг прорвалось через затмившие уже полнеба снежные облака, отразилось в ледяном зеркале озера, и оно засверкало всеми цветами радуги, а там, где была вода, к небу поднялся световой столб. Но это чудо длилось всего несколько мгновений, облака сгустились, вокруг стало сумрачнее и холоднее, по льду, подпрыгивая, пролетел шар перекасти-поля, и опять негодуяще и тревожно зашумел лес.

Не сразу, конечно, но Потапов стал в Родниках своим человеком, но ещё в свой второй приезд он окончательно определился с творческим и жизненным выбором — жить и работать в Родниках. Совсем город он покинуть не мог: там был заработок, квартира, семья, вся эта околотворческая колготня вроде заказов и творческих выставок, на которых нужно было заявлять о себе, иначе о тебе бы весть, что могли подумать. После зональной выставке в Горьком, Потапов нигде не выставлялся, хотя выполнил довольно много работ за те последние два года, когда его основной творческой мастерской стали Родники.

Жил он у Матрёны Семёновны, летом с Ольгой и сыном, а в непогожие месяцы один. Хозяйка была им довольна, постоялец исправно платил за квартиру, помогал по хозяйству и был доброжелательным слушателем её воспоминаний о прожитом времени. Добрые отношения у него сложились и с руководством совхоза, особенно после того, как он нарисовал портреты для музея, и на часть полученных денег устроил банкет под берёзами возле озера, где все славно выпили и повеселились: руководство и передовики — механизаторы, полеводы и животноводы. Потапов потратился только на водку, остальное было от совхоза, и это мероприятие его сблизило и сдружило со всеми, от кого зависело его пребывание в деревне. После застолья ему выделили в бессрочное пользование большую комнату в доме культуры, которую он стал использовать как мастерскую.

Была ещё одна причина, заставлявшая Потапова жить в Родниках. В городе он стал ощущать иногда покалывание и тяжесть в левой стороне груди, начинало пошаливать давление,

а в деревне все болячки как рукой снимало. Исчезала и апатия, и тупость восприятия, здесь ему хорошо работалось и жилось.

Ольга относилась к двойной жизни Потапова снисходительно, всё её внимание было сосредоточено на ребёнке, которого она тетешкала и ублажала, чем только могла. Потапов пару раз попытался вмешаться, но встретил яростный отпор, поэтому оставил всё, как есть, полагая, что для воспитания сына его время ещё не пришло.

Когда Потапов въехал в деревню, на неё обрушился снег, всё вокруг за какие-то мгновенья оказалось белым. Крыши домов, верхи заборов, ветки деревьев, рыжая трава на обочинах — всё было облеплено мокрым снегом, который, крутясь, летел в лобовое стекло, застил округу, и Потапов включил фары и стеклоочиститель. У дома Матрёны Семёновны метался среди взъерошенных кур огнистый петух, пытаясь загнать свой гарем в калитку, возле которой в полушубке и резиновых сапогах стояла хозяйка.

— Наконец, приехал! — обрадовалась она. — А я всё выглядывала, будет или нет.

— Я ведь обещал, — сказал Потапов, захлопывая дверцу машины.

Матрёна Семёновна давно собиралась побывать в церкви, и Потапов, узнав об этом, вызвался свозить её в село, где сохранился единственный на сотню вёрст в округе действующий храм. Последний раз Матрёна Семёновна была на церковной службе лет десять назад, но потом ослабли ноги, и ездить на автобусе ей стало нелегко.

— Вот завтра и поедем, — сказал Потапов. — Мне и самому любопытно там побывать.

Выехали рано, ещё в утренних сумерках. Выпавший вчера снег к утру растаял, над землёй стлался белый туман, шоссе было мокрым и скользким. Матрёна Семёновна, строгая и серьёзная, в чёрном платье и чёрной плюшевой жакетке, сидела на переднем сидении и беззвучно что-то нашёптывала. Наверно, молитву Николаю Угоднику, покровителю путешественников,

подумал Потапов. Если это так, то молитва помогла, движение на шоссе было небольшим, утреннее солнце просушило асфальт, и они приехали, когда собравшиеся со всей пензенской, мордовской, чувашской и симбирской округи верующие во Христа люди ещё ждали начала службы.

Машин было несметно, многие приехали на праздник Иконы Казанской Божьей Матери ещё вчера, и Потапов с трудом нашёл место, чтобы поставить свою «шестёрку». Матрёна Семёновна взяла свою сумку с пирожками и шаньгами и пошла к храму. Потапов с виноватой улыбкой посмотрел ей вслед, он ещё не решил, что будет делать на празднике, значение которого он понимал, а сердцем не чувствовал. Но всё равно происходящее вокруг не оставляло его равнодушным. Потапов ощущал растущее внутри беспокойство, даже чувство вины. Эта бедная церковь, эти женщины, столпившиеся в храме и на паперти, не были для него чужими людьми, но что-то мешало Потапову соединиться с ними, стать таким, как они, доверчивыми и простодушными в своём стремлении к Богу.

Мне мешает моё образование, думал Потапов, я слишком много знаю такого, чего человеку знать не следует. Ещё больше мне мешает то, что я художник, ведь, если вдуматься, творчество — пагубная иллюзия соревнования с Богом, попытки в неуёмной гордыне создать свою реальность, а Творец создал всё мыслимое и немислимое, что было, есть и пребудет во все времена. Самое большее, на что способен художник, это изобразить подобие Божественному, собственно, к этому я и стремлюсь, но есть непомерные честолюбцы и гордецы, они бунтуют. И бунтует не человек, а сатана, который овладел им, и много художников, заражены им и даже находят покупателей и почитателей своих картин, ведь сатана тоже творец, только шиворот-навыворот. Художник в наше время начинает работать над картиной не с обращения к Господу, а мучимый гордыней собственного я и соблазном угодить публике, и в этом деле — сатана неутомимый помощник. А кто я есть? У этих богомольцев есть будущее, по крайней мере, они в него верят. А что я? Ну, будет у меня ещё выставки, ну, купит одно или две картины областной музей, а будущее — это просторное поле,

усыпанное цветами, где смеются весёлые люди и мчатся вскачь красные и белые кони. А меня ждёт, в лучшем случае пещерка с низким мокрым потолком, где я буду вечно ползать на карачках.

Люди вокруг храма заволновались, многие стали креститься, те, кто пришёл сюда с надеждой на исцеление, опустили на колени. Начался крестный ход. На паперти из отверстых дверей храма появилась процессия, главным и притягивающим центром которой была небольшая икона Казанской Божьей Матери. Она не блистала драгоценным убранством, её оклад был, скорее всего, медным или латунным, так же простым и бедным было облачение священника, песнопения, сопровождающие крестный ход звучали негромко, пели пять — шесть старушек, но эта непарадность тронула Потапова до глубины души. Как-то незаметно для себя он оказался в конце процессии, рука непроизвольно потянулась ко лбу, чтобы совершить крестное знамение, и в этот миг его будто ожгло: а крещён ли я?

Эта мысль заставила его остановиться, верующие, проходя мимо, с неодобрением поглядывали на Потапова, одна старушка, что-то прошепав, больно ткнула кулаком в бок, он опаматовался и отошёл в сторону. Конечно, он не был крещён, на руднике нигде поблизости церкви не было, нужно было ехать в город, но мать, занятая работой с утра до вечера без выходных, не могла этого сделать. Потом её не стало, а дядя о спасении сиротской души не озаботился.

Хотя чуда не произошло, и ни одна согнутая хворью почти до земли старушка не распрямилась, явление иконы произвело на верующих неизгладимое впечатление. Все умилились, стали общительнее и доверчивее друг к другу, образ Владычицы и Заступницы пролил на людей свет веры, начавшие колебаться, укрепились в ней, а для таких, как Потапов, это стало начальным приобщением к народному православию.

У этой иконы была своя давняя и таинственная история. Она явилась в здешних местах три века назад в водах ключа, который по сей день почитается святым и целебным, и обнаружил её простой крестьянин, которому явился во сне благовестный отрок и указал идти к роднику. Простолудин

уверовал в сон, так местная святыня была обретена на радость всем православным людям.

Со всех сторон до Потапова доносились разговоры верующих о чудесах, источником коих была икона. Когда-то в селе случился большой пожар, уже половина дворов выгорела, пламя грозило уничтожить всё селение, но вынесли Казанскую, и ветер погнал огонь прочь от целых домов, и пал на землю ливень с градом. Вспоминали и недавние случаи: одному святыня помогла излечиться от тяжёлой болезни, другому — найти близкого родственника, третьему — выйти из тюрьмы как невиновному в преступлении. Потапов вслушивался в эти благочестивые беседы с печалью и горечью, понимая, что ему уже никогда не быть таким, как эти наивные и простодушные люди.

Матрёна Семёновна вышла из храма, будто в живой воде искупалась, просветлённая и посвежевшая.

— Нужно святой воды набрать, — сказала она.

И они поехали к источнику, который находился за селом у подножия высокого холма, покрытого молодым ельником. Родник был обустроен: через деревянную трубу, окованную стальными обручами, из него изливалась струя прозрачной воды и по жёлобу стекала в неширокую речку. К источнику устремилось много народу и, отстояв очередь, Потапов налил канистру воды. Потом сам отведал святой влаги, она была действительно вкусна и обжигающе холодна. Матрёна Семёновна была довольна исполнением своего давнего желания: и в храме, может быть, последний раз в жизни побывала, и мужа, погибшего на Отечественной войне помянула, и на душе стало покойней.

- 8 -

Васин был весел и доволен: приехал покупатель, хозяин «двойки», за деревянной головой Земляка. Начальник колонии для особо опасных преступников был добродушен и, на первый взгляд, наивен. Осторожно ступая по ступенькам, спустился в

подвал, огляделся по сторонам, развёл руки в стороны и возмущённо произнёс:

— И в таких условиях вы работаете?

Васин пожал плечами.

— Так вот и приходится.

Подполковник подошёл к открытой яме с глиной, заглянул в неё.

— И глину оттуда сами достаёте?

— Достаю.

— Нет, это возмутительно! Такой уважаемый и заслуженный человек находится в невыносимых условиях. Честно скажу, у меня эски живут гораздо лучше!

— Но я ведь, пока, не эск, а простой советский человек.

— Знаете что, — сказал начальник «двойки» проникновенным голосом. — Перебирайтесь ко мне. Я вам помещение на солнечной стороне выделю, обеспечу обслугой. Пожелаете что-нибудь слепить, протянули любую руку, а глина уже на подносе. Ну, как, согласны?

— Не надо! — замотал рыжей бородой Васин. — Это вы уж лучше к нам.

Они расхохотались, довольные друг другом.

— Давай сюда пакет! — скомандовал начальник сопровождающему эску.

Появилась бутылка водки и закуска. Заключённые понесли голову на выход. Васин помахал ей вслед рукой.

— Прощай, Земляк!

После стакана водки Васин почувствовал себя превосходно. Вышел во двор, заглянул в цех, где Рафиков доводил до кондиции глиняную ростовую фигуру Земляка, прыскал на неё водой, оглаживал и прихорашивал, ожидая членов худсовета. Васин посмотрел на скульптуру, махнул рукой и пошёл в лопухи, смяв широкие листья, разлёгся на них, бесцельно глядя в небо, слушая звон, стрёкот, пощёлкивание жуков и всяких мурашей, находясь в счастливом и безмятежном состоянии человека, у которого, пока, всё в порядке со здоровьем, и в кармане приличная сумма денег. Делить имеющиеся у тебя деньги — приятное занятие, и Васин, вдыхая запах лопухов,

раскладывал их на две кучки: одна на поездку жены с ребёнком к её родителям, другая — своя, часть — на текущие расходы, часть — на сберкнижку. Долгов Васин не заводил, на себя тратил мало, гулять предпочитал за чужой счёт, что ему удавалось с поразительной лёгкостью, присущей людям, общительным и терпеливым к чужой болтовне и пьяным выходкам.

Скрипучая дверь во двор цеха побеспокоила скульптора, он привстал с лёжки, раздвинул лопухи и увидел Лизина, Мулина и Буровского, которых с распростёртыми объятиями, егозливо суетясь, встретил на пороге цеха Рафиков.

— У меня всё готово. Свет только падает плохо, надо бы с утра смотреть.

— Ерунда! — успокоил коллегу Буровский. — Мы твою руку знаем.

Васин сплюнул, встал и, шагая по лопухам и кучам гипсовых обломков, пошёл в цех.

— Вот смотрите. Трудная работа. Пришлось повозиться.

— Помнится, модель мы принимали в позапрошлом году, — сказал Мулин.

Лизин, переваливаясь с ноги на ногу, двинулся, нацепив очки, вокруг скульптуры. Весь он был само внимание и дотошность.

— Да, работа состоялась, — подытожил он, складывая очки в футляр. — Таковую фигуру как Земляк сделать непросто.

— Есть предложение одобрить, — сказал Буровский. — Я — за...

— А я — против! — раздался голос Васина. Члены худсовета в изумлении посмотрели на скульптора. Он был живописен: на ногах стоптанные полуботинки, офицерский бриджи, китель, в рыжей бороде и нечёсаной гриве волос на голове репы и мусор.

Васин отодвинул Буровского и подошёл к Земляку.

— Уши где? Где уши, я спрашиваю?

Члены худсовета недоумённо переглядывались, Рафиков был в шоке. Васин вырвал из его руки стек и вырезал на голове Земляка за ухом, ближе к затылку, полукружье.

— Вот здесь должны быть уши, а у него на щеках! — бросил стек и вышел во двор.

На выходку Васина ни члены худсовета, ни Рафиков не отреагировали, быстренько слиняли восвояси, будто тут их и не было.

Так случилось, что на следующий день в Союзе художников было собрание. О скандале вокруг ушей Земляка все помалкивали, говорили о производственных и творческих делах, как всегда, Рафиков горячился, кого-то из художников начал учить и наставлять, как нужно рисовать. Васин в благодушном настроении лёгкого подпития сидел в заднем ряду. Полученные деньги ввели его в грех вольномыслия и гордыни. Услышав, как неуч наставляет вполне нормального художника, он громко спросил через весь зал:

— Уши где? Я тебя спрашиваю, где уши?

Рафиков впал в истерику, закричал, забрызгал слюной, засучил ногами, и его пришлось выводить из зала под руки. Молодёжь расшумелась, а зрелые мастера недоумённо запереглядывались. Послышались голоса:

— Какие уши? Зачем уши? Чьи уши?

Замещавший Турбинина, уехавшего в творческую командировку, Буровский закрыл собрание и объявил, что Васин должен завтра прибыть на заседание правления.

Васин не придавал этому никакого значения и отправился обмывать попку головы Земляка в свою студию, где собрались Евдокимов, Сева, Анатолий Петрович и форматор Сагайдак, мастер на все руки: художник и чеканщик, и оформитель интерьеров.

Выпили за Земляка, посетовав, что теперь ему предстоит пребывать за колючей проволокой, перековывая убийц и извращенцев в строителей светлого будущего. Выпили за Васина, затем пили просто так и, наконец, запели:

*Да и сам я нынче
Что-то стал нестойкий,
Не дойду до дома
С дружеской попойки!..*

Пели истово, со слезой, до пота, трезвея от усердия. Когда расставались во дворе, Сагайдак сказал Васину:

— Пойдём в цех, я тебе что-то покажу.

В помещении бывшего храма было сумрачно. Вокруг со стен свисали цепи, которыми крепили модели. Обойдя фигуру завёрнутого в мокрое тряпье Земляка, Сагайдак подошёл к барельефу.

— Вот глянь, может, что увидишь.

Васин не заметил ничего. Проходная работа для кинотеатра «Художественный». Картина из учебника, пока в глине: «Орфей, играющий на лире».

— Ты на руки посмотри! — сказал Сагайдак.

И Васин увидел: на правой руке было шесть пальцев.

— Я вчера Рафикову и так, и эдак намекал на это, — сказал Сагайдак, — смотрит и не видит.

— Ты об этом ему говорил?

— Не говорил. Может, сам увидит. А скажешь — обидится.

— Не говори пока, пусть повисит с шестью пальцами.

На заседании правления Васин позволил себе непозволительное: стал огрызаться, отказался стоять, а развалился на стуле, ухмыляясь в бороду, наконец, язвительно заявил, что и сейчас в цехе висит на цепях работа Рафикова, где у Орфея шесть пальцев. Рафиков был уверен в обратном, и свершилось предсказанное в своё время Блисталовым: «Потеряете вы этого человека, потеряете».

Васина исключили из Союза художников.

Сам факт исключения был событием небывалым в истории Союза художников родины Земляка. Конечно, Буровский и компания не сами решились на такой шаг, а согласовали его с Турбиничным и Блисталовым, особенно с последним. Этот бил по головам, которые высывались из общего равнения, с точностью профессионального бильярдиста. Васин высунулся в первый раз, Блисталов его предупредил, высунулся второй раз — и получи исключением по башке.

Рафиков вперёд Васина прибежал в цех, схватил стек и срезал кисть правой руки с барельефа. Подошёл Сагайдак и с самым простодушным видом спросил:

— У вас появилось новое решение темы?

— Хочу передвинуть руку чуть дальше от тела.

— Конечно, лучше! — горячо согласился Сагайдак. — Заметно улучшается ритм работы.

Васин, лёжа на диване в своей студии, считал на потолке трещины и грустил. До него начало доходить, что исключение из Союза на правлении — далеко не шутка. Своих собратьев по ремеслу он знал: на собрании никто не вякнет в его защиту, за исключение проголосуют единогласно. В мыслях он ещё пытался хорохориться, но на душу наваливалась тяжесть. Ему было жалко потерять мастерскую, заработок, постоянную необременительную праздность существования, всё это могло рухнуть в ближайшие два-три дня.

— Ну, что лежишь? — в дверях появился сосед по мастерской Анатолий Петрович.

— А что делать-то? Ты всё сделал: руку на правлении тянул за исключение.

— Нет, ты погоди, — Анатолий Петрович спустился вниз и сел рядом с Васиным на диван. — Правление должно быть единым во мнении.

— Ты что, считаешь, что уши у Земляка на месте? — взвинтился Васин. — А шесть пальцев? Рафиков заслуженного вот-вот получит. Это же позор всем вам, что у вас скульптор — неуч!

— Но ты и меня пойми, — сказал Анатолий Петрович. — У меня на носу персональная выставка. Не могу же я ругаться с правлением. А ты не лежи, иди в Союз, проси прощения.

— Что? — Васин чуть не задохнулся от праведного гнева. — В ножки поклониться? На горюх встать? Ботинки вылизать Турбинину?

— Ну зачем ты так ершишься? Мне тоже приходится кое-чем поступаться. Такая жизнь.

Но вера в справедливость у Васина ещё не умерла. Он стал сочинять своё выступление на собрании, где хотел себя не только реабилитировать, но и уязвить своих врагов. В нём ещё жила вера, что правда сильнее всякой лжи, и стоит ей только заявить о себе, как ложь завянет и сникнет.

Своё выступление он прочитал Евдокимову, но поэт был настроен пессимистично. Его поразило, как совершенно по-

детски ведёт себя Васин, куда-то сразу подевалось его неторопливое величие ваятеля, он превратился в жалкое суетливое существо, несуразно лепечущее о таких абстрактных понятиях, как добро и справедливость.

— Ты мне напоминаешь премудрого пескаря из сказки Салтыкова-Щедрина.

— Не понял.

— Так вот, этот пескарь решил урезонить щуку и вякнул о справедливости. А та от удивления разинула хайло и ненароком проглотила премудрого пескаря.

Васин отобрал у поэта бумажку со своим выступлением, отвернулся и обиженно засопел.

— А у вас в Союзе писателей не такая же душиловка, что у нас? — зло спросил он. — Такая же! Ваш писатель, этот, начальник ваш, как его, да, Нырков, отпустил без разрешения обкома партии бороду и явился к Блисталову. А тот его почище, чем Пётр Первый обрил. «Вон! — И затопал ногами. — На глаза мне не появляйся, тоже мне, Лев Толстой!»

Собрание не состоялось, его перенесли на месяц, до приезда Турбинина. Затем отложили ещё на неделю. И Васин дрогнул, пошёл по кругу с повинной головой. Он побывал у Буровского и терпеливо снёс все поправки секретаря партбюро, затем посетил Мулина, поклонился в ножки Турбинину, переговорил с Лизиним и с десятком других художников. К Рафикову не пошёл каяться, но как-то в присутствии нескольких живописцев и графиков вполне серьёзно и громко произнёс:

— Я вам честно и от всего сердца говорю, что Рафиков — прекрасный ваятель и выдающийся скульптор современности!

Рафиков покраснел до корней волос, но последствий для Васина не было. Как-то само собой вышло, что тема исключения Васина из союза художников стала неактуальной, и о ней забыли.

Близкое открытие очередной зональной выставки побудило художников родины Земляка вспомнить, что они не только послушные исполнители социальных заказов власти, но и

творческие личности, которые имеют своё художественное видение мира и способны представить действительно ценные в художественном отношении, работы на суд зрителей и знатоков прекрасного. Уверенности в своей способности создать нечто выдающееся никто не был лишён, хотя абсолютное большинство из них были совершенно лишены способностей совершать полёты во сне и наяву, угодливо щёлкали каблуками перед Турбинным, но и они зашевелились, начали перебирать свои работы, стряхивать с них пыль, иногда даже проливали слезу умиления над холстом, написанным в молодости, когда они были чисты и наивны, и творили без оглядки на указующий перст Блисталова.

Основной просмотр работ проходил в Доме художников, но члены зонального выставкома не чинились и выезжали в мастерские, если к показу представлялось более трёх работ, и они были значительных размеров. Поколебавшись, а потом всё-таки решив ещё раз испытать судьбу, подал заявку на просмотр картин в своей мастерской и Потапов.

Для показа он отобрал пять картин, среди них была «Невеста», с которой и начались все несчастья художника. Вместе с сюжетными работами он решился представить два пейзажа, зимний и летний, написанные возле озера.

За день до приезда выставкома Потапов собрался убраться в мастерской. Он купил пачку стирального порошка, пачку соды, взял из дома старый медицинский халат и принялся за работу. До обеда мыл и протирал окна, потом пришёл Сергей и помог ему закончить уборку. Дуська всё это время с хриплым мяуканьем совершала странные выкрутасы: то ползала, то чуть ли не вставала на голову, то прыгала на стену. Потапов недоумевал, но Сергей быстро во всём разобрался:

— Эх, баба! Кота Дуська захотела!

— Что же будем делать?

— Откроем дверь, пусть идёт.

Дуська выползла на лестничную площадку и стала орать там, но постепенно вопли стихли, и Потапов о ней забыл.

— Я грибочки принёс, — сказал Сергей, вытирая полотенцем руки

Потапов улыбнулся, ему нравился это спокойный немногословный человек. Внезапно, после перерыва, громко заговорило радио:

— Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза с глубоким прискорбием извещает, что после продолжительной и тяжёлой болезни скончался выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства, секретарь ЦК КПСС, член политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов...

Сергей повесил полотенце на гвоздь и сказал:

— Ну вот, началось...

— Что началось? — не понял Потапов.

— Не вечные же они, тоже ведь люди.

— Это точно, — сказал Потапов, — потеряли мы Земляка номер два.

— Помянем, что ли, — предложил Сергей.

Они наполнили бокальчики, не чокаясь, выпили, закусили грибочками.

— Что ж — теперь следующего ждать? — задумчиво произнёс Потапов.

— Это не заржавеет, посыпятся один за другим.

На лестничной площадке противно, в разноголосицу, заорали кошки. Потапов побежал спасать Дуську. Но она была жива и спокойно сидела на ящике для картошки, с интересом взирая на двух котов, которые яростно орали друг на друга.

— Забери, Сергей, Дуську, куда-нибудь, — попросил Потапов соседа. — У меня завтра выставком.

— Это можно. Я её в своём гараже запру, пусть помёрзнет.

— Я рубашку выгладила, — сказала Ольга. — Ты какой галстук наденешь?

— Зачем мне галстук, — Борис обнял и поцеловал жену. — День, конечно, для меня значительный, но я ведь не в театр иду, а в мастерскую.

Подбежал сын, и Потапов, подхватив его на руки, стал подбрасывать к потолку.

— Хватит, Боря, уронишь.

— Я тебе позвоню, — сказала Ольга, провожая его до двери.

— Знаешь, я так за тебя волнуюсь!

В мастерской Потапов осмотрелся и остался доволен: ни паутины по углам, ни пятен от краски на раковине под краном, пол выметен, окна протёрты.

Картины к показу были подготовлены, к каждой он подобрал нужную раму, отлично зная, что достойное обрамление дополняет живопись, делает работу завершённой. Потапов, не торопясь, повесил картины на стену, отошёл, окинул их взглядом, решил, что света маловато, включил люстры.

— Да, — оценил он, — сейчас нормально.

Потапов сел на диван, ему нездоровилось: вчера они с Сергеем крепко помянули Земляка номер два, и сейчас побаливало сердце, а в голове неприятно звякало и гудело. Он достал таблетку валидола и положил под язык. Потапов не ждал от выставкома аплодисментов, вполне возможно, что его работы не понравятся, но какая-то надежда, что его оценят, оставалась и тлела, как уголёк под пеплом.

Наконец, в дверь позвонили. Официальный выставком весьма обширен, в нём задействовано много художников, имеющих звания и громкие имена, но в каждую область выезжали не более двух членов, и этого вполне хватало для того, чтобы охватить всё Поволжье одним махом.

— Так, так, прекрасно! — сочным баритоном произнёс Аристарх Самсонов, известный художник и друг Турбинина. — Мы уже сегодня в пятой мастерской, и я, Егор Васильевич, не перестаю поражаться в каких замечательных условиях работают ваши художники. У меня мастерская едва ли лучше этой.

Турбинин в ответ улыбнулся и развёл руками, мол, стараемся.

— И хозяин мастерской молод, — Самсонов достал из кармана дорогую трубку и закурил. — Да, кстати, сколько вам лет?

— Сорок, — ответил удивлённый вопросом столичного мэтра Потапов.

— Это не возраст! — воскликнул Самсонов. — Как вы считаете, Луиза Ивановна?

Второй член худсовета, доктор искусствоведения, умело отштукатуренная дама, была в возрасте, который можно назвать неопределённым.

— В эти годы и начинается возмужание художника, — ответила она и достала из сумочки круглую пластмассовую коробочку.

— Ну-с, начнём, — произнёс Самсонов и повернулся к стене, на которой были развешаны картины. — Начнём, пожалуй, с этой.

Тяжело ступая, он подошёл к «Невесте». Смотрел, что-то жевал губами, сосал трубку, выпуская клубы дыма.

Луиза Ивановна не ограничилась осмотром со стороны, раскрыла свою коробочку, вынула оттуда большую лупу и прилипла к холсту.

— Хорошая живопись, крепкая! — сказал Самсонов. — Но... Если б вы знали, молодой человек, как мне неприятно говорить это «но». Я, лично, не знаю ни одного музея, ни одной картинной галереи, где бы согласись принять вашу... кхе, кхе, «Невесту». Слишком смело, эротично, знаете ли... Вы согласны, Луиза Ивановна?

— Да! — воскликнула искусствоведка, отлипая от картины. — Слишком смело, вряд ли поймут.

Потапова такая оценка не удивила, он был заранее готов к тому, что «Невеста» на зону не пройдёт.

— Что тут у нас... — Самсонов занялся «Оратаем». — Я ведь деревенщик, эта тема мне близка. А вы откуда родом?

— С Урала, шахтный посёлок.

— Оно и видно, — довольно пропел Самсонов. — Я деревню знаю, я в кирзовых сапогах за десять вёрст по грязи в школу ходил.

Луиза Ивановна сморщила нос, картина ей явно не понравилась.

— Орадай! — продолжил монолог Самсонов. — Пахарь! Ответственность какая! Здесь и живопись будет послабее, чем в «Невесте», но, сколько намёков, аллюзий...

— Позвольте! — вспыхнула Луиза Ивановна. — Может быть, автор нас разыгрывает. Егор Васильевич, у Дягилева ведь есть работа «Микула Селянинович?»

— Есть, очень хорошая работа, — ответил Турбинин. — Она на многих выставках была.

— Вы хотите сказать, Луиза Ивановна, — задумчиво произнёс Самсонов, — что здесь мы видим попытку повторить картину Дягилева?

— Никого я не хотел повторять! — хрипло произнёс Потапов. — Я и работы этой не видел.

— Хорошо, — спокойно сказал Самсонов. — А что за трактор без колеса? Старик пашет, а трактор сломался?

В это момент раздался дверной звонок. Потапов открыл дверь, на площадке стоял Сергей. В руках он держал Дуську.

— Ах, чёрт, на тебе лица нет! — испугался он.

— Ерунда, — сказал Потапов, забирая кошку. — Подожди, они скоро уйдут.

Члены выставкома стояли рядом с Турбининым и тихо разговаривали.

— Что ж, подведём итоги, — важно произнёс Самсонов, постукивая трубкой по столу. — Мы тут без вас обменялись мнениями и пришли к однозначному выводу: принять на «Большую Волгу» осенний пейзаж, как это, да «Родниковские сосны». Запишите, Луиза Ивановна.

— А как эта работа, «Замёрзли»? Пацаны возле костра?..

— Знаете, всё это неактуально. Да и цвет, синего много, безжизненно всё как-то.

Потапов сел на диван и закрыл голову руками. Им овладело бессилие, решение членов выставкома его так оглушило, что он впал в прострацию.

— Вы нас будете провожать? — донёсся до него как будто издали голос Турбинина.

— Идите вы все к чёрту! — тихо сказал он.

Потапов почувствовал, что на него наваливается что-то тяжёлое, но попытался привстать, судорожно вздохнул и почувствовал острую, жгучую боль за грудиной, на ладонь ниже

кадыка. Попробовал снова встать, но не смог и повалился на диван.

Резко зазвонил телефон. «Ольга звонит, — подумал Потапов, — а я рукой пошевелить не могу...»

Потапову повезло. Его спас Сергей, который позвонил в «скорую помощь». Медики, к счастью, приехали быстро, врач осмотрел Потапова и вызвал кардиологическую бригаду.

Две недели Потапов провёл в реанимации с грозным диагнозом: обширный инфаркт миокарда. Затем его перевели в общую палату, разрешили с большой осторожностью и ненадолго вставать с кровати, и стали допускать посетителей. Ольга в эти дни почти всегда была рядом с мужем, на работе ей дали отпуск без содержания. В Союзе художников болезнь Потапова осталась почти незамеченной, но его не забыли, пришёл Васин и передал ему конверт с деньгами от месткома. Потапов заглянул в него, достал десять рублей и протянул Васину.

— Выпей за моё здоровье.

— Это можно, — сказал Васин. — А ты говори, что надо, я помогу, если смогу.

— Какая от скульптора может быть помощь? — Потапов улыбнулся. — Только памятник на могилу.

— Это подождёт, подождёт. А вот голову твою я лепану, ты только выздоравливай.

— Как у тебя в союзе? Извини, я не знал, что на тебя такую бочку накатали. В деревне был.

— А, ерунда! Пожевали, да и выплюнули!

Ночью он почти не спал. Больница жила своей жизнью: кого-то везли на операцию, кого-то с операции, в коридоре ставили раскладушки и укладывали тех, кому не хватило места в палатах, кто-то стонал и метался в бреду, а возле медпоста медсестры обсуждали новые модели обуви.

Потапов лежал и смотрел в окно, где ломаясь в оледеневшем стекле, пульсировала, как сердце, далёкая звезда. Её свет напоминал ему о чём-то далёком, пережитом им давным-давно,

причём напоминание это не укладывалось в слова. Он вдруг почувствовал запах июльского знойного леса, услышал треск гнилых сучьев под ногами, горький вкус осинового листа. Это было даже не воспоминание, а дуновение прошлого, утраченного памятью, но ещё жившего в чувствах, которые теперь вымывали из своей глубины нечёткие воспоминания и образы.

В конце февраля к нему пришёл Евдокимов.

— Как лирическая пашенка, не заросла бурьяном? — спросил Потапов, обрадованный появлением поэта.

— Должен признаться: не до стихов. В Москву ездил.

— Живут же люди! Что, опять книжку проталкиваешь?

— Нет, брат. Для Минобороны кое-что написал. Всякие согласования: генштаб, цензура, кадры.

— Высоко ты, Петя, взлетел. Не страшно?

— Ты знаешь, нет. Меня бы тут Блисталов размазал, а непобедимая и легендарная хранит, как Боевое Знамя. У меня в помощниках полковник и капитан первого ранга.

— Выдумщик ты, Петя.

— Запомни, я никогда не вру, за это меня вояки и ценят. И не болтаю о том, что знаю.

Евдокимов расстегнул портфель и достал книгу в твёрдом переплёте.

— Вот, «Служба горячего Советских Вооружённых Сил». Возьми на память. Я там автограф поставил. Ну, а ты как?

— Нормально. Я вот стихи твои вспомнил. Как раз для меня.

*Мы все надеемся на чудо,
Когда закончатся года.
Но никаких вестей оттуда
Не поступает к нам сюда.*

Вот это точно, никаких вестей оттуда. Нет, ты не думай, что я раскис, совсем нет! Я стал смотреть на мир трезво, по молодости в какую только чепуху не верил, пьянел от надежд, а сейчас я трезв, совершенно трезв. И полностью с тобой согласен — никаких вестей оттуда!

— Да, это проблема номер один. Хоть бы письмецо оттуда, хотя бы строчка! Но, как говорится, — в ответ тишина. Знаешь, Потапов, раз нет вестей оттуда, то любой из нас в момент может исчезнуть без всякой надежды отбить оттуда жене телеграмму и сообщить, что живётся ему лучше, чем на земле, а она должна отдать забытый им пьяный долг соседу...

— Но праведники спасутся, им-то рай гарантирован, — сказал Потапов. — Этому многие люди верят, а значит и в Бога!

Евдокимов вздохнул и с жалостью посмотрел на Потапова.

— Заметь, я не утверждаю, что Бога нет. Но я не могу отвернуться от очевидного: доказательства бытия Божьего есть, доказательства существования рая нет. Конечно, вера — великое дело, но в какую ерунду только не верило человечество за все времена своего существования! Возьмём нам близкое. Сотни миллионов людей на земле верят в коммунизм, но нет никаких доказательств, что он осуществим, кроме трепотни штатных идеологов. Вести о коммунизме доходят до обывателей отсюда, а не оттуда, из светлого будущего.

— А ведь ты что-то не отвечаешь, — улыбнулся Потапов. — Что делать человеку, если нет вестей оттуда?

— Указаний, что делать, много и без моих. Я верю в чудо, только вот в какое, честное слово, не знаю, но чудо обязательно произойдёт.

— Какой оптимизм, — Потапов бросил в рот таблетку нитроглицерина. — Я не жду чуда, да и времени не хватит.

Евдокимов спохватился, что зря он расстроил приятеля пустой болтовнёй.

— Ты ешь ананас, Боря, — сказал он. — Мы в Москве ими закусывали.

— Спасибо, после. Знаешь, — задумчиво произнёс Потапов. — Я в последнее время об одном думаю: пора подводить итоги. Ещё один инфаркт я не перенесу. Как-то на днях приснился мне Игнатьев. Я же его не знал, но я понял, что это он. Чем не весть оттуда? Будто в мастерской стою возле мольберта, работаю над портретом, но человека не знаю: узкое худое лицо, усы, бородка полоской на подбородке, а на лбу бородавка, из которой кустиком растут три жёстких волоса. И вдруг слышу: «Сними

свою мазню, дай поработать». Оборачиваюсь, стоит худой мужчина и в руке держит картину. По ней я и понял, что это Игнатьев. Картину ты не знаешь, я её сохранил, остальные работы выбросили. Нарисована лошадь, телега, на ней старые газеты, металлом, тряпки и старьёвщик, рядом два пацана, один шар надувает, у другого он лопнул. Поставил Игнатьев картину, начал рыться в кистях и красках. Я думаю, как же так, ведь Игнатьев умер, а он будто прочитал мои мысли и говорит, что он живее всех живых, как сам Земляк. Взял кисть и бросил. Тут сон и кончился.

Потапова выписали из больницы в начале марта. Как Ольга его не отговаривала, он утром следующего дня пошёл в мастерскую. На улице было сыро, с крыш домов капала вода, иногда по желобу водостока с шумом обрушивались комья льда. Потапов пересёк улицу и вошёл в Винновскую рощу, радуясь первым приметам весны. Снег между деревьями потемнел и осел, почки деревьев запунцовели, в луже, отражавшей как зеркало лучи солнца, плескался и ворковал голубь. Потапов остановился и прислушался. Его внимание привлекли своеобразные поскрипывающие звуки, доносившиеся из зарослей вишни. Он подошёл поближе и увидел снегиря, тот сидел на ветке, пылая алым нагрудником, и самозабвенно пел свою птичью осанну мартовскому солнцу. Его песня была безыскусна, в ней не было залихватских трелей и коленцев, но это был первый гимн пробуждающейся природе.

По главной аллее проехал, чихая и дымя, колёсный трактор, волоча за собой компрессор. Потапов пошёл за ним следом и остановился. Его берёзы не было. От компрессора волокни к тому месту, где она росла, шланги и отбойный молоток.

— А где берёза? — растерянно спросил Потапов. — Здесь же берёза была.

— Спилили! — недовольно ответил рабочий. — А тебе чево надо?

Потапов, утопая в снежной жиже, побрёл к берёзовому пню. Берёзу спилили всего несколько дней назад, но лишённые ствола и ветвей корни не собирались умирать, на срезе пня пузырилась

розовая пена. Он достал из кармана коробочку с нитроглицерином, вынул из неё таблетку и положил под язык. На мокром снегу лежали обрубленные со ствола ветки. Потапов взял одну из них и, сутулясь, пошёл в мастерскую.

Раньше он одним махом забегал на свой этаж. Сегодня ему пришлось идти медленно и размеренно, останавливаясь на каждой лестничной площадке, чтобы успокоить дыхание.

В мастерской на стуле сидел Сергей и вязал рыболовную сеть, одна уже готовая снасть, оснащённая грузилами и поплавками, была переброшена через мольберт.

— Извини, Геннадьич, — виновато сказал Сергей, сматывая сетку, — я не знал, что ты выписался. У меня дома негде вязать, всем мешаю.

— Ничего страшного, работай, когда меня нет. Как живёшь — можешь?

— На рыбалку с братом ездили. Видишь, как загорел?

— Вижу. А где Дуська?

— Не расстраивайся только: пропала Дуська, когда тебя на скорой увезли.

— Напугали медики.

— Да нет, она на следующий день ещё была в мастерской, а больше я её не видел. Я виноват. Приходила соседка, попросила лампочку вкрутить. Я вышел, а дверь на ключ не закрыл... А хочешь, я тебе котёнка принесу?

— Не надо, — сказал Потапов. — Ты, Сергей, сделай мне четыре ящика из хороших досок, под картины, прочные ящики, чтобы хранить и перевозить в них было можно. Вот тут в бумажке размеры и деньги, должно хватить. И не тни с ящиками.

Сергей пересчитал деньги, согласно кивнул и спросил:

— Поездом будешь отправлять картины, или самолётом?

Потапов вздохнул.

— Как получится. От меня это не зависит.

Сергей ушёл, а Потапов лёг на диван и закрыл глаза.

Подводить итоги жизни, когда тебе всего сорок лет, и ты рассчитывал прожить, по крайней мере, ещё полстолька — занятие не из лёгких. И хотя Потапов за три месяца вроде бы

свыкся с тем, что сейчас живёт в кредит, за который платить ему нечем, живёт до следующей, наверняка, смертельной пробоины в сердце, он затруднялся решить, что можно занести в итог своей жизни. Конечно, сын. Но он ещё слишком мал, ему расти, да расти, нет к тому, каким он вырастет, вполне возможно, отец причастен не будет. Остаётся творчество. Но Потапов достаточно трезво смотрел на то, что им сделано. Вряд ли его картины по мастерству выше работ, созданных другими. Если бог даст мне хотя бы лет десять жизни, — думал Потапов, — может быть что-то и удастся совершить. Хотя вряд ли, художник должен быть здоровым, живопись — это тяжёлый физический и духовный труд, я уже не вынесу такой нагрузки.

Потапов встал с дивана, включил полное освещение и подошёл к картинам, которые так и остались висеть на стене, как он их повесил в день появления в мастерской членов выставкома. На работы безграмотных богомазов вся Русь молилась, а сейчас? Что мы едим, что мы чувствуем?

Потапов задумался, прежде чем решиться на окончательный вывод. Индюк Самсонов прав в том, о чём он даже не догадывается. Мои картины могут существовать, даже висеть в музеях, но их может и не быть, и от этого мир не станет ни хуже, ни лучше. Можно эти картины объявить великими, можно Рафикова поставить выше Родена, всё зависит от тусовки, от кубла в котором все сплелись, от Блисталова до Самсонова и Турбинина, как змеи на весеннем солнцепёке.

Внезапно Потапов вспомнил, зачем пришёл в мастерскую. Он подошёл к стеллажу, снял с него последнюю картину Игнатьева и поставил на мольберт. «Это его завещание, — подумал Потапов. — Пора и мне начинать работать и над своим последним словом. Времени у меня в обрез».

Родина Земляка известна не только его Мемориалом, захватывающим дух видом на Волгу с почти двухсотметровой высоты Венца, прекрасными девушками, слава о которых,

благодаря слушателям школы высшей лётной подготовки, распространилась до таких древних городов как Дамаск, Багдад и Каир, но и своими ресторанами, на местном наречии именуемых кабаками. «Венец», «Советский», «Волга», «Россия», «Космос» — эти названия волновали сердца любителей лёгкого хмельного куража и флирта. Но это не были прожигатели жизни, лоботрясы и бездельники, все работали, а по вечерам погружались в ресторанное сигаретное марево, саксофонные завывания и хрипы, сопровождаемые лязгом и грохотом ударных инструментов. Таков был стиль тогдашней жизни поколения, которое поняло, что обещанного светлого будущего у них не будет и спешившего отведать приятного за свои кровные рубли под крышами современных, и не очень, вертепов.

Евдокимов не чурался этих весёлых заведений, хотя появление в них более или менее известных лиц немедленно регистрировалось. Поэт про это знал, но на советы доброжелателей вести себя потише, отвечал, что у него нет карьеры, на должность поэта его никто не назначал, поэтому уволить с неё, кроме него самого, никто не может.

В середине лета Евдокимову повезло: его стихи напечатал журнал «Волга», он получил гонорар и был при деньгах. Одному отмечать литературный успех было невозможно, душа требовала общения, и, подхватив сначала Васина, потом Севу, отправился с ними в ресторан «Волна». По пути Сева встретил знакомого, а Евдокимов и Васин ушли далеко вперёд и на выходе из сквера возле универмага сели на скамейку. Рядом с ними из фонтанчика жадно пил воду тщедушный мужик. Оторвавшись от струи, он обтёр лицо ладошкой, огляделся по сторонам, сел рядом с приятелями и с силой выдохнул в их сторону.

— Чем пахнет? Мне к следователю идти, а я бутылёк огуречного лосьона опрокинул. Поймёт или нет?

Васина и Евдокимова окатило запахом огурцов, будто из бочки, где они солились и кисли.

— Если следователь пьёт огуречный лосьон, — веско сказал Васин, — то поймёт сразу, а если им только мажется, то может и не заметить.

— Большое спасибо! — сказал мужик и пошёл в милицию.

— Кто это был? — спросил, подойдя Сева.

— Знакомый, тоже фотограф, — сказал Евдокимов. — Что, двинули? Сейчас кабак откроется.

Они стали первыми клиентами, и швейцар дядя Саша их радостно поприветствовал.

Евдокимов был с ним знаком, подарил свою первую книжку, и в любую толчею дверь ресторана перед ним всегда была открытой. Он достал из портфеля журнал и подал дяде Саше.

— Почитай, пока мы здесь побудем. А вообще, сколько у тебя шабашки набегаёт за вечер?

Дядя Саша задумчиво потёр переносицу, — бывший боксёр, он с арифметикой не дружил.

— Сейчас лето, у меня работы немного. Если дождь, то рублей пять-десять.

Евдокимов протянул ему червонец.

— Возьми и никого, кроме баб, в кабак до восьми часов не пускай. Договорились?

— Это запросто. Гуляйте!

Они поднялись на второй этаж, сели за столик возле открытого окна. Официантка Зина, их общая знакомая, подошла к ним танцующей походкой.

— Привет, мальчики! По какой программе гуляем?

— По полной! — сказал Евдокимов. — Шампанского!

Васин недовольно крикнул, а Сева поморщился. Шампанское они не любили, предпочитая ему водку или, на худой конец, бормотуху.

— Ладно! — ухмыльнулся Евдокимов. — Мне шампанского, Васину бутылку водки, Севе бургундского нашего разлива! А тебе, Зиночка, шоколадку.

Дядя Саша слово сдержал. В зале стали появляться только дамы, любительницы ресторанного кайфа и рискованных амурных приключений. Они заказывали, чисто символически, немного водки и закуски и недоумённо осматривались: в зале была только троица подвыпивших и не обращающих на них никакого внимания мужиков. Для дам неожиданное безмужичье

было непонятно, и они перешёптывались, гадая, куда подевались все кавалеры, на которых они рассчитывали.

На небольшую эстраду вышли музыканты, тренькнули гитары, громыхнул барабан. А дамы всё прибывали и прибывали.

— Сейчас пойдут на нас в атаку, — сказал Васин. — Вот долбанут лабухи «Ах, Одесса, жемчужина у моря», и нас атакуют.

— А мы не пойдём танцевать, — предложил Сева. — Не пойдём. Пусть без кавалеров маются.

— Какой ты, Сева, жестокий! — засмеялся Евдокимов. — Это надо же уродиться таким извергом!

Оркестр заработал в ритме пневматического кузнечного молота. Дамы подхватились с кресел и двинулись к столику, где восседали единственные в ресторане кавалеры. А те отказались танцевать, правда, Сева дёрнулся, но спохватился. Сыграли несколько танцев, дамы плясали друг перед другом, то и дело поглядывая на ведущую в зал лестницу, но по ней поднимались только женщины.

— Нас ведь могут и поколотить, — сказал Евдокимов. — Не мужики, так эти бабы. Пора смываться.

Они спустились по лестнице к выходу. За дверями ресторана рассержено гудела толпа мужиков, но дядя Саша мужественно сдерживал натиск. Увидев Евдокимова, он распахнул двери и кавалеры, толкая друг друга, устремились в зал к изнывающим от одиночества подругам.

— А ведь то, что мы сделали, это садизм, — сказал Васин.

— Чем дольше ожидание, тем радостнее встреча, — философски заметил Сева.

Они вышли на бульвар, сели на скамейку и закурили. Вечер был душным, со стороны Волги на город напознала громадная туча, в ней уже посверкивали молнии.

— А вот и любитель огуречного лосьона! — сказал Васин.

Мужик поравнялся со скамейкой, где сидели приятели, остановился и радостно воскликнул:

— Отпустил! Отпустил следовательно! Но я не признался, честное слово!

— В чём не признался? — заинтересовался Сева.

— В том, что пил огуречный лосьон!

— Молодец! И жене не признавайся.

— Не признаюсь.

Евдокимову наскучило сидеть, душа требовала продолжения праздника.

— Может в «Советский» зайдём? Как маэстро?

Сева достал сигарету, закурил и, вздохнув, произнёс:

— А ведь Потапов умер.

— Как умер! — Евдокимов схватил Севу за грудки. — И ты молчал! Мы пили, хохотали, а он умер!

— Что бы изменилось? — Сева оттолкнул Евдокимова. — Помочь ему нельзя. Я не хотел тебе портить весёлое настроение.

— Вот и потеряли мы этого человека, — мрачно произнёс Васин. — А живописец он был неслабый, да, неслабый.

Евдокимов тяжело посмотрел на Севу и как-то отрешённо вымолвил:

— Самое мерзкое во всём этом, что его задавили походя, как мураша. Вот так! — и он наступил подошвой на медленно ползущую по асфальту букашку.

У Севы появились какие-то срочные дела, а Васин и Евдокимов купили водки и пошли в скульптурное ателье. Там они, поминая Потапова, вдрызг напились и, выйдя во двор, по колено в лопухах, и глядя в крупнозвёздное небо, надрывно запели:

Выхожу один я на дорогу.

Сквозь туман кремнистый путь блестит.

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу.

И звезда с звездою говорит...

Небо в день похорон Потапова было сумрачным, низкие и тёмные облака обложили город со всех сторон, похолодало, изредка накрапывал дождичек. Евдокимов стоял возле окна и смотрел на балкон девятого этажа соседнего дома, где была устроена голубятня. С некоторых пор это стало для него привычкой, как первая сигарета натошак. Если голубятник выпускал птиц, и они, трепеща крыльями, поднимались свечой в

небо, то день для него складывался удачно, ему и думалось, и писалось, и был необходимый интерес к жизни. Но сегодня для голубей была нелётная погода, и Евдокимов, докурив сигарету, с отвращением выбросил её в форточку.

Вчера он написал кое-что о смерти Потапова в своём дневнике. Но сегодня, перечитав свои записи, понял, что не сказал о художнике самого важного: он умер, не написав своих главных картин, когда ему только лишь стала приоткрываться суть творчества. Многие из двуногих именуют себя творцами, но они маскируются под художников и поэтов, когда на самом деле они — всего лишь набившие руку умельцы кисти и пера. Им неведомо величие творческого одиночества, они предпочитают сбиваться в стаю себе подобных, называя себя обязательно новой творческой школой или направлением в искусстве. Они играют в независимость от всего, даже от Бога, а на самом деле пресмыкаются перед любой властью, будь то диктатура пролетариата или диктатура доллара. Всех, кто попытается, хоть чуть-чуть, приподняться с колен, они преследуют с беспощадным остервенением. Потапов попытался встать с четверенек, вдохнуть всей грудью, но выпрямиться не смог, не хватило характера и удачи.

У подъезда дома ничто не напоминало о похоронах. Несколько девочек играли в «классики», за столиком под грибком сидели dominoшники. Евдокимов поднялся на второй этаж, дверь в квартиру была полуоткрыта, он вошёл и увидел черед дверной пролёт в зале часть гроба, оббитого кумачом, и ноги Потапова в начищенных чёрных туфлях. Он прошёл в комнату и присоединился к тем, что стояли возле покойника. Евдокимов довольно давно не видел художника и поразился, что волосы у него стали седыми, лицо было жёлтым, одет он был так, как никогда не одевался при жизни: в дорогом чёрном костюме, ослепительно белой рубашке, на руке отсвечивало золотое кольцо. Ольга сидела у изголовья гроба, она была бледна, рядом с ней стоял сын. К горлу Евдокимова подкатил жёсткий комок, и он, перекрестившись, вышел из квартиры.

У подъезда стояли несколько человек, среди них были Васин и Лизин, возле которых увивался парень с узенькой полоской

растительности на подбородке, усатый и весьма хлыщеватый на вид.

— Кто это? — спросил Евдокимов у скульптора.

— Молодой художник, окончил академию в Питере.

— Мне кажется, я уже где-то его видел.

— Интересный живописец, — сказал Васин. — Да, неслабый. Вот ждёт мастерскую, вроде ему потаповскую отдают.

Из подъезда вышел Сергей, ему досталась роль распорядителя похорон.

— Пора выносить. Давайте, мужики, поможем.

Гроб подхватили с табуреток, Евдокимов не рассчитал, полотенце закинул не на плечи, а на шею и, пока покойника несли вниз по лестнице, чуть не задохнулся, и возле подъезда его заменил Васин. Немногие провожающие Потапова люди дошли до конца дома, гроб загрузили в катафалк, человек двадцать сели в автобус, и похоронный кортеж, набирая скорость, устремился через весь город на кладбище.

Впереди Евдокимова сидел Лизин, рядом с ним на краешке сидения притулился донкихотского вида молодой художник.

— Егор Васильевич непростой человек, — говорил Лизин. — Талантливый организатор, ему художники обязаны всем.

— Я ещё в Питере знал, что на родине Земляка своя школа живописи.

— Положим, это слишком сильно сказано, — Лизин от косвенной похвалы в свой адрес даже зарделся. — Но определённые успехи у нас есть.

Васин толкнул Евдокимова в бок и поднял вверх большой палец, мол, молодец юноша, далеко пойдёт.

— Почему Сева не пришёл?

— Ему интересны только живые, — ответил Евдокимов. — Он на кладбище никогда не ходит.

Евдокимова обряд погребения всегда приводил в сильное душевное волнение. Он всеми порами кожи чувствовал, будто его самого опускают в могилу, как гроб, задевая края ямы, скользит вниз, об его крышку стучат комья глины, потом земля сыпется сверху, и наступает кромешная тьма...

Гроб поставили у края могилы, тяжело навзрыд заплакала Ольга, Лизин достал бумажку, чтобы «от имени и по поручению» прочитать Потапову отходную, но не выдержал и прослезился. Иван Петрович был человеком добрым и сентиментальным. Евдокимов чувствовал себя опустошённым, он горевал, но глаза его были сухи и, бросив горсть земли в могилу, пошёл по кладбищенской аллее.

Недалеко от въезда на кладбище был участок земли, отведённый для захоронения номенклатурных покойников. Хотя кладбище открылось не так давно, областное начальство здесь было представлено весьма внушительно, из него вполне можно было создать загробный обком партии родины Земляка во главе с изваянным в бронзе Бабаем, предоблисполкома Васильевым, членами бюро обкома, начальником УВД и чиновниками помельче. Даже здесь, в городе мёртвых, существовал для покойников свой ранжир, свой статус, поэтому не могло быть ни одного памятника выше, чем у Бабая, и за этим строго следили. В этом Евдокимов убедился самым наглядным образом, когда поставленный генералу Турчинскому от Министерства обороны памятник оказался выше бабаевского на двадцать сантиметров. Дело разыгралось нешуточное, в него вмешался министр коммунального хозяйства России и после долгих раздумий разрешил боевому генералу быть выше партийного покойника.

Потапова предали земле, и настроение у людей, проводивших художника в последний путь, заметно улучшилось. Автобус мчался прочь от кладбища, облака на небе рассеялись, ярко светило солнце, и никому не хотелось вспоминать о том, где они сейчас были и в чём участвовали.

После поминального обеда у Васина появилась идея поехать в мастерскую и помянуть Потапова по-настоящему. Но Евдокимов отказался, ему нужно было забирать младшую дочку из детсада. Похороны вымотали его, и в трамвае он ехал в состоянии полной отрешённости от всего вокруг. Ему ясно представилась его последняя встреча с художником в больнице, странно начатый Потаповым разговор о бессмертии. Он тоже что-то говорил в ответ, затем художник рассказал о своём недавнем сне, и Евдокимов, вспомнив его рассказ, даже вскочил

с сидения. Невероятно! Потапов писал во сне портрет того самого хлыща, молодого художника, который нацелился на его мастерскую. Усы, узкая полоска бороды, но Потапов ещё говорил о бородавке, а у этого вроде бородавки не было. Или была?

От остановки до садика Евдокимов почти бежал, встретил дочку, подхватил её на руки и поспешил домой.

— Отпусти меня! — протестовала Машенька. — Я большая, я сама пойду!

— Потерпи, мне некогда, — отвечал Евдокимов. Он занёс дочку в квартиру и судорожными движениями набрал номер телефона Васина.

— Слушай! Ты хорошо запомнил молодого художника, что нацелился на потаповскую мастерскую?

— А что там запоминать? Обычное личико с зеленоватой бородкой, будто соплю уронил.

— Бородавки нет у него на лбу?

— Зачем тебе бородавка? — заинтересовался Васин. — Ты что, продолжил поминки?

Не отвечая, Евдокимов положил трубку. Наверно, показалось, подумал он, такая нервотрёпка с похоронами, чёрт знает, что в голову может прийти. Разогрел дочке котлету с картофельным пюре, проследил, чтобы она убрала за собой грязную посуду в раковину, и прошёл в свою комнату. Дверь на балкон была распахнута, он встал около неё, закурил, проследил за струйкой дыма, с надеждой посмотрел в сторону соседнего дома, но голуби над ним не летали.

Через месяц Евдокимову позвонила Ольга.

— Нам необходимо встретиться, — бесстрастным голосом сказала она. — Ты завтра сможешь подъехать в мастерскую Бориса часов в одиннадцать.

— А в чём дело? — поинтересовался Евдокимов.

— Дело очень важное и для тебя, и для меня, — и, не дожидаясь ответа, положила трубку.

На следующий день в назначенное время Евдокимов поднялся в мастерскую по лестнице. Дверь в неё была не

заперта, он вошёл и увидел жену Потапова, которая сидела на диване. Они редко виделись, и Евдокимов не мог судить, как на ней отразилась смерть мужа. Одета она была просто, косметикой пользовалась аккуратно.

— Борис оставил тебе конверт, — сказала Ольга. — Что в нём, я не знаю.

Она вытряхнула из пачки сигарету и закурила. Евдокимов отошёл в сторону, вскрыл конверт и достал письмо. Оно было написано от руки, почерк у художника был неровный, трудночитаемый, и Евдокимов не сразу смог всё разобрать. Видимо, Потапов писал ему письмо в состоянии сильного волнения.

«... Когда-то, ты, может быть помнишь, я приехал на Волгу молодым и сильным. У меня была уйма замыслов, надежд, я хотел работать и работал. Но меня сжевали, схавали также просто и обыденно, как я за супом съедаю кусок хлеба. Мне, наверное, надо было послушаться твоего совета и бежать с родины великого Земляка сломя голову, но меня уже здесь прочно засосало обломовское болото. Меня уже нет, но предстоят ещё одни мои похороны как художника. Ольгу я предупредил, чтобы картины из мастерской без тебя не вывозили, я хочу, чтобы ты всё увидел своими глазами. Ты помнишь Игнатьева? Отдай его картину тому, кто займёт мою мастерскую. Тебе я дарю свою последнюю работу. Всё. Прощай!»

Это была весть «оттуда». Замогильное письмо ошеломило Евдокимова, он опустился на стул и обхватил голову руками.

— Скоро придёт Сергей, — сказал Ольга. — Муж мне написал, чтобы вы были, когда придётся освобождать мастерскую. Я всё оттягивала это, но они сказали, что сегодня последний срок.

— Картины здесь, в ящиках?

— Да, здесь. Перевезём в гараж, он у нас капитальный, с отоплением.

На мольберте, как оказалось, стояли две картины. Евдокимов снял картину Игнатьева, за ней была ещё одна работа.

— Ты видела эту картину?

Ольга подошла и встала рядом с ним.

— Нет. Какой странный сюжет. Он так не писал.

— Я её никогда не видел, — сказал Евдокимов. —

Поразительная вещь.

Это была лошадь, запряжённая в телегу, на которую в беспорядке были навалены картины, гипсовые бюсты и посмертные маски, но Евдокимов узнал только Земляка и Пушкина. С поразительной силой была написана лошадь. Она, упираясь широкими копытами в жидкую грязь, тащила телегу, её огромные глаза были темны, как дно колодца, на изорванных железными удилами губах окаменел крик. Рядом с телегой стоял некто в чёрном костюме, чёрном галстуке, белой нейлоновой рубаше и в поднятой в замахе руке держал кнут. Его лицо не было прорисовано.

— Наверно, над этой картиной он работал в последнее время, — сказал Ольга.

В коридорчике перед мастерской раздался голос. Это был молодой художник, весьма оживлённый и довольный, что мастерская досталась ему. За ним следовал вездесущий и неутомимый Сева.

— Сэкэрэмэр! — вскричал он, увидев Евдокимова. — Не ожидал тебя увидеть! Куда ты запропал, бродяга?

Евдокимов отмахнулся от фотографа и с изумлением смотрел, как новый хозяин шагами измеряет длину и ширину помещения.

— Да, это то, о чём я мечтал. Вы всё вывезли? А это что за ящики?

— Сейчас уберём, — ответил Евдокимов, пристально вглядываясь в лицо художника.

— Что вы на меня уставились?

— Просто так, не обращайтесь внимания. Кстати, вот на мольберте вам подарок, но не от Потапова, а от того, кто здесь работал раньше, от Игнатьева.

Художник подошёл к картине поближе, встал почти рядом с Евдокимовым, и тот обомлел: на том месте, где должна быть бородавка, виденная во сне Потаповым, розовел небольшой шрам.

— Что ж, пусть остаётся. Весьма любопытно...

Евдокимов хотел поинтересоваться происхождением шрама, но не решился и спросил про другое:

— Трудно было добиться мастерской?

— Непросто. Но Егор Васильевич к молодым художникам очень внимателен.

— Да, очень внимателен, — согласился Евдокимов.

Новосёл ещё раз окинул требовательным взглядом всю мастерскую.

— Конечно, ремонт не помешало бы сделать, — сказал он, — но надо работать. Так, тут ещё кое-что есть, — подошёл к шкафчику и загремел посудой, — так, полный набор. Может быть, оставите мне? Я заплачу.

— Забирайте всё, денег не надо.

— Что ж, спасибо. Сева, у нас что-то было, вроде коробка конфет.

— Что вы, не надо! — запротестовала Ольга. — Я бы всё равно всё это выбросила.

— Неужели? — художник скривился. — Тогда выходит, вы их выбросили, а я подобрал. Возьмите деньги.

Ольга не отвечала.

Плаксиво затренькал звонок. Пришёл Сергей с двумя пустыми бумажными мешками. В них Ольга начала складывать книги, папки с этюдами, альбомами с записями и рисунками мужа, коробки с красками.

— Мольберт вы тоже заберёте? — поинтересовался Новосёл.

— Заберу.

Ольга знала, что недалеко то время, когда мольберт может потребоваться сыну, который уже сейчас тянулся к рисованию.

Евдокимов и Сергей снесли ящики с картинами вниз и погрузили их в машину. Затем вынесли мешки и мольберт.

«Вот теперь Потапова похоронили по-настоящему», — подумал Евдокимов, провожая взглядом машину. — Был человек, надеялся, страдал, колготился, но пришла смерть и всё зачеркнула. Теперь его мятежная душа художника найдёт успокоение. Но ужели смерть и заключает в себе конечный смысл его жизни? Значит он жил ради смерти?..

Евдокимов направился на трамвайную остановку, но спохватился, что забыл прощальный подарок Потапова. Он поднялся в мастерскую. Там уже звенели стаканы.

— Сэкэрэмэр! — восхитился Сева. — Познакомься, Женя. Это наш знаменитый поэт Евдокимов! Ну, давайте по пять капель.

— Нет, я не буду! — отрезал Евдокимов. — А вы продолжайте, у вас праздник жизни ещё в полном разгаре.

Он взял картину и пошёл к выходу.

«Чего это он, Сева?» — услышал Евдокимов, закрывая за собой дверь, недоумённый вопрос художника.

Прошёл год.

Васин, наконец, выполнил обещание, данное Потапову в больнице, начал работать над бюстом художника для надгробной стелы. Сначала сделал голову в глине, посмотреть её пришли Ольга и Евдокимов, одобрили, и совместно решили, что памятник нужно выполнить в камне. Поэт через месяц нашёл его в реставрационных мастерских, которые следили за сохранностью мемориала Земляка, столкнулся с работягами, и они привезли в скульптурную мастерскую мраморный параллелепипед, и Васин приступил к работе.

Ателье скульптора было проходным двором, и голову Потапова видели многие художники и люди, не причастные к искусству, и всем она нравилась. Одобрила памятник и Ольга, она пожелала установить его на могиле в день рождения мужа, в начале июня.

— Будете делать надпись, оставьте место и для меня, — попросила она Васина.

На кладбище Ольга приехала вместе с сыном, тихим крупноголовым мальчуганом с кротким взглядом и застенчивой улыбкой. Увидев памятник, Ольга заплакала и опустилась на колени. Евдокимов взял мальчика за руку и отвёл в сторону, к скамейке, где сидел Васин. Тот погладил его по голове и спросил:

— Отца помнишь?

— Помню, — ответил мальчик и на его глазах показались слёзы.

— Прочитай, поэт, эпитафию художнику, — сказал Васин. — Ведь, наверняка, сочинил.

*Он в жизни был и раб, и гений.
Теперь — забит землёю рот.
Теперь — глядит на мир сомнений
С непререкаемых высот.*

Васин крикнул и закусил бороду, что было верным признаком душевного волнения.

— И почему тебя не печатают в столичных журналах, не понимаю!

— И они не понимают, поэтому и не печатают, — улыбнулся Евдокимов. — Знаешь, писать стихи гораздо интереснее, чем их публиковать.

— Но и жевать что-то надо, — усомнился Васин. — Вот сейчас неплохо бы отметить открытие памятника, а как?

— Всё решено, — сказал Евдокимов. — Ольга нас профинансировала.

Поминали Потапова на волжском косогоре против моста через Волгу, в заброшенном саду. Хотя наступило лето, соловьи ещё не уgomонились и пребывали в любовном угаре. И один певун выщёлкивал, выламывал коленца, вытягивал неимоверную по высоте звука трель в густых кронах старых яблонь и вишен.

Серебристо-алюминевая гладь водохранилища, перехваченная поперёк грязно-серой полосой моста была недвижима, вспыхивая временами то зигзагами, то полосами отражённого солнечного света. На дальнем берегу уступами поднимались к линии горизонта две террасы, застроенные жилыми домами и производственными зданиями, над которыми стлалось пыльно-дымное марево. Справа от моста на жёлто-коричневом обрыве начинался хвойный лес, а слева водохранилище резко расширилось, и берега не было видно.

— Широко здесь, широко, — сказал Васин, — но чего-то не хватает. Уныло как-то, движения мало. Вон плывёт теплоход, а такой махонький отсюда, как щепка в луже.

— Волга, Волга... — задумчиво произнёс Евдокимов. — Когда-то это была песенная душа России, душа народа, а сейчас? Перегородили бетоном, изгадили... Наш поэт вроде бы красиво сказал: «Только выдохнешь — Волга, только скажешь — Россия и умоешься вечно живою водой!» Здорово, не правда ли? Только враньё всё это. Давно уже и Волга другая, и народ другой. Поэт должен это почувствовать раньше всех. Волга давно уже не течёт, а ползёт куда-то. И народ так же.

Они выпили за упокой души Потапова, за памятник, чтобы долго стоял, за Волгу, чтобы она окончательно не прокисла, Васин попытался начать песню «Есть на Волге утёс», но Евдокимов привлёк его внимание к теплоходу. Он шёл уже недалеко от берега, направляясь к мосту, на его верхней палубе гремела всё та же «Ах, Одесса, жемчужина у моря», пассажиры, извиваясь и подпрыгивая, плясали, а теплоход, рассекая воду, входил в тень от вибрирующего под тяжестью грузового поезда моста.

— Красиво идёт, — сказал Васин. — Наверно, «Россия».

— Может быть и «Россия», — пожал плечами Евдокимов. — Во всяком случае, палуб много, а на верхней народ пляшет.

— Счастливые люди, — вздохнул Васин. — Куда-то едут, что-то пляшут, а тут сидишь, и с места сдвинуться нет охоты.

— Что толку двигаться, если всё где-то решено?

*Износятся костюмы и штиблеты,
А что останется — сожрёт в потёмках моль.
Всё кончится — и радости, и беды,
И шум хмельной, и головная боль.*

*Не надо будет лгать и притворяться,
Таить заначку, ублажать подруг.
Всё кончится, коль начало кончаться,
Остынет голос, ослабеет слух.*

*Всё где-то решено.
Поставлен штемпель
На дату отправления в никуда.
И буду я уволен, словно дембель,
Но не в запас, а сразу навсегда.*

Содержание

Нос	5
Штаны	16
Стеклянный графинчик	31
Тёмная сила	64
Голубчик	80
Липа вековая	98
Маневка	106
Миллион	118
Наблюдайте затмение!	130
Непорочное зачатие	142
Свидание	169
Серый в яблоках	197
А у нас во дворе	204
Из дальних странствий	231
Всё где-то решено. <i>Повесть</i>	250

Литературно-художественное издание

Полотнянко Николай Алексеевич

Всё где-то решено

Рассказы и повесть

Редактор *Л.И. Полотнянко*

Дизайн обложки *А.В. Качалин*

Компьютерная вёрстка *Л.И.Полотнянко*

Корректор *М.Н. Аверина*

Подписано в печать 14.06.15.

Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.

Печать ризографическая.

Гарнитура Times New Roman.

Усл.печ.л. 23,94. Заказ №15/074.

Тираж 300 экз.

Отпечатано в издательско-полиграфическом
центре «Гарт» ИП Качалин А.В.
432042, Ульяновск, ул. Рябикова, 4.